Г. МЕСНЯЕВ

По следам минувшего

НЬЮ ЙОРК
1965

Г. В. МЕСНЯЕВ

ПО СЛЕДАМ МИНУВШЕГО

Издание газеты "Россия"

Нью-Иорк

1965

Внуку моему — посвящаю

На жизненных браздах,
По тайной воле Провиденья.
Мгновенной жатвой поколенья
Восходят, зреют и падут...
Другие им во след идут.

"Евгений Онегин".

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в раннем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет.

"В горах". И. А. Бунин

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I.

Ивану Пушешникову только что минуло девятнадцать лет, когда он из Дворянского Полка был выпущен, прямо на войну, прапорщиком в 24-й Егерский полк.

В бородинском сражении он не участвовал, ибо в арьергардной стычке под Вязьмой французский драгун, смуглый, черноволосый и длинноусый великан, перекосив лицо и свирепо вращая белками, полоснул его наотмаш палашом по эполету и глубоко рассек плечо.

Поднятый на штыки подоспевшими егерями, этот драгун, громоздкий и страшный, лежал потом рядом с Пушешниковым в лесной шелковисто сухой траве, среди самых обыденных русских цветов — красной и белой кашки, ромашки и повилики.

Его открытые, но уже мертвые, глаза, как бы с недоумением, глядели в чужое ему, бледное небо, на котором лениво плыли белопенные кучевые облака.

В прохладе августовского утра, звонко и весело звучали ружейные выстрелы, где-то за рощей неустанно гремели барабаны, и между белыми стволами берез мелькали выцветшие, пропыленные мундиры егерей, затасканные белые их шаровары и потускнев-

шие кивера, с давно нечищенными медными орлами.

Пушешникова долго везли с большим обозом раненых.

Лежавший рядом с ним, раненый в живот и нестерпимо страдавший, пехотный офицер — умер на вторые сутки.

Невероятная жара, тучи пыли, постоянная жажда, сверлящая, неутихающая боль в левом плече, мучительнейшие — до обмороков — перевязки, — все было безмерно тяжко, почти непереносимо.

Только тогда, когда наступал вечер, спадала жара и обоз с ранеными останавливался на привал где-нибудь в деревне, а то и в открытом поле или у лесной опушки, — наступало облегчение. Смертельно уставшие, измученные лекаря суетились, торопливо делали свое дело, сердились, бранили фельдшеров и служителей. Раненых кормили, поили, перевязывали; умерших уносили.

Лагерь медленно затихал, смолкали голоса, гасли костры.

Лежа в телеге на сене под открытым небом, Пушешников жадно вдыхал свежее дыхание ночи, с удивлением и с каким-то непонятным восторгом — точно он раньше никогда не видал ночного неба — вглядывался в пылающие созвездия и следил глазами за падающими звездами.

Кругом было мирно, как будто не было ни Наполеона, ни войны: пели, перекликаясь, ранние петухи, лошади мерно жевали сено, всходила поздняя луна, крепла ночная свежесть.

В эти часы Пушешников чувствовал себя безмер-

но одиноким, беспомощным, жалким и чувствительным до крайности.

Нередко он плакал тайком; молился горячо, бесхитростно, по-детски, как молятся люди перед лицом неотвратимой опасности, прижимая к груди нательный образок Иоанна Богослова.

Образок этот был прислан ему к его производству в офицеры, вместе с отцовским письмом.

Отец писал: "Благословляю тебя, мой милый сын, мой друг Ванечка, на предлежащий тебе терновый путь жизни! Молю Всевышнего и буду молить Его усердно, чтобы Он, Всесильный, озарил тебя Своим кровом и оградил от всякого зла. Благословляю тебя тем самым образом, которым меня благословил покойный мой родитель и, который, бывши на груди моей всегда хранил меня от всяких бед и напастей, в той самой даже сумочке, в которой был помещен моим батюшкою. С благоговением облобызай святыню сию и возложи на себя, милый сын мой, она сохранит тебя, вразумит и наставит на пути сем.

Близ образа в сумочке бумажка с родной землею, с Оки реки (которую я сам брал с берега), в струях коей ты получил святое крещение; не поздоровится — возьми ее на перышко и выпей с чистою водою и всё пройдет, как с гуся вода."

Читал он эти слова, накануне дружеской пирушки по поводу производства. Был он тогда в самом веселом и радужном расположении духа. Эполеты, шпага, треуголка — все тешило и радовало.

Жизнь тогда вовсе не казалась ему терновой, как писал отец, а наоборот, казалась обещающей ему

множество самых приятных вещей. И, только теперь, в своем бедственном и жалком положении, он понял глубокую значительность отцовских слов.

Вспоминая их, ему было отрадно представить себе сверкающую на солнце широкую Оку, отца спускающегося к ней, чтобы взять для него щепотку родной земли.

"Верно — думал он — тройка стояла тогда на большой дороге, устало пофыркивала, а кучер Аким с любопытством поглядывал на то чудное, что делает барин".

Думать об этом было приятно. Это отвлекало, хоть не надолго, от тяжелых воспоминаний недавнего прошлого.

А обрывки таких воспоминаний теснились непрестанно в возбужденном мозгу.

Вот, ночной, в пламени и дыму, Смоленск — белые голуби мечутся на багровом зареве пожаров; зловещий набат, гром барабанов, буханье пушек, треск ружей.

Во весь опор по булыжной мостовой, высекая конскими подковами сверкающие в темноте искры, мчатся ловкие, чубатые — кивера набекрень — казаки. Они оповещают несчастных жителей о том, что город оставляется.

В глубокие сумерки, вынесли уже из города икону Смоленской Божией Матери — оттого и звон колоколов.

— Что ж, ваше благородие, уходите? — спрашивает ладный, чисто одетый, видно домовитый, не то мелкий купец, не то мещанин. Он грузит в запря-

женную телегу какой-то домашний скарб. Женщины и дети боязливо жмутся к нему.

Пушешников ни в чем не виноват, но ему не по себе от этого вопроса. Он неловко отводит глаза. Солдаты, еще неостывшие от боя, возбужденно что-то ворчливо бормочут в ответ. Старый унтер, скрывает свое смущение, начальственным покрикиванием на недавних рекрутов.

Купец вдруг впадает в бешенство; срывает шапку, бросает ее обземь.

— Беда навалила — мужика задавила! Пропадай всё пропадом! — кричит он дико, и — под причитанья и плач своих семейных — начинает сбрасывать с телеги тюки, подушки, сундуки, боченки, ведра...

А дальше опять бесконечные переходы, облака пыли, зной, жажда, натруженные ноги, стычки, перестрелка, тревожный сон в деревенских сараях и овинах, а то и в поле, у стогов пахучего сена, в лесах, под старыми, таинственно шумящими березами.

У костров все те же разговоры о Барклае и о Багратионе. Разобраться в них трудно, но несомненно, что Багратион, этот сухощавый, с орлиным носом, ничего не боящийся, генерал — настоящий герой.

На сером коне — сидит в седле по-кавказски, ловко, с щегольством. Он, то и дело, обгоняет войска — спешит туда, где звучат выстрелы.

"Врага, где бы он ни встретился, атаковать храбро, быстро; стрельбою не заниматься, артиллерии бить метко" — вспоминаются слова багратионовского приказа.

"О, это — по-русски, по-суворовски! Это вам не немец Барклай" — говорят на бивуаках.

Раненых привезли в Кострому.

Старый, тихий город, по-барски покойный. Большой белый собор, присутственные места, колонны дворянского собрания, яблочные сады, пустынные улицы, поросшие кудрявой травкой.

На высоком волжском берегу, молчаливый Ипатиевский монастырь, будящий старые, еще детские, мечты об Иване Сусанине, о далеких днях седой старины, когда, так же, как сейчас, решалась судьба Отечества.

Отрадно было узнать, что в монастыре до сих пор стоит старый терем, в одной из горниц которого — низкой, сводчатой, смотрящей решетчатым окном на Волгу — жил некогда юный Михаил Федорович Романов — надежда и упование Руси.

Встречать первый обоз раненых вышел весь город.

Как цветы в поле, на площади перед собором запестрели яркие платки, повойники, кички, цветные шали, душегрейки, сарафаны.

Бабьи слезы, причитания.

Принесли студеную воду в прохладных глиняных кувшинах, молоко, краснобокие яблоки, желтые груши, всякую снедь.

Над Пушешниковым наклоняется чье-то смуглое, точеное лицо: черные дугой брови, сухой нос с горбинкой, пушок на губе. Говорит какие-то жалобные, ласковые слова; утирает слезы, дает напиться...

— Спасибо, девица!.. Спасибо, красавица!.. Звать-то как?

— Агафьей звать... А вот — не девица, женка солдатская!

Улыбнувшись, вся просияла; ослепительно сверкнула белыми зубами.

Нежданная ласка утешила. Долго невольно улыбался Пушешников, вспоминая жгучие глаза. "Как огнем опалили", — думал он о них...

Лазарет. Старый казенный дом. Серые стены, унылые коридоры. Застарелый, тяжелый, смешаный запах ретирадного места, каких-то микстур, квашеной капусты, несвежего белья. Неопрятные, часто нетрезвые фельдшера.

Дух крайнего уныния, тоски, неверия: Москва — оставлена, сожжена, враг торжествует, и, они, несчастливые, выбывшие из строя, забытые, тайно убеждены в том, что без них все погибло и что хорошего ждать и не приходится.

— Рассуждая без затей, — ворчит желчный пехотный капитан, неловко ковыляющий на своей деревяшке, — оставление Москвы остается загадкой... Посмотрим, что же теперь выйдет из столь великой жертвы. До сих пор реляции не обнаруживают нам никаких решительных мер!..

Другой офицер, тощий как скелет, желтый, едва поднимающийся с койки, поддакивает:

— Ежели злодей целым вырвется из Москвы — беда! Если там не будет могилы ему и всей его сволочи — нельзя предвидеть даже, чем настоящая война кончится.

Пушешников сам не знает, что думать: оставление Москвы и ее пожар — ошеломили его, спутали все мысли. Но он, всё же, упорно верит, не сдается.

— Молода — в Саксонии не была! — говорит капитан, когда Пушешников пытается неумело с ним спорить.

— Медленность главных наших сил — непонятна. За что дают оправляться злодею? Из самых реляций уже видно, что к нему идут сикурсы по Смоленской дороге. Давно бы начать драться!..

— Да, да! И, впрямь, драться пора!.. — говорит ротмистр Лихарев. Он прострелен насквозь, хрипит, кашляет. — Драться надо, а не умничать. От нас лишь повиновение требуется, а не советы! А что будет, увидим! Будет и удача, будет и победа!

Пожалуй, он один не поддается унынию, в лазаретную скуку вносит струю жизни: о войне, о женщинах, о любви говорит с подъемом, романтично.

— Природа наградила меня знойными страстями... Друзья мои! Я молод, я жил, я чувствовал, я наслаждался, — рокочет он своим баритоном, повествуя о своих любовных делах.

А то, в сотый раз, начинает рассказывать о том, как он обедал у французов.

— Лежу под мокрой буркой, грызу сухой, заплесневелый сухарь, проклинаю день своего рождения... Вдруг меня осеняет блестящая мысль — еду обедать к французам!

Дальше, проскакав русскую цепь, он, с привязанным к сабле платком, подъехал к неприятельским аванпостам; ему завязали глаза и повели к француз-

ским начальникам.

— Вы знаете — малый я не застенчивый, и, когда очутился перед конно-егерским полковником и его офицерами, поклонился им учтиво и говорю: "Я не ел три дня... Решился, по рыцарскому обычаю, положиться на ваше великодушие и ехать к вам в гости на обед. Уверен, что французские офицеры не воспользуются этим и не захотят, чтобы я за шутку заплатил свободой". Французы были в восторге, смеялись от души, обнимали меня, хлопали по плечу. Мы пировали до позднего вечера.

— Неплохо придумано! — замечает желчный капитан.

— А, хоть бы и придумано, — не обижается Лихарев.

Серо и уныло текут лазаретные будни.

Там, в четырехстах верстах отсюда дымится в развалинах сожженная Москва, там, в Тарутине, у Кутузова, боевые друзья: егеря, артиллеристы, гусары, бодрые, счастливые, деятельные — сидят у бивуачных огней, пенят заздравные чары, готовятся к новым битвам, — а здесь, в этих сумрачных палатах — мелочные ссоры, обиды, вялые, надоевшие разговоры. Скорей, скорей отсюда! Слава Богу, рана хорошо подживает — радуется Пушошников. — Пожалуй, можно скоро и на выписку!

2.

Начало октября: тепло, сухо, ясно. Даже кое-где еще держатся желтые и багряные листья. Гроздья,

прибитой морозами, рябины огненно рдеют на густом, как синька, октябрьском небе.

Оно, как в зеркале, отражено в спокойной глади уже студеной Волги.

Паруса рыбачьих лодок, схожие с крыльями речных чаек, — скользят, круто клонятся к водной глади, исчезают в дымной дали.

Тишина, покой, извечная осенняя грусть!

В эти особенные, всё решающие дни, — она, эта осенняя грусть, стократно умножена, доведена до предела, грозя, порой, перерасти в тоску, уныние, страх.

Тревожное ожидание живет в каждом русском сердце, нависает черной тучей над примолкшими русскими просторами.

Правда, как какой-то неясный намек, как какое-то, едва различимое дыхание надежды, в эти светлые и прозрачные дни русской осени, стал ощущаться некий перелом: как будто что-то дрогнуло, что-то незримо изменилось, что-то произошло отрадное и утешительное.

Еще боятся верить, но все упорней и упорней говорят, что Бонапарт ищет мира: засылал послов к Государю, что у Тарутина было большое сражение и русские разбили Мюрата, и, наконец, самое невероятное, — что французы, будто бы, оставили Москву.

Пусть маловеры твердят свое: "Подождите, подождите! Не так прост Бонапарт! Если и правда, что ушел из Москвы, то значит что-то задумал свое, необыкновенное. Рано еще радоваться".

Все равно, надежда крепнет: может быть, услышал Господь Бог русские слезы, дрогнула тьма над Россией!

Конец всем сомнениям и спорам положил прискакавший к губернатору, пыльный, совершенно измученный, но и совершенно счастливый, сияющий курьер, привезший известие о том, что Москва, действительно, оставлена неприятелем.

Город ожил, взволновался, зашумел. Зазвонили пасхальным звоном соборные колокола; служили молебен.

Великолепный, грузный, осанистый соборный протодиакон — седая, волнистая грива, плавно-торжественные движения, величавая поступь, — возглашает многолетие. Густой, могучий бас рокочет, гудит, возвышается до трубного гласа и уносится звеня и замирая в недостижимую высоту церковных сводов.

Многолетие это не обычное, не то, что привычно возносится в каждый табельный день. Сейчас оно звучит особенно: мощно, особо значительно, вдохновенно, торжественно.

..."На врагов же победу и одоление подаждь, Господи, благочестивейшему, самодержавнейшему Государю нашему императору Александру Павловичу!"

Как будто едва различимый вздох — или это так показалось! — пронесся среди молящихся. Когда же прозвучали слова о "христолюбивом и победоносном воинстве" — Пушешников — он был в соборе, отпущенный из лазарета — почувствовал, как легкий холодок шевельнул его волосы.

— "Да, я был прав, не поддаваясь унынию... Россия непобедима", — думает он, искоса вглядываясь в лица молящихся.

Женщины утирают слезы, мужские лица сосредоточены, задумчивы, строги — все думают об одном, все исполнены одной верой, одним чувством.

С наслаждением чувствует на себе Пушешников — он в новом темнозеленом мундире, при треуголке и шпаге, левая рука на черной перевязи — любопытные, ласковые и благожелательные взгляды — особенно женские.

Да, он сейчас в заслуженном ореоле героя; ведь здесь он представляет собой то самое российское победоносное воинство, о котором сейчас молятся и о котором думают все.

И когда хорошенькая, белокурая дочка предводителя дворянства, чуть заметно, уголками губ, улыбнулась ему, — он вспыхнул и приосанился. Да, это заслуженная награда за всё выстраданное!

На паперти, вокруг собора — колышется толпа. Москвичи, взволнованные сверх всякой меры, обнимаются, лобызаются, поздравляют друг друга.

— Господи! — со слезами говорит почтенный господин. — Слышу пушечный выстрел. Выбегая во двор в чем был, спрашиваю: "что это значит?" Кричат в ответ: "Москва взята, французов побито множество!" Поздравляю вас с сею великой радостью, от которой, ей, ей, плачу, как дитя!..

— Государь император изволил ответить светлейшему: "в настоящее время никакие предложения неприятеля не побудят меня прервать брань и тем

ослабить священную обязанность отомстить за оскорбленное отечество", — читает сановитый предводитель собравшимся вокруг дворянам, полученное из столицы, письмо.

"Священная обязанность отомстить за оскорбленное отечество!" — повторяет он торжественно и значительно подымая палец.

Даже те, которые еще вчера считали, что все пропало и что сопротивляться дальше бесполезно, — проникаются благоговейным ощущением величия этих, как бы звенящих медью, царских слов.

— Дом Варвариных на Разгуляе — сгорел до тла, — рассказывается в другом месте, — а Трубецких дом цел-целешенек. Какой-то маршал стоял в нем постоем. О моем же никто ничего толком не знает. Ума не приложу, что сейчас делать? Видно разорение чистое!

Хотя никто и не знает, как дальше обернется дело: не двинется ли еще Наполеон, этот непобедимый, сказочный, отмеченный печатью гения, человек, к Петербургу и не свершит ли он чего никто не ждет — всё равно хочется верить в то, что надвинувшаяся беда начинает потихоньку отступать и таять.

Пушешников радостно прислушивается к оживленному говору.

Только что прибывший по служебным надобностям, молодой артиллерист, с которым он успел познакомиться и даже подружиться, дал ему несколько листков, на которых красивым писарским почерком переписано большое стихотворение: "Певец в стане русских воинов".

— Стихи примечательные! — сказал офицер. — Вся Россия читает их сейчас. И при Дворе они известны; понравились и их весьма одобряют.

— А кто же автор?

— Какой-то ополченский офицер... Он и раньше печатался. Жуковский, кажется.

"Жуковский! Не наш ли белёвский, из Мишенского? Ведь, тот, кажется, пишет", — размышлял, возвращаясь в лазарет, Пушешников. — "Помнится, что читал что-то приятное о какой-то Светлане:

Тускло светится луна
В сумерке тумана —
Молчалива и грустна
Милая Светлана..."

3.

Принесенные Пушешниковым в лазарет новости были приняты с восторгом. Даже ко всему безразличные, вялые и безжизненные, тяжко раненые и больные оживились: слабые искорки жизни засветились в их тусклых глазах.

Правда, Москва вконец разорена и обесчещена: Кремль взорван — одна груда камней; соборы и церкви разграблены, осквернены, мощи выброшены; нет домов, не найдешь знакомых улиц; на Тверской трупы людей и лошадей; множество людей погибло, говорят, многие расстреляны, как "зажигатели".

Но, ведь, это же война, и для военных всё это привычно и неудивительно: так было и в Смоленске, так было и в других разрушенных и сожженных городах, которые оставлялись с боем.

Самое главное, что неприятель очистил Москву!

В дальнем углу мощеного лазаретного двора, где сложены поленья березовых дров, свалены ящики и пустые бочки, — одинокая липа; под ней — ветхая серая скамья. Сюда привык, в поисках одиночества, приходить Пушешников.

Пришел он сюда и сейчас.

Солнце греет и нежит; тихий ветерок шевелит в руках листки стихотворения Жуковского. Легкие паутинки цепляются за сухие стебли засохшей крапивы, за колючки репейника. Голуби, с шумом, слетаются на булыжники двора, клюют рассыпанное зерно, блаженно и томно стонут.

Пушешников не считал себя любителем и знатоком российской словесности... Но все же, кое-что он читал, и любил, в минуты грусти, утешать себя горькой меланхолией чувствительной поэзии.

Теперь, прислушиваясь к голубиному воркованию, наслаждаясь тишиной, одиночеством и пленительной прелестью этого ласкового дня, — он, погрузясь в неясные размышления, не спешил приступить к чтению стихов: особого интереса они в нем не возбуждали.

Да, кроме того, — надо было признаться в этом — после раны, после того, как он вдоволь насмотрелся на убитых, на умирающих, на страшные раны и наслушался терзающих душу стонов, — его боевой пыл, его романтическое тяготение к боевой славе, выпестованные еще в Дворянском Полку, — значительно потускнели: особого тяготения к героической поэзии он сейчас и не ощущал.

Больше того, мысль о предстоящих боях, о возможных ранах — теперь-то он знал, что такое раны! — не говоря уже о смерти, — с некоторых пор стала его пугать.

Теперь — не так, как прежде — он больше стал думать не о подвигах и о славе, а о предметах не воинственных: о семейном круге, об уюте и тепле родной усадьбы, о соседках — барышнях и о многом другом: спокойном, безопасном, мирном.

И, потому, его подчас пугала мысль — не стал ли он трусом, презренным человеком, боящимся исполнить свой долг офицера и дворянина? Она, мысль эта, вовсе не вязалась с тем, чему он был научен с детства и о чем недавно писал ему отец, благословляя на "терновый путь жизни".

А писал он так: "Служи Царю и отечеству верою и правдою, не щадя себя; исполняй свято и безотложно повеления начальства; будь ласков и даже восьма приветлив с солдатами: это твои первые друзья; нуждающимся помогай по крайней своей силе-возможности; поверь, что они воздадут тебе за твою доброту сторицею; с равными себе будь вежлив; в ссоры, споры никогда не вступай, уклоняйся от сего зла всячески; к начальникам имей особенное внимание, уважение, и Бог благословит тебя". *)

---

*) Приведенное здесь и выше (стр. 9), письмо — не сочинено. Оно, на самом деле, было писано в первой половине прошлого века по поводу производства в офицеры одного молодого дворянина.

И вот, теперь, когда он углубился в чтение стихов о русской славе, написанных с таким бодрым подъемом, с таким воинским восторгом, с таким восхищением славой и подвигом, простые и честные отцовские слова опять приобрели над ним свою прежнюю власть.

Стихи эти будили в нем старые, потускневшие зовы к славной героической жизни, к жертве, к подвигу.

Они были, как бы звуком боевой трубы, поющей на затихшем бивуаке и зовущей к бою:

. . . .

Отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,

Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки,

Что вашу прелесть заменит?
О, родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Это было удивительно! Как будто поэт подслушал его собственные мысли, узнал его заветные чувства!

Разве, отправляясь в поход, сам он не писал домой: "Война, как определенное с детства поприще

дворянину, — зовет меня!.. Любезное отечество! Я для тебя рожден! Иду против врагов твоих и нарушителей спокойствия Царского дома! Иду под твоим знаменем, с сознанием священного долга и помня, что оставляю старушку мать, сестер — все мне дорогое!..“

Он опустил листок и огляделся.

Этот вечер, эти облака, видная сквозь щели забора, пустынная, зеленая улица, Волга, звон вечерних колоколов — да! да! — это и есть она — ”родина святая!“

Вспомнились: извилистая, глинистая, круто спускающаяся к речке, дорога, шаткий, бревенчатый мост, темные купы старых лип, скрывающие старый отцовский дом.

Вспомнилось все свое, деревенское, родное: лесной овраг, запахи грибов и лесной прели; розовая луна над полями ржи, крик ночной птицы, и многое другое, от него неотделимое, с ним кровно связанное.

Уже не равнодушно и со скукой, а с волнением и восхищением — читал он дальше:

...Хвала тебе, наш бодрый вождь, —
Герой под сединами!
Как юный ратник, вихрь и дождь
И труд он делит с нами.
О, сколь, с израненым челом
Пред строем он прекрасен! —

Пушешникову не довелось увидать Кутузова: тот прибыл в армию после его ранения. Но о нем так много говорили, так часто рассказывали о его появлении перед войсками у Царева-Займища, что Пуше-

шников, как бы наяву, как будто самолично, видел этого старого, грузного, седого генерала, с вытекшим, от турецкой пули, глазом, когда он, осененный таинственно слетевшим орлом, явился на коне перед восторженно его встречавшими войсками:

О, диво! се орел пронзил
Над ним небес равнины...
Могучий вождь главу склонил
Ура! кричат дружины...

Но, откуда же мог появиться орел на московских полях, когда они там никогда не водились и не водятся? А, не все ли равно, откуда? Пусть этого даже и не было, но надо верить тому, что действительно, в этот решающий час, могучий орел, как знак победы, осенил седого главнокомандующего, предвещая российское торжество и утверждая российскую славу!

Дальше шли и другие строки, вовсе негероические, но зато отвечающие самым жгучим, самым пленительным и сладким зовам сердца:

Ах! Мысль о той, кто все для нас,
Нам спутник неизменный;
Везде знакомый слышим глас,
Зрим образ незабвенный:
Она на бранных знаменах,
Она в пылу сраженья;
И в шуме стана, и в мечтах
Веселых сновиденья...

Строки эти — надо было сознаться — мало отвечали действительности.

"Она", хотя и существовала и, в известном смысле, являла собой "образ незабвенный", — но ни в

какой степени не отвечала тем поэтическим представлениям, в которых вырос и в которых с малых лет был воспитан Пушешников.

В самом деле, разве можно было приравнять к меланхолическим, чувствительным и томным героиням тогдашних поэм и баллад: к какой-нибудь Эрминии, Делии или Людмиле, — бедовую, разбитную костромскую мещанку Агафью, которая, как огненный вихрь, ворвалась в его жизнь.

Конечно, не о ней говорили стихи.

Да она, к тому же, не могла быть героиней романа уже потому, что была женщиной низкого звания, солдаткой, дочерью простого волжского рыбака

А между тем, во всем остальном, по своей яркой красоте, по силе и напряжению страсти, по бурности, глубине и искренности ее чувств — она — надо было сознаться — не только не уступала, но даже превосходила многих героинь любовных романов.

— Срамота, срамота! — слышал он однажды, как за окнами Гашиной светелки над Волгой тараторила какая-то говорливая, разбитная соседка.

Речь явно шла об его отношениях к Агафье. Пушешников притаился, затих.

— Уедет, ведь, что делать будешь?

— А, что делать? — также бойко отвечала Агафья. Известно, — дело бабье! Пока молода, буду любить, а там хоть камень на шею! Еще насидишься взаперти — свету не увидишь!

— А ты, девка, люби, да ума не теряй, — кричала другая.

Да, в самом деле, — раздумывал Пушешников, — а что же дальше будет? как уйти? Как вырваться из этой сладкой неволи, как уйти из этого домика, из окна которого видна песчаная тропинка, сбегающая к речной отмели, ива, челн, чернеющий на песке?

Как часто, смущаясь и таясь, пробирался он, в вечерний час, к этому домику, как много сладкого испытал он в нем.

Думал он и о том, как будет прощаться с Агафьей; как она сверкнет своими горячими глазами, как обоймет его шею своей смуглой, крепкой рукой, как от нее повеет тем сладостным жаром, который мутит ум, горячит кровь, ослабляет волю.

"Не уезжай! Не уезжай!" — скажет, простонет она. "Без тебя мне жизнь не в жизнь. Засохну, пропаду!.."

И когда он думал об этом, ему казалось, что у него не станет воли, не станет сил оторваться от бездонной глубины горящих страстью глаз.

Однако, теперь, когда миновали дни слабости, тоски и уныния, когда все больше и больше он становился самим собой, прежним, здоровым, бодрым, трезвым, — мысль о разлуке с Гашей уже не казалась ему такой ужасной, какой была она еще совсем недавно.

Все чаще и больше стал думать он о будущем, о той жизни, в которой нет, да и не может быть места ни Гаше, ни ее словам, ни ее ласкам, ни ее песням и слезам.

Песчаный косогор над Волгой, потухающий закат и первая звезда, загорающаяся на бледном небе —

всё это останется здесь, будет таким же, как и сейчас.

На этот закат, на эту вечернюю звезду, из окна своей светелки, верно, будет без него смотреть Гаша, будет, может быть, долго думать и вспоминать прошлое, томиться, лить слезы.

А он? Где же будет он? Кто знает?

Но, конечно, далеко от этого песчаного косогора, далеко от пылающих волжских закатов, далеко от оставленной навсегда, Гаши.

Он пойдет без нее, один, по путям ему еще неясным и неведомым, но, наверно, нелегким.

Жалко ее, конечно. Жалко! Но, так уж складывается жизнь! Ничем не поможешь!

4.

Октябрьские вечера ранние, тоскливые. Сторожа в городе начинают греметь своими колотушками спозаранку, когда люди еще не отужинали. На улицах темь кромешная, ни души.

Заливчато то тут, то там, брешут собаки. На ближайшей колокольне, каждые четверть часа, уныло бьют часы...

В лазарете такие ранние, глухие вечера — особенно трудны, томительны, тоскливы. Тоска растет вместе с сумерками; гнетут самые мрачные, безысходные мысли, самые неприятные, жгучие воспоминания приходят как раз в эти часы.

Но, не в пример обычному, сегодня в лазарете

такой тоски — нет.

Выздоравливающие офицеры собираются, чтобы послушать рассказ, приглашенного Пушешниковым, артиллерийского офицера о Тарутинском сражении.

Офицер этот, юный, здоровый, гордый своим недавним участием в сражении, тщательно и даже щегольски одетый, — чувствует себя, рядом с этими, несколько опустившимися, больными, вялыми и скучными людьми, особенно бодрым, особенно уверенным в себе, счастливым.

Раненые, дымя длинными трубками, задумчиво, не без чувства тайной зависти к этому удачливому поручику, — слушают его повествование.

Поручик — в ударе: немного рисуясь, он говорит бойко, с подъемом, живописно.

Его рассказ воскрешает в воображении и памяти картины столь знакомой и близкой боевой жизни и боевого быта: неожиданное получение, во время вечернего чаепития, когда разговор шел "о славе и величии России", приказа итти на соединение с корпусом генерала Баггавута; поднявшуюся суету — "денщик мой живо надел на меня ватный сюртук — ночь была холодная — дал кивер, знак", — тайное волнение, дыхание близкой опасности...

"На половине пути остановились, развели костры, барабаны ударили зорю... Французы решили, что ночь опять пройдет спокойно, а в это время Орлов-Давыдов, вместе с Баггавутом — жаль его — убит, хороший был генерал! — обскакал неприятельский лагерь и ударил на спящих французов..."

Все это: горящие костры, барабаны, играющие

зарю, внезапное нападение, то, что Орлов-Давыдов "обскакал лагерь противника", — радовало, веселило и тешило слушателей.

А то, что неаполитанский король, знаменитый Мюрат, чуть не попал в плен, бросил свою палатку со всем, что в ней было, а его соболья шуба, бумаги, гардероб и деньги достались нашим гренадерам, — привело всех в самое отличное настроение.

Заговорили возбужденно и шумно о старых походах и о сражениях, стали толковать о том, что предпримет теперь Бонапарт: пойдет ли на Петербург или на юг, на Полтаву, как сто лет тому назад сделал Карл XII.

Мнения разделились, вспыхнул спор.

Заговорили о генералах: о павшем у Тарутина Баггавуте, о "старой лисе" Бенигсене, о его неприязни к светлейшему, и, конечно, о нем. О нем говорили с какой-то скрытой нежностью, с тем восхищением, которое одно время, особенно после оставления Москвы, несколько затухло, но теперь, видно, возродилось с прежней силой.

Очень трогало то, что Кутузов, получив от Дохтурова донесение об уходе Наполеона из Москвы, опустился на колени перед образами и со слезами сказал: "Боже, Создатель мой! Наконец Ты внял молитве нашей, и с этой минуты Россия спасена".

Это было глубоко по-русски, отвечая со всей силой русскому духу. Этого Бенигсену понять, конечно, невозможно!

— А, ну-ка, Иван Алексеевич, — говорит Пушешникову, возбужденный разговорами о российской

славе, Лихарев. — Прочти-ка, брат, еще стихи, что привез поручик.

Сам он эти стихи уже прочел не раз, читали их и другие и всем они пришлись по душе в самой сильной степени.

"На поле бранном тишина; огни между шатрами; друзья, здесь светит нам луна, здесь кров небес над нами..." — не без волнения, начинает читать Пущенников.

Довольный Лихарев в такт притоптывает ногой, окидывает слушающих гордым взглядом, так, как будто он сам написал эти бодрые стихи. Крутит свой классический, черный ус — предмет зависти всех пехотных, коим ношение усов запрещено.

По своей натуре, не терпит он уныния, слез, ничего, что колеблет бодрость духа.

Конечно, — считает он, — можно, на короткий срок, отдать дань печали; можно и надо вспомнить о павших в бою, но, ведь, жизнь идет своим чередом, требуя не слез и вздохов, а веселия, радости, наслаждений.

Во всех стихах, ему особенно полюбилась строфа, говорящая о радости жизни, подмывающая, пенящаяся, как игристое вино. Эту строфу он знал уже наизусть, и теперь, для поднятия общаго духа, для того, чтобы дать выход общим чувствам, он гремит на всю палату:

Кто любит видеть в чаше дно,
Тот бодро ищет боя...
О, всемогущее вино,

Веселие героя! —

Это имеет успех.

— Федька!! — во всю мощь своего голоса, кричит в пустоту темного коридора Лихарев. — Вина! Вина сюда, сколько есть!..

Кто-то зашикал. В дверь заглянуло встревоженное лицо дежурного лекаря. В соседней палате застонал тяжело больной.

Но уже засуетились разбуженные денщики. Федька, рыжий гусар, в потертой венгерке, зазвякал посудой.

Хлопнули пробки, зазвенели стаканы, засверкали глаза, загудели голоса: война вновь обернулась своим прекрасным, победным ликом к этим обиженным судьбой, много потерпевшим, настрадавшимся людям...

Пушешников тут же решил, как можно скорее, добиваться отправки в полк.

. . . .

В первых числах ноября, в жесточайшие морозы, Пушешников уезжал из Костромы.

Пронзительно визжали полозья; бодро скрипел снег под ногами. Морозная пыль серебрила гривы и шерсть лошадей, усы и бороду ямщика, меховые воротники. Глухо брякали бубенцы, звенел поддужный колокольчик...

Плотно закутавшись в шубу и забившись в угол возка, пахнувшего кожей, конским потом, табаком и плесенью, — Пушешников растроганно вспоминал недавнее прощание с оставшимися в лазарете товарищами, а, особенно, свое прощание с Гашей.

Как он и ожидал, прощание это было очень трудным: неистовые вопли, стоны, спутанные волосы, безумные глаза... Все это было почти непереносимо. На душе было тяжко и горько. Но что же мог он сделать? Что?..

Растерянный и смущенный, уже одетый по дорожному, стоял он над ней, не зная, что ей сказать, чем ее утешить.

Гаша лежала ничком, спрятав лицо в мокрую от слез подушку. Волосы ее черной, шелковистой волной рассыпались в беспорядке; плечи сотрясались от рыданий.

Ему уже было пора идти. Он нерешительно коснулся ее плеча.

— Иди, иди!... — простонала она, подняв на мгновение голову, и показав свое подурневшее и распухшее от слез лицо.

— Не мучь, уходи, уходи!.. — говорила она, глядя на него почти с ненавистью.

Он быстро выбежал на морозный воздух, хлопнул знакомой калиткой, почти побежал. И, хоть в душе было тяжко, очень тяжко — надо было сказать правду — он чувствовал тайное и лукавое чувство и облегчения и освобождения.

Скоро чувство молодой жизни, радости, воли — окончательно оттеснило и заглушило печаль.

Из походной фляжки хлебнул он огненного, пахучего рома. Стало приятно, хорошо, покойно...

Впереди открывалась дымная, морозная даль...

Прощай, Гаша, прощай, Кострома, прощайте последние дни наивной и простодушной юности!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Третий день бушевала вьюга...

Не без труда разместили солдат по крестьянским избам, по амбарам и сараям. Пушешников же поместился в церковной сторожке — в маленьком каменном домике, у самых церковных ворот.

Из окна видны: занесенные снегом, покосившиеся кресты деревенского погоста, беспомощно мотаемые ветром во все стороны, кусты, а дальше дымчатая, снежными вихрями вздымающаяся, белая пустыня.

Не переставая гудит церковный колокол -- это зов в пустыню ко всем блуждающим, теряющим надежду.

Звуки колокола то затихают, уносимые ветром в поле, то звучат громко и протяжно, как будто над самой головой.

Сумерки наступают быстро, а за ними непроглядная темь, полная звуков разыгравшейся метели: она воет в трубе, гремит по крыше, горстями бросает сухой снег в стекла окон.

Пушешников, подобно многим русским людям, любил дикую удаль, могучую вольность, размах бушующей метели. Любил он срывающиеся с крыш,

седые ее космы, змеиные извивы бегущей поземки; завывания, стоны, вопли, все дикое, первобытное, точно говорящее о какой-то другой, нездешней враждебной человеку, силе.

Бывало еще, до Дворянского полка, до войны, когда он еще был "недорослем из дворян", он любил в непогожие зимние вечера сиживать у жарко горящей печки. Мешал, до-красна раскаленной кочергой, золотые, пылающие угли и разбивал брызжущие ослепительными искрами, головешки. Было тогда так приятно, всем своим существом, ощущать дремотное тепло заваленного сугробами старого дедовского дома.

Из столовой слышались неторопливые, привычные разговоры, в углу трещал сверчок, а медный маятник больших стенных часов мерно и уверенно, не останавливаясь, отсчитывал уходящие минуты.

На душе бывало тогда так тихо, мирно, спокойно. Какое дело было ему тогда до завывания ветра, до неистовства снежной бури, до всего того дикого и первобытного, что она несла с собой?

Сейчас совсем не то: вьюга не только не тешит и не баюкает, как встарь, а наоборот, вселяет в сердце какую-то тайную тревогу, какую-то щемящую тоску.

Тускло светится в фонаре сальная свеча, ходят тени по закопченным стенам, шуршат тараканы. Усталый денщик громко храпит в соседней каморке; ворчливая старуха, жена пономаря, топит печь, кряхтит, бормочет что-то неодобрительное...

Мрачно, неприглядно, одиноко.

Не спится. На голой лавке неудобно и жестко.

Неясные, путанные, невеселые думы бродят в голове; воспоминания, мечты перемежаются с текущими служебными заботами, а, ведь, их немало. Чем кормить людей; куда и как отправлять заболевших и обмороженных, где искать отставших?

Только что приходил фельдфебель, докладывал, что в пути отстало двое; тревожился, как бы, из-за непогоды, не застрять здесь, да и не опоздать к сроку к месту назначения.

Обо всем надо думать, заботиться, ожидать строгих замечаний, внушений и разносов. Ведь, начальство придирчивое, требовательное — неприятностей не оберешься!

Думает Пушешников и о том, что ему явно не везет. Ведь, его полковые товарищи в походах, в боях, преследуя бегущего противника, — продвигаются по службе, получают чины, ордена, ведут бурливую, боевую жизнь.

А он, назначенный принимать, обучать и сопровождать рекрутов — много теряет по службе, не продвигается по ней, да и ведет трудную и скучную жизнь.

"А как привольно, как покойно жилось в Костроме!..

Уезжал оттуда, думал, что всему конец. Казалось тогда, что легко все оставить, все позабыть. Ан, нет! Не тут-то было! Стал теперь все больше и больше скучать, вспоминать, томиться.

Как бы хотелось теперь опять увидеть Гашу, почувствовать исходящее от нее тепло, ощутить знакомое томящее волнение, очутиться, хоть ненадолго,

в ее уютной, чистой светелке... Плохо ценилось тогда все это! А не было тогда ни одиночества, ни стужи, ни удручающих служебных забот, ни разносов требовательного начальства!..“

Стала одолевать дремота. Крепко заснул под однотонный шум бури. Показалось, что уже глубокая ночь — на самом деле, не было и полуночи, когда отчаянный стук в окно заставил, вздрогнув, пробудиться.

Кто-то настойчиво, не стесняясь, упорно, стучал кнутовищем по раме.

— Кто? Кто там?

— Пустите! Ради Христа, пустите!.. Сбились, замерзли!.. — невнятно, застуженно хрипел чей-то голос за окном. — Пустите, коль совесть есть! — кричал кто-то со злобой, почти с отчаянием.

— Степан! — в темноту закричал Пушешников денщику — тот вскочил очумелый. — Вздувай огонь! Впускай проезжих!..

— Да куда там еще!.. — ворчала старуха, зажигая фонарь, — угла свободного, ведь, нет; повернуться негде!..

В сторожку врывается ледяное дыхание бури. Явственно загудели ее голоса.

В дверях: засыпанные снегом, в шубе до пят, в теплой шапке, в валенках, молодой господин; его слуга, посиневший, трясущийся, и совершенно окоченелый, багровый, уже отчаявшийся, ямщик.

Крестятся на темную, закопченную икону Николая Угодника. Ведь, это он привел их сюда, к порогу сельского храма, ему посвященного!

Зажгли свечи, осматриваются, приглядываются друг к другу. Шубы, валенки, рукавицы, оттаивая, пахнут влажным мехом, мокрой кожей.

Офицер, молодой — лет тридцати — в сером ополченском кафтане, обессиленно, как бы в забытьи, молча сел на скамью против пылающей печки.

Улыбка успокоения, освещает его весьма приятное, миловидное, даже красивое, лицо. Вьющиеся, волнистые, темные волосы, приятная округлость щек, открытый лоб и глаза — немного раскосые — томные, мечтательные, немного грустные.

Ничего воинственного, сурового, мужественного в нем нет. Мягкость, нежность, изящество, прекрасные манеры.

"Кто он?" — старается отгадать Пушешников, любуясь незнакомцем и испытывая к нему невольное расположене.

— Мы окончательно сбились с пути, — говорит, наконец, тот, придя в себя. — Блуждали долго, думали, что пропали уже. Да, вот, колокол нас привел сюда... Крайне признателен вам, что вы приютили нас! Впрочем, — продолжал он, — я вам еще не представился.

Он встал, учтиво поклонился:

— Поручик Жуковский, Василий Андреевич! Из Вильны, из штаба светлейшего. Еду домой в Тульскую губернию... Отпущен в бессрочный отпуск...

— Жуковский!.. Боже мой!.. Не наш ли, белёвский? — встрепенулся Пушешников. — Так это вы написали "Певца в русском стане"? Какие чудные стихи! Мы все, прямо-таки, упивались ими. Как я рад,

как я рад! Позвольте же вас обнять от души!

Было, действительно, чудесно и необыкновенно, что тот самый поэт, которым он, его товарищи в Костроме, да и все офицеры русской армии, так искренне восхищались, которого знает и ценит сама вдовствующая императрица Мария Федоровна, пожелавшая иметь "Певца в стане русских воинов", писанного его рукой, — стоит сейчас здесь перед ним, живой, улыбающийся.

На свете нет почти людей, вовсе равнодушных к славе. Не был равнодушен к ней и Жуковский, и, потому, ему было приятно и лестно восторженное, непосредственное, и, видимо, искреннее восхищение этого, случайно встреченного офицера.

Он, не церемонясь, охотно, открыл свои объятия; они расцеловались.

...Пушешников рассказал новому знакомцу, что он сын белёвского помещика, окончил Дворянский Полк, что он был ранен, лечился в Костроме, а, возвращаясь в полк, был назначен начальством обучать рекрутов, и сейчас ведет отряд обученных для сдачи по назначению.

— Ну, а я — говорил Жуковский — военный случайный. Никогда не думал о фрунте и сражениях. Никогда не имел охоты и уменья для военной службы... Однако, в наше время, когда отечество в опасности, всякому должно быть военным, даже не имея охоты.

Он вопросительно посмотрел на Пушешникова, словно желая узнать, одобряет ли он его.

— А были ли вы в Бородинском деле?

— Вся моя военная карьера состоит в том, что я прошел пешком от Можайска до Москвы; простоял с толпой русских крестоносцев *) в резерве, в кустах в продолжении Бородинского дела и слышал свист ядер и канонаду дьявольскую.

Пушешникову очень понравилась скромность Жуковского. В его словах не было и тени похвальбы и рисовки, обычных в повествованиях участников войны. Он, даже, как бы относился к своей военной службе с легкой усмешкой, как будто стеснялся того, что за эту службу ему дали штабс-капитанский чин и обещали Анну на шею, ежели он останется на службе хотя бы еще месяц.

— Но я предпочел уйти в бессрочный отпуск, раз теперь война не внутри, а вне России... Записался я, ведь, под знамена не для чина и не для креста, — добавил он.

Бегло заметил он и то, что служба в ополчении стоила ему не дешево и что он истратил почти половину своего имения.

— Ну, а после Тарутина, куда же вас определили? — допытывался Пушешников.

— А дальше, наскучив биваками, перешел в главную квартиру, и по трупам завоевателей добрался до Вильны, где занемог горячкой, взял отпуск бессрочный, и еду теперь домой.

— По трупам завоевателей? — спросил Пушешников; до него уже дошли слухи о страшных бедст-

---

*) "Крестоносцы" — это крестьяне-ополченцы, названные так потому, что на шапках имели крест.

виях французов, особенно при переправе их через Березину.

Жуковский рассказал о событиях у Березины. Наполеон — в самом деле, великий полководец! — обманув неудачливого адмирала Чичагова ("Я его имя выбросил из "Певца" — улыбнулся Жуковский), ушел с гвардией от преследования, оставив остальных на произвол судьбы.

— Произошло подлинное побоище. Берега реки, после него, были завалены каретами, телегами, телами женщин, детей. Сии несчастные либо растоптаны лошадьми, либо поражены пулями и ядрами. Иные утоплены при переправе, брошены в снег, где холод прекратил их мучения... Картина ужаснейшая, невыразимая!

— Ну, а что же ожидается дальше? — продолжал жадно распрашивать Пушешников. — Перейдут ли наши войска границу? Будет ли продолжена война?

— Не могу сказать точно, но думаю, что нет. Светлейший за прекращение войны. Да и кому воевать? Ведь, до Вильны дошла только треть нашей армии... Войска были не в силах итти за Вильну. Одни казаки отряжены для погони. Солдатам нужен отдых: они едва двигаются... Мы бедствовали не меньше неприятеля. Дороги усеяны и нашими трупами. Наши раненые не в лучшем положении, нежели французские.

Пушешников слушал все это, новое для него, с напряженным интересом и волнением.

С одной стороны было приятно думать, что вой-

на кончается. В воображении возникали радующие картины возвращения домой; встреча с родными; удовольствия мирной жизни: семья, охота, пиры, успех у женщин.

Вот он, в халате, с чубуком во рту, рано утром выходит на крыльцо. Солнце, еще нежаркое, заливает зеленый росистый двор, конюха водят лоснящихся, после купанья, лошадей; гогочут гуси у колодца; кричит у дверей людской белобрысый мальчик; ключница спешит по тропинке к амбару...

Но, с другой стороны, как же возвращаться домой без всяких лавров, все в том же прапорщичьем чине, без орденов, и даже без красочных батальных воспоминаний, которыми так лестно поделиться с соседом за стаканом вина?

"Нет, — колеблется Пушешников — пожалуй, следовало бы еще повоевать! Получить бы, если не Владимира, то, хотя бы Анну; дослужиться бы, как тот же Жуковский, по крайней мере, до штабс-капитана, а там можно и в отставку!.."

2.

Со сном ничего не вышло. Возбужденные собеседники долго ворочались на шубах, постланных прямо на полу. Каждый из них думал свою думу, и она, эта дума, не давала спать.

Кроме того, из под двери дуло, кусали блохи, неугомонная старуха, то и дело, гремела дровами,

хлопала дверь — это замерзший пономарь приходил с колокольни погреться.

Опять зажгли свечи, достали дорожные погребцы, застучали ножи и вилки, трудясь над жареной курицей, зазвенели серебряные чарочки с полынной настойкой. Потекла живая, задушевная беседа.

Пусть за стенами ветхой сторожки, затерянной в снегах, шумит и злится буря; пусть по мерзлым дорогам, полям и лесам зимней России, лежат окоченелые, бесчисленные трупы, свои и чужие; пусть стоят обугленные, продымленные стены разоренных, сожженных русских городов и селений; пусть многие русские люди коротают жестокую зиму в землянках, в нищете и в голоде.

Все равно, жизнь идет своей бесстрастной чередой и живые, думая о живом, продолжают свою привычную и хлопотливую жизнь.

Здесь, в этой полутемной коморке, тепло, спокойно, безопасно; полынная водка приятно туманит голову, горячей струей бежит по суставам и жилкам.

Да, несмотря ни на что, жизнь прекрасна и увлекательна! Много еще она сулит и радостного и горького, хорошего и дурного, счастливого и горестного!

И сейчас, так приятно и лестно вести тихую беседу с таким редким собеседником, с человеком, замеченным царями, пишущим такие пленительные ласкающие стихи и вовсе непохожим на всех, кого, до сих пор доводилось встречать!

Кроме того, они и земляки: одни и те же поля

ржи, овса, льна, гречихи, одни и те же березовые рощи; одна и та же серебряная лента спокойной, полноводной Оки; одни и те же голубоглазые, бородатые мужики и загорелые, красивые бабы, в цветных сарафанах, — были свидетелями их детства, отрочества и ранней юности.

Все это, общее, роднит и сближает их.

— Я не люблю читать своих стихов каждому, — говорил Жуковский на просьбу Пушешникова прочесть что-нибудь, — но вам прочту охотно; читать вам стихи мне будет весело! Вот, хотите, я прочту вам стихотворение "Вечер". Я его сам люблю и оно, может быть, напомнит вам родные места.

Он читал спокойно, не возвышая голоса, с какой-то ласкающей меланхолией, с какой-то сладостной грустью:

Уж вечер... Облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает,
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает.

. . . .

Как слит с прохладою росистый фимиам!
Как сладко в тишине у брега струй плесканье,
Как тихо веянье зефира по водам
И гибкой ивы трепетанье!

Пушешников слушал стихи с неподдельным наслаждением.

Пожалуй, впервые почувствовал он так сильно пленительную прелесть поэзии и ее таинственную власть над людскими сердцами.

Жуковский видел, какое впечатление произво-

дит его чтение, и это было приятно ему в самой высокой степени.

— Чудесно! Превосходно! — воскликнул Пушешников, горячо пожимая руку поэта, — но, позвольте заметить вам, что вами описан не наш русский белёвский вечер, а вечер, как бы сказать, идеальный, отвлеченный... Это не Белёв, и это не Ока!..

Замечание это удивило Жуковского.

Он с любопытством поглядел на этого, совсем еще юного, статного, белокурого и синеглазого офицера, сидящего против него в сюртуке на распашку, в облаках табачного дыма, со стаканом вина в руке.

Признаться, он не ожидал от этого молодого человека такого тонкого понимания поэзии.

"А, ведь, он сказал справедливо!" — подумал Жуковский.

Он хорошо знал за собой эту особенность преображать в стихах обыденную жизнь, с ее, иногда, грубыми чертами, в нечто возвышенное и идеальное.

Бывало, в Мишенском, когда он глядел на возвращающегося в свою избу с покоса, красивого, чернобородого мужика, Карпа, — его тянуло передать в стихах скрытую поэзию тихого вечера, завершившего трудовой день этого человека, и его возвращения к своему очагу.

Но как только он брался за перо, для того, чтобы запечатлеть веянье этой поэзии, — русский мужик в лаптях, с косой за плечами, исчезал и его место занимал некий безликий, благопристойный и добродетельный "поселянин", идущий "медленной сто-

пой“ в ”шалаш спокойный свой“.

То же было с русскими вечерами, зорями, лесами, реками.

Какие, в самом деле, могли быть в белёвском уезде башни, озаренные лучами солнца; о каком ”росистом фимиаме“ и ”веяньи зефира“ можно было говорить в виду дымных крестьянских изб, пахучих скотных дворов, грязных постоялых дворов, размытых дождями, почти непроезжих, проселочных дорог?

...Беседа приобретала все более и более задушевный характер.

Была откупорена еще одна бутылка вина. Вино — ”веселие героя“ — делало свое дело.

Прислушиваясь к гулу бури, к тревожным звукам колокола, к голосу осмелевшего сверчка, вносившего в угрюмую ночь какую-то теплую нотку, — Пушешников чувствовал себя растроганным, размягченным, готовым к дружбе и к откровенности.

То же было и с Жуковским. Этот его собеседник, случайный знакомец, привлекавший его к себе своей непосредственностью, отзывчивостью и дружелюбием, — делался, по мере того, как опорожнялись стаканы, милее, роднее и дружественнее.

Что за дело, что они встретились впервые и друг друга раньше совсем не знали? Ведь, дружба — это высокое, священное чувство — рождается часто непроизвольно. И они здесь вдвоем — как думал Жуковский — подлинно ”святой союз любви торжествовали и звоном чаш шум ветров заглушали...“

Восторженность, в те времена, не была смешна

— ее не стыдились!

3.

В таком умонастроении, Пушешникова потянуло "раскрыть свое сердце" перед своим новым знакомцем и рассказать ему всю свою любовную историю, недавно пережитую в Костроме.

Он не пожалел красок, описывая Агафью, ее повадки, ее нрав. Она, по повествованию Пушешникова, представилась Жуковскому черноокой, чернобровой красавицей, горячей, страстной, неукротимой, готовой итти напролом, наперекор всему.

В лирическом экстазе, Пушешников сделал Гашу и идеальней и краше, нежели она была на самом деле. Да это было и естественно: разлука еще не охладила свежих воспоминаний, скорее даже их обострила; простое и будничное потускнело, резкое сгладилось, осталось только то, что мягчило и согревало сердце.

Неукротимая страсть, исступленность, любовное наваждение — были чужды природе Жуковского.

Он, со своим кротким спокойствием, со своею прохладной уравновешенностью и склонностью более к мечтам, нежели к жизни, — ни разу не пережил ничего подобного тому, что пережил Пушешников.

Гаша не была и не могла быть женщиной его мечты.

Он слушал с искренним сочувствием, рассказ Пушешникова, но не завидовал ему и не переживал

вместе с ним любовных бурь. Думал он о другом.

"Знает ли Пушешников, — размышлял он, — что моя мать, пленница, темная и неграмотная женщина, ключница в барском доме, по своей природе, по своему положению — та же Гаша? Знает ли он, что отец мой вовсе не Жуковский, а белёвский хлебосол-помещик, добрый, ленивый, распущенный — Афанасий Иванович Бунин? Наверно знает! Ведь, об этом, конечно, говорил некогда, да говорит и сейчас, весь уезд. Помнится, что в Мишенском бывали Пушешниковы. Они не могли не знать его семейных тайн, которые, впрочем, и тайнами-то не были".

Вспомнился Пушешников — отец, высокий, стройный, пожилой человек, в старомодном, екатерининских времен, мундире, любезный, учтивый, рассеянно приласкавший его, тогда маленького, кудрявого Васеньку.

Тогда он сам не жил в большом доме, а жил во флигеле вместе с крестным.

Было что-то неясное, неловкое в его тогдашнем положении, что и не исчезло совсем и по сию пору.

"Да, семьи у меня никогда не было. Меня ласкали, заботились обо мне, проявляли участие, но делали это больше по обязанности, нежели по чувству, со снисхождением, принужденно, покровительственно. Собственно, никто меня по-настоящему не любил".

Это было его постоянное больное место, всегдашний предмет горьких дум и размышлений.

И теперь, когда он слушал повесть о Гаше, ему казалось, что в ее судьбе было много общего не

только с судьбой его матери, но и с судьбой его самого.

Она, эта простая по крови, но сложная и глубокая по своей натуре женщина — не может быть счастлива только потому, что внешние обстоятельства ее жизни, ее происхождение и общественное положение, сильнее ее любви и ее страсти. Они, эти неумолимые обстоятельства, никогда не позволят ей быть счастливой, как она того заслуживает.

Тоже, повидимому, будет и с ним самим. И для него внешние обстоятельства неодолимы: он никогда не будет счастлив, никогда не добьется осуществления своей мечты!

Заражаясь откровенност:ю своего собеседника, Жуковский тоже решил поделиться с ним своим заветным, тем, что лелеяло и терзало его сердце, что омрачало сейчас его жизнь, как будто вступающую — имея в виду благоволение царского двора, — в свою удачливую и благополучную пору.

Маша!.. Вот кто — причина и источник его радостей и печалей. Радостей потому, что не было и не могло быть на свете большего счастья, чем любить ее, чувствовать на себе ее ласковый взгляд, мечтать о ней и думать об общей с нею жизни, ясной, безмятежной, добродетельной.

Горе же было вот в чем:

— Любовь моя самая чистая, — говорил Жуковский, — без всякой примеси низкого, она могла бы быть счастьем для меня, если бы не люди! Сердце мое рвется, когда воображу, какого счастья меня ли-

шают, и с какой жестокостью, нечувствительной холодностью.

Слушая своего нового друга, Пушешников, казалось, страдал наравне с ним.

Правда, он не вполне понимал идеальный характер отношений Жуковского к Маше. Эти отношения казались ему слишком возвышенными, черезчур бесплотными, в них — по его мнению — было много чувствительности, вздохов, нежности, но не было жизни, не было ничего страстного, палящего, заставляющего забывать обо всем на свете. Это было вовсе не в его духе.

Да и сама Маша, судя по рассказу Жуковского, представлялась ему вялой, бледной, чрезмерно чувствительной и меланхоличной уездной барышней, очень склонной к слезам, к вздохам, к печали, к покорному подчинению судьбе, людям и обстоятельствам.

Думая так, Пушешников, в сущности, не ошибался. Маша Протасова, в самом деле, могла быть идеальной героиней печальной и плакучей поэзии тех времен.

Да и весь ее облик неяркий, хрупкий: она была скорей некрасива, хотя и миловидна, черты лица мелкие, бледная, рыжеватые локоны — соответствовали полностью представлению о героинях тогдашних чувствительных романов. Ничего выдающегося, кроме больших, очень выразительных и печальных голубых глаз.

Формально, по закону, Протасовы и Жуковский вовсе чужды друг другу. Екатерина Афанасьевна и

ее дочь Машенька ведут свой род от Буниных, а Василий Андреевич — сын бедного дворянина Андрея Григорьевича Жуковского, как будто никакого отношения к Буниным не имеющий.

На самом же деле, Екатерина Афанасьевна его сводная сестра, а Машенька его племянница. Родство кровное, близкое, недопускающее брака. В этом-то и всё горе!..

Перед своим отъездом в армию, Жуковский, преодолевая свою застенчивость и свою робость, решил окончательно объясниться с сестрой и убедить ее согласиться на его брак с Машей.

Был серый июльский денек.

Низкие тучи; только иногда проглянет солнце, ярко осветит расстилающуюся перед балконом равнину, стога сена на ней, стреноженных лошадей, заросли кустов по берегам извилистой реченки, а за ней бесконечные поля зреющей ржи и синюю, замыкающую горизонт, полосу ближайшего березового леса.

Орловский край, село Муратово... Здесь, с недавних пор, во вновь отстроенном доме — еще приятно пахнет сосной, стружками — живет Маша с матерью и с сестрой Сашей.

Где-то, совсем недалеко, идет война, грохочут пушки, гремят барабаны и непобедимый враг неуклонно продвигается вглубь России. Вести приходят самые неутешительные, тревожные, смущающие.

А здесь, всё равно, всё та же, как и раньше, невозмутимая тишина; спокойная, налаженная деревенская жизнь, со своими заботами, разговорами, буд-

нями и праздниками.

Екатерина Афанасьевна, видная, красивая — строгая складка губ — настоящая барыня, сдержанная, гордая, — вышивает что-то бисером, сидя у окна в кресле, хозяйственно поглядывая на двор, на амбары, на кухню, кладовые.

В соседней комнате, глотая слезы и чутко прислушиваясь к тому, что говорится в гостиной, Маша рассеянно играет на клавесинах какую-то меланхолическую музыкальную пьесу.

Жуковский — смущенный, взволнованный. Он еще в статском платье: вьющиеся кудри, высокие отложные воротнички, свободно, большим узлом, завязанный галстук.

Он говорит о своей любви к Маше взволнованно, сбивчиво, несвязно. Еще тогда, когда ей было всего десять лет и он, в тихом Белёве, учил ее изящной словесности, философии, истории и логике, — она, тогда еще угловатая, тихая и послушная девочка, возбуждала в нем какую-то странную, похожую на любовь, нежность.

Он сам тогда удивлялся, спрашивал себя: "можно ли быть влюбленным в ребенка?“

Оказалось, что это было возможно. И когда, мало по малу, на его глазах, из некрасивого, какого-то нелепого подростка, Маша выравнялась в нежную и изящную девушку, он уже твердо знал, что он ее любит преданно, верно, на всю жизнь.

Да как же могло быть по другому, когда всё; лирическая грусть, склонность к мечтательности, ко всему тонкому, изящному, романтически-туманному,

всё то, о чем так возвышенно и тонко писал Шиллер Бюргер, Виланд, — всё, всё было для них одинаково близко и дорого, всё одинаково их волновало, услаждало, сближало.

— Я люблю Машу, как жизнь, — пылко говорит он, — видеть ее и делить ее спокойное счастье есть для меня всё, и для нее также.

Екатерина Афанасьевна сама все это хорошо знает. Давно уже, своим внимательным взором, наблюдает она за этим растущим и крепнущим, обоюдным чувством.

Она, естественно, любит дочь, любит и Васеньку, привыкла к нему с давних пор, считает его почти сыном — она старше его на четырнадцать лет.

Ей жалко и Машу, и его. Ведь, когда-то и она сама лила чувствительные слезы над романами Жанлис.

Но, ведь, романы — романами, а жизнь — жизнью. Она, Екатерина Афанасьевна, женщина твердых и неколебимых правил: без всякой туманной романтики, с волей суровой и непреклонной. Она строго православная, а ежели Церковь запрещает браки между людьми, близкими по крови, то тут никакие рыдания, слезы, жалость — помочь не могут!

Она наотрез отказывает Василию Андреевичу.

С несвойственной ему резкостью, он говорит ей:

— Вот вы, сестрица, говорите, что христианство заставляет вас отказывать нам в нашем счастье, а, ведь, того, что составляет характер христианства, — любви, заботящейся о чужой судьбе, как о собствен-

ной, — у вас нет! На нашу потерю смотрите вы холодными глазами эгоизма!

Это было уже слишком. Расстались они очень холодно. Маша горько плакала.

4.

Лошади стоят у крыльца, отгоняют хвостами оводов, позвякивают бубенцами. Всё уже уложено, привязано, распределено по своим местам.

В дорожном плаще, в дорожной шляпе, подавленный, разбитый — Жуковский в последний раз смотрит на окна муратовского дома.

Заплаканное, распухшее от слез, подурневшее, но ставшее от этого еще милее и трогательнее, лицо Маши мелькает в окне мезонина. Она безнадежно машет платком.

На сердце тоска непереносимая! Суждено ли еще увидеть ее, увидеть все эти милые, связанные с самыми трогательными воспоминаниями, муратовские места? Ведь, впереди полная неизвестность: война, опасность со всех сторон, а, может быть, и смерть!

Гремя колесами, проехали шаткий мостик, свернули на большую болховскую дорогу. Долго еще, с высоты холма, видна муратовская церковь, господская усадьба.

Там, оно, это милое, заплаканное лицо! Во всё время пути, и на Бородинском поле, и дальше, вплоть до Вильны и горячечного бреда, пережитого там, — лицо это будет неизменно сопровождать его, жить

в памяти, умилять, утешать.

Дорога несколько отвлекает, дает другое направление мыслям.

Встречаются, позвякивая колокольцами, запыленные тройки; в тени берез, вдоль дороги, по тропинке, неспешной стопой, тянутся, постукивая батожками, в лаптях, с сумками за плечами, богомолки; плывут по дороге, по волнующемуся морю поспевающей ржи, тени облаков.

Ширь, простор, приволье, тишина — всё свое, родное, знакомое, привычное с детства.

Есть и новое: встречаются тяжелогруженные, порытые брезентом, военные фуры — сидят на них солдаты, покуривая трубки; спешит на перекладных офицер, догоняющий свой полк; у ворот почтовой станции, устало фыркают взмыленные лошади, на минуту остановившегося, фельдъегеря. А один раз, заняв надолго всю дорогу, прошел, с обозами и кухнями, пехотный полк — запыленный, пропотевший — идущий на запад.

Война, война!

"Да, — размышляет Жуковский, глядя на всё это, — я поступаю правильно... Всякий должен встать на защиту Отечества, на защиту вот этой самой русской земли, своей, русской жизни!"

Вечер. Медленно тухнет за дымчатыми облаками заря. Звонче в овсах кричат перепела. Леса темнеют, шумят таинственней и глуше.

С вечерней тишиной, с грустью затихающих полей, с привычной сладкой вечерней печалью, — возвращаются всё те же, тяжкие думы, горькие старые

и свежие воспоминания.

Жуковский по своей природе — мягок, добр, беззлобен. Но стоит ему вспомнить последний разговор с сестрой, ее ледяной тон, сердитый взгляд, — чувство жгучей обиды начинает его волновать. Он внутренне кипит, ожесточается против сестры, против всего, что отнимает у него Машу. Мысленно он продолжает свой спор с сестрой, придумывая и выдвигая всё новые и новые доводы, чувствуя, вместе с тем, их бесплодность, их малую убедительность.

. . . .

— Я несчастлив, и самым убийственным образом! — сокрушенно говорит Жуковский, окончив свою грустную повесть.

— Ну, а что же расчитываете предпринять? — спрашивает Пушешников.

— Да что же я могу предпринять?.. Одна надежда, что Екатерина Афанасьевна смягчится, осведомившись о впечатлении, произведенном "Певцом", о благоволении Государыни... Быть может, поможет она?.. Впрочем, не химера ли это сумасшедшего?

— А, знаете ли что? — говорит Пушешников, — давайте мы ее похитим!

—Кого?.. Как похитим?

— Машу, конечно!.. Просто тайком увезем её из дома. Вы с ней обвенчаетесь, — законных препятствий нет, а затем упадете на колени перед матерью, и дело с концом. Она простит, да и что другое может она сделать?..

Такой выход никогда не приходил в голову Жуковскому.

Он немного ошеломлен.

"В самем деле — думает он, — а почему, собственно, не поступить так?"

Выпитое вино делает эту мысль не такой уж несуразной, какой она могла показаться в обычное время.

На мгновение он старается представить себе, как бы всё это было.

Вот он, в безлунную ночь — зги не видно! — стоит у ограды муратовского сада. Сердце стучит, как молот. Тишина мертвая: слышно лишь, как переступают ногами застоявшиеся лошади, да что-то шепчет Пушешников. Вот, вот, должны послышаться боязливые и торопливые шаги смертельно испуганной, трепещущей Маши. Уже слышно, как скрипят под ее ногой ступеньки крыльца. А вот и она, в трепете, в волнении, в страхе.

Нет, нет! всё это вовсе несбыточно, невозможно, решительно непохоже ни на Машу, ни на него.

Нет, он совсем не тот, не лихой гусар или улан, который способен удальски похищать невест.

Да, в конце концов, дело и не в нем: — Я знаю характер Маши. Она, при этих условиях, была бы совершенно несчастлива. Что пользы из одной бездны перевести ее в другую, и самому быть причиной ее страдания?

. . . .

Утром, сияющим, солнечным, чуть морозным, они

расстались сердечно и дружественно. Жуковский просил писать в случае чего: у него имеются некоторые влиятельные знакомства, хотя бы тот же полковник Паисий Андреич Кайсаров, адъютант главнокомандующего, с помощью которого он сам был переведен в главную квартиру.

Пушешников к полудню вывел свой отряд из деревни и повел его в соседний город, до которого еще оставалось около пятнадцати верст пути.

Кругом, насколько хватало глаз, ослепительно сверкал снег, небо было чисто, сияло глубокой лазурью.

Отдохнувшие солдаты, предвкушая близкий отдых, шли весело, бодро, размашистым шагом. Вызванные вперед песенники, залихватски, с задором, затянули, недавно сложенную в армии, песню, дружно подхваченную остальными:

Хоть Москва в руках французов,
Это, право, не беда, —
Наш фельдмаршал князь Кутузов
Их на смерть пустил туда...

В лад этой бодрой, подмывающей песне, Пушешников отдавался приятным и бодрым мечтам...

Жизнь казалась ему опять замечательной: не она ли подарила ему, только что, такое прекрасное знакомство, такую лестную дружбу, такие незабываемые впечатления, редкие душевные утехи?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мало по малу здоровье восстановилось, хрипы прошли, кашель почти прекратился; румянец вновь окрасил щеки, глаза засверкали живо и молодо. Лихарев вновь почувствовал себя молодым, сильным, здоровым.

Лазаретный лекарь, старый, усталый, опустившийся человек, — в последний раз осмотрел Лихарева, выслушал его и, полюбовавшись его богатырским сложением, сказал:

— Ну, Дмитрий Сергеевич, вы опять молодец-молодцом. Хотите идите воевать, хотите женитесь! А в лазарете вам больше делать нечего.

Однако, отправляться в армию Лихареву еще не хотелось.

Разве мало он томился и тосковал в лазарете? Разве не имел он права хоть немного попользоваться жизнью?

"Куда спешить? — думал он. — Враг изгнан из российских пределов; война, верно, уже кончена".

Правда, слухи о том, что впереди ещё предстоит европейский поход — все крепли и крепли.

Говорили о том, что Государь в Вильне сказал светлейшему, войны нехотевшему:

— Вы спасли не одну Россию, вы спасли и Европу!

Отсюда заключали, что война непременно будет продолжена.

Этому, однако, не радовались: поход в Европу, в общем, не одобрялся.

"Зачем затевать новую войну, — толковали в обществе, — мы отстояли себя, победили непобедимого... Зачем нам итти в Европу освобождать немцев, которые, кажется, этого и не хотят? По крайней мере, что-то не видно, чтобы они поднимались против своего грозного угнетателя".

Прислушиваясь к этим толкам, Лихарев чувствовал себя не совсем ловко.

Хорошо ли, — спрашивал он себя, — что он сидит здесь, в Костроме, предаваясь покойной и приятной жизни, когда его полк, измотанный, замученный, уменьшившийся на половину, отощавший — лошади, пишут ему, обратились в кляч, — холодает и голодает где-то у прусской границы.

"А, да, что там! — успокаивал он сам себя, — Успею еще, повоюю, коли пойдем походом в Европу!"

Из госпиталя он перешел в губернскую гостиницу, занял удобный, просторный нумер и зажил легкой и приятной жизнью: все его любили, да и он буквально ко всем относился благожелательно, дружественно, был неизменно благодушен, обязателен, щедр, разве только немного горяч и вспыльчив.

Тешила его привычная и приятная гостиничная суета, это покойное, баюкающее дворянское довольство, эти длинные, темноватые коридоры, устланные мягкими дорожками, где зашуршит вдруг женское

платье, мелькнет молнией влекущий взгляд, где встретится иногда нежданно боевой товарищ, — объятья, восклицания, разговоры...

Из биллиардной доносится сухой треск шаров, приятно пахнет кухней; услужливые швейцары, половые, ямщики, весело осклабляясь, радостно встречают благодушного и щедрого барина.

Деньги у Лихарева водились. Играл он крупно и счастливо.

У него в нумере непрерывно толчется народ: дымят трубки, хлопают пробки, увертливые половые ловко снуют в тесноте с блюдами, с бутылками. Веселый гомон, раскаты хохота...

Иногда игра идет всю ночь напролет. Уже неохотный, тугой декабрьский рассвет пробивается в замерзшие окна; звонят к ранней обедне, а у Лихарева, в табачном тумане, тускло мерцают оплывшие свечи; помещики, офицеры, чиновники все еще сидят за карточным столом, играют, записывают мелом на зеленом сукне свои выигрыши и свои потери...

Лихарев, свежий, бодрый, несмотря на бессонную ночь, картинный — черные кудри, усы кольцами, гусарские шаровары цвета раздавленной вишни — мечет банк; продвигает к себе кучки чуть звенящих червонцев.

А за окном морозный туман; у подъезда фыркают промерзшие лошади; кучера, с досадой поджидающие загулявших господ, греются у костров, притопывают валенками, хлопают, чтобы согреться, руками крест на крест.

К обеду же, всё те же лица, опять заваливают

швейцарскую тяжелыми меховыми шубами, бекешами, плащами, шинелями.

С приятною бодростью, потирают руки у стойки, уставленной рядом водочных и винных бутылок, рюмками и бокалами разного назначения, блюдами всякой снеди: балыки, икра, ветчина, сыры... Звякают рюмки; гудят голоса, обменивающихся новостями, завсегдатаев ресторации...

— Светлейший прислал в Казанский собор сорок пудов серебра — казаки отбили у неприятеля... Будут отливать четырех евангелистов.

—Войне не миновать, — слышится в другом углу, — знаю верно, что из Арзамаса — там собирают и обучают рекрутов — что ни день на подводах шлют в армию новобранцев.

— Вчерась была почта из Вильны. Пишут, что в том краю еще множество непогребенных и несожженных тел... Успели лишь, на первый случай, очистить одни дома.

Говорят, что то же делается и в Москве. С весны опасаются моровых поветрий. В столице уныние: святки будут невеселые.

Впрочем, обо всем невеселом, нерадостном говорится уже рассеянно, неохотно. Мысли заняты другим: война отодвинулась, милая мирная жизнь входит в свои права.

Говорят о недавних именинах губернатора; об охоте Певцова, об его гончих, купленных им за большие деньги у Потапова; говорят о крестинах у Марьи Петровны; о затянувшейся тяжбе двух помещиков из-за каких-то заливных лугов; обо всем другом, что

составляет привычную жизнь губернского общества.

Все в ожидании святок: они идут уютные, шумные, семейственные, в гуле церковных колоколов, в мерцании рождественских звезд, в тепле помещичьих усадьб; в песнях, плясках, в гаданиях волжской, богатой и сытой деревни.

Лихарев очень увлечен зимними, святочными удовольствиями: пирами, охотами, тройками, цыганами, кутежами...

Сколько наслаждения дала ему, например, недавняя охота на волков в дремучих, заваленных сугробами, молчаливых лесах Поволжья.

Сосновый бор стоит беззвучный; от тишины звенит в ушах. Только изредка качнется лапчатая, отягощенная снегом, сосновая ветка; посыпется снежная пыль — это огненно-рыжая белка скакнула с сосны на сосну.

Нарастая, близится издалека заливчатый лай гончих, слышится нестройный гул голосов прозябших загонщиков.

В длинной, теплой дохе, в шапке с ушами, свежий, чуть промерзший — усы побелели от инея — стоит Лихарев, тревожно ждет, чутко прислушивается, сердце стучит четко и громко.

И вот, он, зверь — матерой, лохматый, страшный, затравленно озирается, крадется из-за стройной молодой елки.

Как будто само собой, выпалило ружье. Громадной тушей растянулся волк на снегу, окропив его алой кровью.

Потом сторожка лесника, дымная, тесная, про-

пахшая псиной, звериными запахами.

Лесник, бывалый, сам, как какой-то лесной зверь, — со скрытой усмешкой, наблюдает барские потехи; посмеивается про себя, но льстит, кланяется подобострастно, встряхивая волосами, принимает из барских рук чарку огненной жидкости.

За вином, за едой, — возбужденные разговоры о только-что пережитом, охотничьи воспоминания и истории, да обычные мужские разговоры, остроты, шутки о женщинах, а сейчас, особенно, о хорошенькой вдовушке Авдотье Петровне, за которой, с недавних пор — как говорят — не без успеха, стал "волочиться" Лихарев.

На одном семейном балу — общественные балы еще не устраиваются из-за войны — он, в своем великолепном синем доломане, густо расшитом золотыми шнурами, молодецки танцевал с ней мазурку и вызвал всеобщее восхищение.

А потом, после шумного ужина, за которым было выпито море шампанского, разгоряченный, чувствующий свою неотразимость, — не отрывая своего взора от смущенной Авдотьи Петровны, с большой выразительностью, пел, поводя глазами:

... Летя на тройке полупьяный,
Я буду вспоминать о вас,
И по щеке моей румяной
Слеза скатится с пьяных глаз...

Разгульно, размывчато рокотала гитара, звучали с приятной печалью струны.

Отблеск восковых свеч, золотыми точками, горел во влажных глазах Авдотьи Петровны, а ее дав-

ний вздыхатель, губернский прокурор, высокий блондин с тонкими губами, — зеленел от ревности и злости.

Впрочем, и прехорошенькая дочка губернского предводителя, Лизочка, в последнее время стала занимать воображение Лихарева.

На катанье по замерзшей Волге, освещенной дымчатой, далекой и холодной луной, — они ехали в одних санях.

Лихарев притворно вздыхал, заглядывал в глаза Лизочке, и даже жал ее ручку под меховой полостью. Лизочка звонко смеялась и руки не отнимала.

Одним словом, жизнь была увлекательная и прекрасная!

2.

С отъездом Пушешникова, для Гаши настали черные дни.

Она тосковала, мучилась, не находила себе места. Похудела, побледнела; глаза, окруженные темными кругами, горели мрачным огнем.

И мучила ее не столько любовная тоска, сколько сожаление об ушедшем, сколько досада, жгучій стыд оттого, что оставлена, брошена; оттого, что подружки и соседки, забегая к ней, злорадствуют, едко

язвят, насмехаются.

— Что ж, уехал мил-друг, потешился, поиграл, да бросил... Небось, думала, барыней будешь, а выходит, как была мещанка, так ею и осталась!..

До слез злилась Гаша; плакала по ночам, подушку кусала от злости. А днем, на людях, ходила такая же гордая, как всегда, в глаза всем смотрела прямо, смело, дерзко.

— Ну, и бесстыжая!.. — толковали соседки у обледеневшего колодца, глядя вслед Гаши, несущей легкой поступью, с изящной ловкостью, полные ведра на коромысле, воды не расплескивая.

Какие-то новые, непривычные чувства стали ее волновать и мучить. Почему-то в сердце ее росла и укреплялась какая-то обида, какое-то неприязненное, даже мстительное, чувство к Пушешникову, ее оставившему.

Она-то хорошо понимала, что он не мог не оставить ее, — ведь не мог же он не поехать на войну; — он не мог на ней жениться и не потому только, что она мужичка, простая мещанка, а он дворянин, барин, но и потому, что у нее есть муж, где-то служащий в солдатах.

И всё же, зная и понимая всё это, она не могла отрешиться от странного чувства обиды, копившегося в ее сердце.

Ей казалось теперь, что Ванечка — так называла она этого ласкового и веселого барина — любил ее недостаточно, а ближе к разлуке, может быть, и вовсе разлюбил, тяготился ею, спешил от нее уйти.

В самом деле — вспоминала она, — когда она, при

прощании, в отчаянии, каталась по полу и рвала свои косы, — он, как казалось ей теперь, — только и думал о том, чтобы скорее уйти, освободиться от ее слез и рыданий. И тогда, как вспоминала она, он с облегчением, выбежал за порог ее дома.

"Нет, нет!.. Не любил он меня. Потешился, обманул, ушел. Все они такие!.. А я-то дура, верила ему, надеялась..." А на что, собственно, могла она надеяться, она и сама не могла объяснить.

...Морозный закат затухал за крышами города; розовели снега.

Мальчишки, в рваных полушубках, в отцовских шапках, разрумяненные морозом, дуя на озябшие пальцы, с громкими криками — скатывались по наезженной тропе, вниз, с горки, к реке.

Задумчиво звонили к вечерне у Параскевы-Пятницы.

Всё было, как всегда. Всё было свое, привычное, с детства знакомое.

Была знакомой и привычной и эта опрятная горница: большая печь с лежанкой, половички, часы с цветным циферблатом, герани на окнах; белая кошечка, которая неслышно спрыгнула с лежанки, вытянула спинку, стала ластиться.

Но теперь, эта тишина, это одиночество, вся неподвижность устоявшейся жизни — казались ей постылыми, угнетали, давили.

...В эти смутные, невеселые дни, нежданно пришла весть о том, что муж ее Афанасий, забияка, удалец, бедовый, бесстрашный кулачный боец, гульливый Афонька, — умер в военном лазарете, где-то за

Смоленском.

Гаша не любила его: был он груб, неласков, даже иногда, во хмелю ее поколачивал, а она тогда визжала от злости, царапалась, кусалась...

Но, всё же, она поплакала, погрустила немного: всё-таки прожила с Афонькой почти два года.

Вспомнила, как видела его в последний раз перед отправкой в рекруты. Был он хмельной, куражился, притоптывая, тренькал на балалайке, пускался в пляс.

Красивый, голубоглазый; рыжий вихор дерзко торчал из-под шапки, сдвинутой набекрень.

Выйти за него замуж приказал отец — человек строгий, даже крутой, недоступный, красивый, черный — настоящий цыган. Ходил он чисто, даже щеголевато, в тонкой поддевке, в ярких рубахах. Бывало, на гуляньях, на качелях, на каруселях, — бабы на него заглядывались, а он, чувствуя это, чуть заметно усмехался в усы.

Чем он занимался, где брал деньги, — а они у него водились — Гаша не знала. И рыбу ловил, и торговал, и ездил часто вниз по Волге, в Астрахань, по каким-то тайным, может быть, и темным делам.

Так и не вернулся из одной из таких поездок — пропал, как в воду канул.

Весть о смерти Афанасия дала мыслям Гаши новое направление. Сначала она грустила, вспоминала прошлое, жалела себя, сетовала на свое одиночество.

"Ровнешенько никого не осталось. Вовсе одна! Круглая сирота и сверху и снизу!" — думала она с какой-то сладостной жалостью к себе самой.

Затем, понемногу, неясно и смутно, стала приходить в голову мысль о том, что одиночество это сулит для нее, может быть, что-то хорошее и новое.

В самом деле, разве смерть мужа не развязала в ее жизни какой-то узел? Разве она не сделала ее свободной, ни от кого независимой? Ведь она теперь вольная птица, как те чайки, которые носятся белыми стрелами над Волгой.

Кто знает? может быть, что-то вовсе новое, непохожее на старую жизнь ждет теперь? Может быть, недалек час, когда она оставит этот берег и этот домик, в котором она родилась, выросла и прожила почти двадцать лет.

Новые, смелые, кружащие голову, мечты стали приходить все чаще и чаще, стали крепнуть день ото дня.

"Что же, — думала она, — разве красота малого стоит? Разве даже самого низкого звания женщины своей красотой не добывали свою судьбу? Ведь, не только князья, дворяне и купцы богатые, но даже цари — так в сказках говорится — приближали, любили, холили самых простых женщин."

Она с самых малых лет любила такие сказки.

"А я разве некрасива? Почитай на сто верст кругом не найдешь такой красоты! Что говорить — писанная красавица!.."

Гаша брала зеркальце и прилежно, внимательно и подолгу гляделась в него. В нем отражалось смуглое, точеное лицо, соболиные брови, глаза темные, глубокие, палящие, осененные длинными, как черные мотыльки, ресницами.

— Хороша, хороша! — удовлетворенно шептала она.

Недаром, где бы она ни была: в церкви ли, на улице, на рынке, везде ее провожают мужские восхищенные, жадные глаза. Недаром, то и дело, подсылают к ней толстую Матвеевну со всякими соблазнительными посулами.

Недаром, в гостинном ряду, молодой, кудрявый красавец — купец, сдерживая своего горячего коня, запряженного в щегольские санки, — сверкая глазами, кричит ей вслед: — А, ну, садись, красавица, умчу, куда хочешь!..

А она, как будто не слыша и не глядя, идет мимо, опустив глаза, а в уголках ее губ змеится тогда едва заметная, загадочная, сводящая с ума, улыбка.

И что же, неужели такая красота опять должна достаться простому мужику, или, в лучшем случае, какому-нибудь мелкому купчику, либо приказному?

Неужто можно позволить, чтобы красота эта завяла в тяжелой работе, в скучной, беспросветной жизни, в домашней неволе?

"Нет, нет! Раз полюбила барина, молодого, красивого, то как же после можно еще кого полюбить? Кто после него мил будет?"

Гаша сидела у окна, что-то шила, тихо напевая старую песенку. И вдруг, как бы завершая все ее раздумья, к ней пришла самая простая мысль: "Почему же теперь, когда я овдовела, стала вольной птицей, не может Ванечка на мне жениться? Почему?.."

Да, она низкого звания, простая мещанка, а он

дворянин, офицер, но — она-то знает, что стоит ей прильнуть к нему, приласкаться, шепнуть ласково и горячо: "Люблю так, что себя не помню, всё забыла, ни на что не посмотрю!.." — и он забудет свое дворянство, забудет всё на свете.

Непременно ей нужно, скорей, как можно скорей, разыскать Ванечку, околдовать его опять, заворожить вконец, привязать его к себе на всю жизнь! Пусть женится на ней, пусть увезет ее отсюда, где ей стало так скучно и так тесно!

Но, как же сделать это? Ведь, она не знает, где он теперь, что с ним, жив ли. И узнать-то не может: грамоте не обучена, ни написать, ни прочесть письма, если придет, — не может. Что же делать?

Вдруг вспомнила, что Пушешников, уезжая, говорил ей о другом барине, что вместе с ним лечился: о Дмитрии Сергеевиче Лихареве — это имя она хорошо запомнила. "Пойди к нему, в случае чего, — говорил, помнится, Ванечка, — он поможет".

Быть может, Лихарев еще здесь, не уехал. Он-то, наверное, знает, где Ванечка, что с ним. Скорей, скорей к нему! Только бы не опоздать!

Гаша очень взволновалась, хотела даже, не дожидаясь утра, итти в лазарет.

Но было уже поздно. Луна ледяным сиянием светила над спящим городом.

Горячие, беспокойные мысли — не давали Гаше спать до света.

3.

Идти на люди, допытываться, выдерживать двусмысленные и насмешливые взгляды — было нелегко.

Но раз Гаша решила, то не в ее правилах было отступать.

В госпитале ей сказали, где найти Лихарева.

И вот, пока денщик Лихарева, Федька, нагло улыбаясь, ходил докладывать о ней барину, — Гаша стояла в людном коридоре гостиницы, не подымая глаз, строгая, бесстрастная, ледяная.

Мимо проходили старые и молодые господа, любопытно заглядывали ей в лицо, что-то говорили, смеялись.

Гаша знала о чем они говорили и чему смеялись. Было очень досадно и очень стыдно. Разбирала злость.

Только ушел, низко кланяясь, очень довольный чаевыми, цирульник, когда Лихарев, готовый к выходу, великолепный, ослепительный, красуясь свежей шелковистостью только что выбритых и припудренных щек, — вышел к Гаше.

В короткой шубке, в синем, с красными розами, платке, раскрасневшаяся от волнения, освещенная ярким солнцем, заливавшим горницу, — она была удивительно хороша.

Голубоватый снежный отсвет, струившийся из окна, мягко согревал ее лицо, делал нежней и мягче ее смуглые щеки, оттенял чуть заметный пушок на верхней губе.

Лихарев, не скрывая, любовался ею.

Покручивая ус и охорашиваясь, он смотрел на нее с той самоуверенной игривостью, с которой привык смотреть на всех мало-мальски привлекательных женщин.

— Нет! Пушешников ему не писал. Где он и что с ним — он не знает.

Чуть заметная тень пробежала по ее лицу, ресницы затрепетали чаще, и, как будто, даже чуть чуть увлажнились глаза. Но сразу же, неумолимая, жесткая складка сжатых губ — показала, что ни жалоб, ни слез не будет.

— А ты, красавица не горюй!.. — говорил Лихарев с привычной, веселой развязностью. — С твоей ли красотой горевать? Другой полюбит, коль захочешь!.. Мигни только!

Гаша, как бы не желая понимать скрытого смысла слов этого веселого барина, без улыбки, сухо, без намека на поощрение, сказала:

— Так, сделайте милость, сударь, пошлите сказать, коль весточку получите от Ивана Алексеевича!

— Непременно, непременно пришлю!.. А где же тебя сыскать? Где живешь?

— На Стрелецкой живу, на самом берегу, у Параскевы-Пятницы. Агафью Дулову спросите, всякий укажет.

— Пришлю сказать, пришлю, а то и сам приду, коль не прогонишь! — в том же тоне продолжал Лихарев.

— Зачем прогонять, хорошему гостю всегда рады! — опять без улыбки, сухо и строго, как бы ре-

шительно пресекая все попытки Лихарева к сближению, — проговорила Гаша.

Она ушла и оставила за собой как бы дуновение чего-то сладостного, влекущего.

В глубокой задумчивости сел Лихарев верхом на стул, задымил трубкой, пытался разобраться в каких-то новых, неясных чувствах, незаметно завладевших им.

Ему стало почему-то очень грустно и одиноко, как будто он только что потерял нечто очень пленительное и милое, ему, до сей поры, неведомое.

Он должен был ехать на обед к предводителю. Предстояло сидеть рядом с Лизочкой, говорить ей привычные любезности, слышать ее смех и, может быть, даже полуобъясниться с ней у фортепиано, в полутемной гостиной.

Всё это, такое приятное и занимательное раньше, теперь почему-то, потеряло свою приятность и занимательность, сделалось вдруг ненужным и докучным.

...Время не изменило этих странных, новых настроений: Лихарев не только не забывал Гаши, но, напротив, чем дальше шли дни, тем неудержимей его тянуло к ней.

Он, — чего с ним никогда не случалось раньше, — стал испытывать смутное недовольство своей жизнью, стал ощущать какую-то томительную скуку, какое-то подобие тоски.

Авдотья Петровна — была забыта. В доме предводителя Лихарев почти перестал бывать; Лизочка удивлялась, обижалась, плакала по ночам.

Он стал много пить; часто отправлялся в подгородний трактир, где день и ночь шла гульба, стоял гомон, где звеня монистами, дрожа и поводя плечами, носились цыганки, звенели гитары и, в бешенном, крутящемся вихре, неслись цветные рубахи, яркие, шуршащие шелком, юбки, цветные шали.

С задорной удалью, со свистом, гиканьем, визгом, неслась удалая песня: "Шары, бары, растабары; белы снеги выпадали, серы зайцы выбегали, охотники выезжали, красну девку испугали...".

И когда, ускоряя лад песни до последнего предела и частоты, хор разрешался быстрым, как дробь, припевом: "...ты, девица, стой, стой, красавица, с нами песни пой, пой!" — Лихарев, в каком-то веселом отчаянии, пускался в пляс.

"А что, если махнуть сейчас к Агафье?" — иногда, в пьяном чаду, возвращаясь с гульбы, думал он. "Что будет тогда? Как примет?"

Однако, не ехал: какая-то странная, ему несвойственная, робость, каждый раз, овладевала им.

Два раза подсылал он к Гаше Матвеевну. Та улещала, уговаривала, сулила золотые горы. Гаша была непреклонна.

4.

Наконец, Лихарев решил самолично отправиться к Гаше.

Был яркий, чуть морозный день; на солнечной стороне сильно таяло; деревянные мостки курились,

звонко капала капель.

Не без волнения постучал он в дверь Гашиного домика.

Она точно ждала его: его приходу совсем не удивилась.

— А я думаю, чего это кошка моется, а она, вишь, гостя зазывала!.. В избу милости прошу... Заходите!..

Говорила она приветливо, даже ласково, улыбалась; от ее прежней суровости, как будто бы, не осталось и следа. Лихарев подбодрился: "Верно, девка просто ломалась" — утешал он себя.

В избе было светло, чисто, опрятно. Пахли сыростью, тщательно скобленные, только что вымытые, полы; мерно тикал маятник; в горящей печке что-то бурлило и шипело. Пахло чем-то вкусным.

Гаша стряпала, что-то резала большим, длинным, хорошо отточенным ножом. Отложив его в сторону и вытирая руки, она говорила:

— Потчевать-то чем прикажете, сударь? Что нибудь моей стряпни, может быть, отведаете?

"Какие красивые, ловкие, проворные руки; да и вся она ладная, подбористая, гибкая точно лоза, точно змея" — любовался Лихарев Гашей и тем, как она легко, проворно двигалась в тесноте своей кухни.

Глядя ей вслед, Лихарев почти не слушал того, что она говорила. Замолкла и она, вопросительно поглядывая на него.

— Гаша! — тихо позвал он ее. Она оглянулась, улыбаясь.

Неловко, спеша и волнуясь, Лихарев потянул из

кармана своих шаровар кошелек. Положил его на стул, испытующе глядя в лицо Гаше.

Улыбка ее мигом погасла, глаза потемнели, сверкнули гневом.

— Спрячь, барин! Золотом любви не купишь!

— Ну, а что же хочешь? Ничего не пожалею... Говори ж, не томи!..

Скрестив руки на груди и опершись о стенку, стояла не шевелясь Гаша — прямая, гордая. Как будто улыбалась — или это только казалось — какой-то странной, загадочной улыбкой.

Лихарев вскочил, схватил ее за руку.

— Не трожь!.. прошипела сквозь зубы.

Лихарев с силой потянул ее за руку, дернул к себе, обнял, стал жадно ловить своими губами сухие губы Гаши.

Мундирная пуговица зацепила за вырез Гашиной рубахи, потянула ее за собой и, с треском разорвав рукав, обнажила, вдруг, высокую, тугую грудь, круглое, смуглое плечо...

Лихарев обезумел.

Неожиданно, коротким, сильным ударом, она толкнула его в грудь.

Схватила нож со стола...

— Подойди только, убью!.. — прошептала, задыхаясь. Сама бледна, как смерть, ноздри трепещут, губы сжаты в тонкую линию.

Длинное лезвие ножа блестит, змеится в солнечном луче.

Лихарев неловко упал; шпорой зацепил за скамью; она с грохотом повалилась.

Вскочил в ярости.

Смотрит: "Ах, как хороша! Как хороша! Мучительно, до боли! Точно Диана-воительница! Гордая, сильная; какая посадка головы, какая высокая шея, какие пахучие, рассыпавшиеся по плечу, черные, как крыло ворона, волосы!.."

А маятник так же мерно и бесстрастно тикает; так же за окном кудахчет курица, трещат дрова в печи.

Как будто ничего и не было!

— Уходи, барин, от греха! Ничего мне от тебя не надобно!..

Бросила на стол нож, поправилась; подает ему шапку, на него не глядя:

— Уходи, уходи!

Смущенный, пристыженный, презирающий самого себя, уходит Лихарев.

Злоба душит: — Ну, смотри же, пожалеешь еще, да поздно будет!.. Не дождешься его... Не жди, — бормочет он упрямо, зло, бессмысленно.

Но, стыдно, стыдно бесконечно, так, как никогда не бывало.

Гаша смотрит в окно, как идет Лихарев, ловкий, молодец, щеголь, настоящий барин. Идет, не обернется — видно в большом гневе.

Смотрит Гаша вслед, опять улыбается — странно, загадочно.

— Не раз еще придешь! Вовсе ума решился. Придешь, голубчик! А, хорош, хорош!.. Ничего не скажешь!..

...Опять вечер, опять тишина, одиночество. Тре-

щит сверчок, мурлычет на коленях белая кошечка; красный глазок лампадки чуть освещает мирную горенку.

Тоски уже нет. Напротив, неудержимая радость заливает молодое, сильное, жизненно-цепкое, жадное существо Гаши.

Она понимает, что здесь, в этой горенке, сейчас, только что, решилась ее судьба.

Новое, пьянящее, сказочное, входило в ее жизнь.

Только бы не упустить, только бы не просчитаться, не дрогнуть, не ослабеть невзначай!

. . . .

Еще прошло некоторое время. Близилась масленица...

Задерживаться дальше в Костроме становилось немыслимо. К тому же, и предписание вернуться в полк было получено. Одним словом, надо было бросать всё и уезжать...

Но, как же Гаша? Что делать, на что решиться?

За это время, он ни на волос не приблизился к ней: она оставалась все такой же недоступной, неумолимой, ему чуждой, какой была и в первый день их встречи.

Стыдно было признаваться самому себе в том, что он, рубака, кутила, волокита, — стоял на коленях перед Гашей, простой солдаткой, умолял ее, руки целовал!..

Да, да! Целовал руки, унижался. И это он! — такой ходок по этой части, не дававший никому спуска, который —как говорят гусары — бил и сороку и во-

рону, а тут, прямо какая-то чертовщина: и подарки, и то, и сё, ничего не помогает! Завлекся, влюбился, как мальчишка, жить не может без нее...

Что же делать? Неужели жениться? Но это же чудовищно, совершенно немыслимо!

Он так ценит, гордится своим столбовым дворянством — ведь, род его идет от Василия Темного, — кичится тем, что находится в родстве с самыми лучшими дворянскими фамилиями.

И, вдруг, ему, потомку славного и знаменитого рода, жениться на солдатской вдове, на неграмотной мещанке.

А тут еще и Пушешников! Недаром кто-то сказал: "Хорош соболек, да помят!"

Да и при всем том, еще далеко неизвестно, согласится ли Гаша на свадьбу. Ведь, от нее всего можно ждать!

Ну, а если, на самом деле, жениться? Что тогда? Ничего, собственно, и не случится. Поговорят, поговорят, пошумят, пошумят, да и перестанут, привыкнут. Женился же Скарятин на цыганке, женился же Лаптев на своей крепостной! Правда, тогда много о нем злословили, смеялись, не хотели признавать его жену барыней. Ну, а потом, в конце концов, всё позабылось, все попривыкли, и весь уезд бывало пировал у Лаптевых.

Ну, а что же скажет родня, все эти бабушки и тетушки? Пожалуй и наследства лишат!.. А полк, полковые товарищи? Придется, ведь, из полка-то уйти!

Измученный такими мыслями, Лихарев вновь пошел к домику у Параскевы-Пятницы. Все уже знают

об этих посещениях, посмеиваются, судачат...

Знакомая калитка, темные сени, опрятная, тихая горница, и в ней она, его поработившая, замучившая.

На этот раз, она уже не неприступная, строптивая, гордая, точно королева какая-нибудь, а слабая, обиженная, беззащитная женщина.

В темном платье, волосы гладко, гладко причесаны; белеет ровная полоска пробора. Бледна. Зябко кутается в платок, вытирает слезы скомканным платочком.

Она плачет, укоряет его, вспоминает старые обиды, то, как улещал он ее, золотом хотел добыть ее любовь.

Лихарев слёз не переносит, особенно женских. Они его совсем лишают сил, воли, расслабляют.

Нерешительно сел он рядом с ней на смятую кровать. Робко взял ее вялую, бессильную руку. Она не отняла ее.

Тихо сидели, не говоря ни слова.

Сумерки сгущались.

Через окно было видно, как на бледнозеленом небе зажглась первая звезда. Мерцал огонек лампадки. В клетке возился чиж.

И, вдруг, она прильнула к нему, обняла за шею, притянула к себе и прошептала:

— Буду, буду любить! Вот так полюблю, что не знаю, как и описать!..

...Возврата не было. Лихарев уже твердо знал, что он не проживет больше ни одного дня без Гаши.

. . . .

Через два дня, в бедной сельской церкви, без огласки, без шума, почти тайком, — они обвенчались.

В холостой, запущенной усадьбе мелкопоместного Коптева, приятеля и собутыльника Лихарева, страстного охотника, собачника и лошадника, — у него в гостиной седла и арапники, на диванах любимые собаки — пили шампанское, кричали "горько!", а молодые целовались, смотрели в глаза друг другу.

На другой день, к вечеру, дорожная тройка подъехала к заветному домику над Волгой.

На крыльцо, в шубке, в теплом платке, вышла счастливая Гаша. Федька тащил за ней сундучки, узлы.

Она остановилась. Огляделась вокруг без сожаления, с тайным торжеством. Знала, что завистливые глаза смотрят отовсюду: из окон, из-за калиток, поверх досчатых заборов.

Тройка тронулась.

Белая кошечка одиноко мяукала у двери, на которой висел большой замок.

. . . .

В "Лисий Лог", в свою орловскую деревню, Лихаревы ехали долго, не спеша. В городах останавливались в покойных гостиницах; в непогоду застревали в тесных и жарких постоялых дворах и на почтовых станциях, где скоплялись, спешащие в свои полки, офицеры, возвращающиеся в свои дома помещики, духовные, купцы...

Зимняя, пустынная Россия; деревни в сугробах, в дымах; лесная глушь; следы недавних бедствий...

В Москве, под снегом, обгоревшие, продымленные стены, печные трубы, обвалившиеся своды...

Больно смотреть на полуразрушенную Никольскую башню, на Ивана Великого без креста, на всё разорение и запустение древней русской столицы.

Но, уже, настойчиво и трудолюбиво, московские люди копошились в развалинах, что-то убирали, прилаживали, восстанавливали...

Открылись лавки; как встарь, на Тверской, на Кузнецком мосту — хлопотливая, пестрая московская толпа...

В дороге Лихарев отдыхал душой.

Наконец-то его страшное душевное напряжение, так долго владевшее им, кончилось и разрешилось так счастливо, так отрадно.

Он был без ума от жены.

А всё остальное — неважно! Всё утрясется всё наладится, всё пойдет гладко — думал он, прислушиваясь к топоту лошадей, к глухому дребезжанью колокольцев и с нежностью глядя на улыбающееся во сне, лицо Гаши, склонившейся на его плечо.

Оставив жену в деревне, — Лихарев отправился на войну.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1.

Вскоре после возвращения в полк, стоявший в убогих и унылых литовских деревушках, у прусской границы, — Пушешников был вызван к полковому командиру.

Накануне вечером сильно выпили. Разбуженный вестовым, принесшим командирское приказание, — Пушешников с трудом оторвал голову от подушки. На морозе было легче, хотя еще и поташнивало и пошатывало.

"Ну, и хватили вчера!".. Не натворил ли чего? Почему вдруг зовет командир?"

Но, как будто, ничего предосудительного припомнить было нельзя: пили, пели, шумели, играли в карты. В кармане Пушешников нащупал несколько скомканных ассигнаций, да кой-какую мелочь — это было всё, что осталось от третного жалованья.

На душе, как всегда после загула, перешедшего через край, — было гадко. "Бойся чарки, страшись карт: это бичи душевного спокойствия и телесного здравия" — вспоминал он благоразумные слова отцовского письма — "я много через них пострадал и

потерял безвозвратно. Не испытывай этого на себе; да послужу я, отец твой, тебе уроком. Ты— без покровительства; я имел сильных и, через свою неуместную гордость, вспыльчивость и невоздержанность, ничего не выиграл, имевши отличный шанс“.

Он смутно знал, что отец в молодости вел бурную жизнь: кутил, проигрывался в карты, волочился и, даже, как говорили, увез какую-то чужую жену.

Наверно, после, особенно к старости, каялся, сокрушался. Тоже, конечно, будет и со мной, с моим сыном, внуком и так до конца, пока мир стоит.

Не нами заведено и не нами кончится.

И, всё же, сокрушался он, скверно, очень скверно! Денег нет, долги, обносился, оборвался, служба идет слабо.

У командирской избы прогремел барабан. Сменялся караул. Незнакомый прапорщик — верно недавно прибыл! — старательно и образцово сдавал свое дежурство по полку.

Командир полка, молодой полковник, недавно принявший полк и Пушешникову неизвестный, — свежий, хорошо отдохнувший, а потому и благодушный, принял Пушешникова, покуривая свою первую, и самую приятную, утреннюю трубку.

Он со вниманием осмотрел Пушешникова, покосился на его сильно поношенный, но аккуратно вычищенный сюртук, на поблекшие эполеты, латаные сапоги.

— Вам надлежит отправиться в распоряжение генерал-майора Дибича, — сказал он, — имеется предписание из штаба. Узнаете у адъютанта, где сейчас

стоит штаб и, немедля, извольте туда отправиться.

Товарищи поздравляли удивленного Пушешникова. Что и говорить: было гораздо интересней, да и полезней для службы быть на виду у высокого начальства, не стоять в дымных и грязных хатах, а пользоваться всеми удобствами штабной жизни.

Но, вместе с тем, было немного страшновато оторваться от привычной незатейливой армейской жизни и очутиться среди заносчивых штабных офицеров, в обстановке непривычной и стеснительной.

— Ну, а кто собой Дибич? Каков он? — допытывался Пушешников.

— Дибич-то? Храбрый, способный, умелый — далеко пойдет. Но немец: языком и словом солдата не владеет. С войсками в сношение входит редко.

Пушешников ничего этого не знает, вообще в местных делах разбирается слабо.

Слыхал, правда, о каком-то корпусе генерала фон Иорка, что двигается из Курляндии. Корпус этот —как говорят — входил в армию маршала Макдональда, который осаждал Ригу и успел ускользнуть от русских. Теперь дорогу Иорку преграждает отряд генерала Дибича. Будет ли столкновение? Что предпримут наши начальники? Как поведет себя генерал Иорк, этот суровый служака, еще фридриховской выучки?

Говорили и о том, что наши войска вконец изнурены, раздеты, разуты, обтрепаны — по виду не лучше бежавших французов. Но, ведь, дисциплина, порядок, боевой дух — всё те же. Коль будет надо, су-

меют сразиться и с пруссаками, пусть те почти не затронуты войной — одеты, обуты, сыты, прекрасно снаряжены.

Только что прибывшему из России, Пушешникову, не всё в этих разговорах понятно.

Кто такой Макдональд? Что он делал в России? Откуда взялся какой-то Прусский корпус? Да и сама карта военных действий рисуется крайне туманно: как выглядит Курляндия? Где Митава, Рига? — "Плоховато учили нас географии!" — сокрушается он.

... Смущаясь перед холодно-вежливыми штабными, преодолевая свою природную застенчивость, — Пушешников явился по начальству в штаб генерала барона Ивана Ивановича Дибича.

Небольшой помещичий дом с белыми колоннами в глубине старого парка. У крыльца казаки, солдаты, повозки, разбросанное сено, дымящийся на солнце конский навоз; по крутым ступенькам брякают сабли, гремят палаши. Солдаты, весело смеясь, отгребают деревянными лопатами напавший за ночь снег.

Ослепительно сияет солнце, снег искрится, небо глубокое, густо синее.

Пушешников вызван к командующему.

Золоченые кресла, портреты пышных дам в тугих локонах, статских и военных господ в пудре; звенящая хрусталем люстра, весело пылающий камин, на нем бронзовые часы с амуром.

За письменным столом красного дерева с бронзовыми веночками, — молодой генерал в длинном

зеленом сюртуке с алым воротником и отворотами, с белым крестом на толстой шее. Он очень некрасив: лицо красное, грубое, как у бульдога, большая голова.

Пушешников несколько удивлен: ему еще ни разу не приходилось встречать такого генерала.

Все генералы, которых он до сей поры видел, бывали одеты строго по форме, без малейших от нее отступлений, всегда очень тщательно и даже щеголевато. Так повелось еще с гатчинских времен, со времен покойного императора Павла Петровича, который совершенно не терпел никакого небрежения к одежде, никакого вольного к ней отношения. Каждая пуговица, каждый крючек, выпушка, петлица, по гатчинским правилам, усвоенным и государем Александром Павловичем, — должны быть на месте, должны соответствовать установленным на сей предмет правилам.

Между тем, в обличье Дибича ничего этого нет. Одет он кое-как, небрежно, даже неряшливо: белый жилет не свеж, в чернильных пятнах, пуговицы не везде застегнуты, черный форменный галстух завязан косо, рыжие волосы не приглажены, небрежно всклокочены.

Он испытующе смотрит на Пушешникова. Тот, явившись безукоризненно, стоит статный, смотрит бодро, весело.

— Вы родственник генерала Паисия Сергеевича Кайсарова? — спрашивает Дибич.

— Никик нет, ваше превосходительство, не родственник и никогда не имел чести его знать и встречать.

— Однако, он рекомендует мне вас, как исправного и примерного офицера.

Пушешников молчит, краснеет. В комнате тишина, четко стучит маятник, потрескивают дрова в камине.

По своей природе, Дибич — человек в общем неплохой. В нем немалая доля немецкого, бюргерского добродушия. Без нужды он не любит обижать людей. Наоборот, он считает, что приятней, да и полезнее, делать добро, если оно, конечно, не причиняет ему вреда и не мешает делать карьеру. А карьера его — можно гордиться! — блестящая: Аустерлиц — золотая шпага; Гейльсберг — чин полковника в двадцать два года и георгиевский крест; за сражение у Полоцка — Георгий на шею и, помимо всего этого, всё растущее благоволение Государя.

Очень многие не только завидовали этому благоволению, но и удивлялись ему. В самом деле, трудно было понять расположение просвещенного, изысканного и изящного человека, каким был император Александр Павлович, к этому, в сущности, невежественному, грубому и неотесанному солдату, каким, по мнению многих, был Дибич. У них, ведь, не было ни одной общей черты.

Впрочем, было замечено, что государь, вообще, почему-то отличает таких, как Дибич, служак, не рассуждающих, послушных и преданных ему беспредельно.

А, Дибич сумел вполне показать себя таким.

Досталось ему это нелегко. Приходилось без покровителей, без связей, без денег, пробивать себе до-

рогу, соревноваться с сильными, с знатными, с богатыми. И, вот, своим прусским упорством и, конечно, своей храбростью, своими способностями, в которых он был безусловно уверен и которыми внутренне очень гордился — он достиг этих, очень больших высот.

Пушешников нравится ему своей молодостью, своей свежестью и тем, что он еще не разучился краснеть: "Точно так и я краснел, когда шестнадцати лет отроду являлся в Семеновский полк."

"Почему, собственно, не помочь мне этому симпатичному молодому человеку? — размышляет он. Кайсаров о нем просит, а он человек полезный, близкий к главнокомандующему. Опять-таки, и в штабе русских мало."

— А как обстоит у вас дело с немецким языком? Знаете ли вы его? Говорите ли?

— С детских лет говорю по-немецки, ваше превосходительство!

Лицо генерала проясняется.

— Ну, это сильно упрощает дело!.. — переходит на немецкий язык Дибич. — Останетесь при моем штабе... Явитесь к подполковнику фон Клаузевицу — будете ему в помощь. Ведь он пока не научился говорить по русски.

— Погодите-ка! — останавливает он Пушешникова — вам следует приодеться. Получите у казначея нужную сумму по этой записке!

— Скажи, братец, а где стоит полковник Клаузевиц? — спрашивает Пушешников чубатого казака ординарца.

— А, вот, идите, ваше благородие, по этой тропочке — прямо упретесь в его хатку!..

Хатка — это маленький флигель в самой глубине сада, потонувший в сугробах.

В саду тишина, следы зайцев на снегу. Скрипит снег под ногами; в ветвях старых лип возятся галки. Всё точно так, как в белёвском уезде!

Флигель жарко натоплен. Окна затянуты морозным узором.

Без сюртука, в одной рубашке — черный военный галстук, гарусные подтяжки — за столиком что-то пишет в большой и толстой тетради рослый черноволосый офицер.

Это подполковник Карл фон Клаузевиц — человек, как уже слышал Пушешников, умный, ученый, лично известный Государю и им ценимый.

Он в самом начале кампании перешел из прусской армии на русскую службу. Золотая шпага за Бородино висит на спинке кровати.

Пушешников является по форме, докладывает, что послан в распоряжение подполковника для разного рода занятий.

Клаузевиц не спеша посыпает песком только что написанные строки, складывает тетрадь, прячет ее в портфель.

— Очень, очень рад! — говорит он ласково, протягивая руку Пушешникову.

Добрые, несколько мечтательные глаза, очень приятная улыбка, лицо красивое, открытое, лоб высокий, волосы, по моде, взбиты пышно вверх.

— О, вы будете мне очень полезны!.. Ведь, нас

ожидают большие дела. А я по-русски так-таки не научился. Можете представить: иногда даже приходится выдавать себя за глухонемого... Немедля, располагайтесь здесь. Тут есть еще одна коморка; неудобно, тесно — конечно, но на войне, как на войне. А и мне и вам будет удобно!..

Вечером Пушешников уже сидел в комнате Клаузевица, с увлечением слушая его.

Из всего удивительного, что произошло с ним за последние дни, самым удивительным оказался этот милый немец, вовсе не похожий на тех требовательных, сухих начальников, которые, как предполагал он, заполняют штабы и канцелярии.

Двенадцатилетним штандарт-юнкером, Карл фон Клаузевиц, в боях с французами, не раз носил впереди своей роты, шитое золотом, тяжелое, украшенное хищным прусским орлом, знамя. Гремели пушки, свистели пули, лилась кровь... Полудетское сердце сжималось от страха, но штандарт-юнкер выдержал, не дрогнул.

Отрочества и юности, собственно, и не было: жестокая фридриховская муштра, прусская казарма, где с помощью палок внедрялась дисциплина в тот сброд наемных солдат, который вербовался опытными капралами во всех немецких кабаках.

И все же, несмотря на свое жестокое воспитание и несмотря на свою военную судьбу, Клаузевиц, по своей природе, оставался не столько военным, сколько философом, ученым и, даже, в известной степени, и поэтом.

В глухих армейских гарнизонах, в скромной лейтенантской горнице, где главными украшениями бывали: висящие на крючке треуголка, офицерские шпага и шарф, да напудренный парик, посаженный на болванку, — он учил математику и латынь.

С упорством и наслаждением, преодолевал он, трудно, особенно в первое время, понимаемые, сочинения по философии, по логике, по военному искусству, по истории.

Вместе с тем, он оставался добрым малым, готовым распить бутылку вина с полковыми товарищами, потолковать с ними о производстве и о женщинах, а, при случае, и ловко протанцевать с какой-нибудь красоткой.

Когда король Фридрих-Вильгельм III заключил союзный договор с Наполеоном, Клаузевиц, в горе и отчаянии, подал в отставку и перешел на русскую службу.

После двадцатилетней службы в прусской армии — это было очень нелегко, рискованно и невыгодно в служебном смысле.

Он восторженно хотел служить своему отечеству, бороться с его поработителем, а, кроме того, в русских рядах, в этой большой, небывалой по своему напряжению и по своему размаху, войне, — он получал счастливую возможность окончательно отточить, проверить, исправить свои мысли и выводы о войне, которые доставляли ему неописуемое умственное наслаждение.

Русских он любил, воздавал честь храбрости их войск, высоко ценил военные дарования Кутузова.

И русские его тоже любили. В штабе Дибича к нему относились ласково: за глаза называли Карлушей, чуть посмеивались над его нежной и чувствительной любовью к жене, Мари, на которой он женился только тогда, когда был произведен в майоры и майорское жалованье позволило ему содержать жену.

2.

В штабе для Пушешникова многое прояснилось.

Из объяснений Клаузевица и из общих разговоров, он узнал, что именно отряд Дибича должен отрезать генералу фон Иорку дорогу домой.

Узнал он и то, что из Петербурга были получены указания не считать пруссаков врагами, а постараться возобновить старую дружбу, склонив Иорка на заключение соглашения о перемирии.

...Вечер рождественского сочельника. На ясном, морозном небе горят пылающие созвездия.

По старой, еще детской привычке, Пушешников старается найти в этом небесном океане — вифлиемскую звезду.

Мысль уходит в далекую тульскую усадьбу, где, конечно, "после звезды" был постный обед, ели кутью и узвар, где перед всеми образами горят лампады, где всё блестит праздничной чистотой, всё дышит тишиной и тайной святого вечера.

Наверно, мать и сестры уже в церкви. Там морозно; остужены промерзшие стены; в туманной дымке морозного пара, расплывчатым сиянием, горит море свечей. Дворовые, мужики, бабы, дети — истово молятся. Звучит надтреснутый тенорок сухонького, старого отца Симеона, крестившего и его, Ванечку Пушешникова.

И мать и сестры, конечно, вспоминают его, особенно тогда, когда, прослезившись, узнают вновь о том, что "Ангелы с пастырями славословят", а "волхвы со звездою путешествуют".

И в Костроме, верно, тоже всё праздничное. Гаша, тихая, задумчивая, верно, идет в церковь. Может быть думает о нем?

А, между тем, он сам, в это самое время, в ночной мгле, по пустынной и снежной равнине, замкнутой темной кромкой леса, по сугробам, завязая в них, — едет в группе всадников, не зная куда и зачем.

Впереди на вороном коне, увесистый Дибич; видны его широкая спина, короткая шея.

С ним рядом подполковник фон Клаузевиц, еще один офицер, тоже немец, кажется граф Фридрих Дона, и он, Пушешников, единственный русский, если не считать несколько казаков конвоя.

"Пожалуй, Ермолов был прав, просясь в немцы", — думает Пушешников, вспоминая постоянные разговоры в армии по этому поводу.

Едут молча, в тишине, как заговорщики. Иногда только, два-три немецких слова. В морозной дымке живописно рисуются треуголки с плюмажами, длин-

ные плащи с пелеринками и высокими воротниками, шпаги.

Дышащий морозным паром, старательно закутанный, идет впереди проводник, постукивая палкой по мерзлой тропе.

На перекрестке дорог, у лесной опушки, — невзрачное строение — не то корчма, не то сторожка лесника. Запахло жильем, дымом, навозом. У крыльца лошади, солдаты в чужой форме. Говорят вполголоса, по-немецки.

Шаткие ступени, темные сени, тяжелый дух.

В закопченной, темной избе, освещенной мигающим фонарем, да отсветом от горящей печи, — на скамье, сурово и неприветливо, ждет гонерал Ганс фон Иорк.

Бритое, мясистое лицо, глаза жесткие, суровые, подозрительные; он уже в летах, — лет пятидесяти; седина уже тронула виски.

С ним приземистый, угрюмый начальник штаба полковник Редер и белокурый, тонкий, с ледяными глазами, адъютант — майор фон Зейдлиц.

Все подтянуты, замкнуты, неприступны.

"Почему я здесь? Что за странность!.." — недоумевает Пушешников. Ему поручено записать грядущие разговоры. "Сумею ли? — волнуется он. "Что делать? Как себя вести?"

Он отодвигается в дальний угол, пока генералы обмениваются приветствиями, присматриваются друг к другу, прежде чем начать разговор столько же деликатный, сколько и ответственный.

Начинает Дибич.

Он генерал, кавалер ордена Св. Георгия двух степеней, отличился в последней кампании, близок к Государю, знает себе цену. И, несмотря на это, он в душе чувствует какую-то странную робость, какое-то особое почтение к мрачному и неприступному генералу фон Иорку, как бы представляющему собой ту самую Пруссию, которую Дибич, несмотря на свой русский патриотизм, в глубине души продолжает считать превосходящей все другие европейские нации.

Он вспоминает свое детство в Пруссии, кадетский корпус в Потсдаме, строгих и неумолимых корпусных начальников. И, вот, временами, ему кажется теперь, что перед ним как раз и находится один из таких начальников, с коим он должен вести трудное объяснение.

Сознает он и то, что от того, как поведет себя этот твердокаменный пруссак, этот прусский юнкер, нерассуждающий, благоговеющий перед королем, — а король приказывает ему оставаться на стороне французов — зависит вся его дальнейшая служебная карьера, благоволение Государя, почести, чины, ордена, т. е. все то, что, в сущности, составляет смысл его жизни.

— Ваше превосходительство! — начинает он, заботливо подавляя искательные ноты, готовые прорваться. — Дух времени ныне породил совсем новое стечение обстоятельств. Русская, победоносная армия — достигла своих целей: войска Бонапарта уничтожены совершенно. Но государь император не намерен вести военных действий против Пруссии. На-

против, Его Величество желает заключить союз с прусским королем. Он полагает, что сей союз может приобрести значение исключительное.

Дибич начинает волноваться. Поднявшись, он прошелся по избе, задевая своей шпагой скамьи. Заговорил горячей, в его голосе стали прорываться крикливые нотки.

— На весах истории — судьба не только Пруссии, но и всей Европы. От вашего решения, генерал, зависит судьба народов!

Дибич, взволнованный, остановился, глядя в упор на безмолвного Иорка.

Тот в душе презирал всех пруссаков, перешедших на службу к русским. Последних же он, конечно, презирал еще больше. Презирал он и Дибича, после кадетского корпуса ушедшего на русскую службу и представляющего себя страстным русским патриотом.

Кроме того, раздражал его Дибич и сам по себе: его манера говорить, суетливость, крикливость. Были неприятны ему и нескладная, приземистая, короткая фигура Дибича, а главное его неряшливость в одежде: незастегнутая пуговица мундира, криво повязанный галстук, несвежесть орденских ленточек.

Все это было противно прусской природе Иорка, противно всему тому, к чему он привык с самых давних времен. Ведь за незастегнутую пуговицу, в его время, капралы били виновного палками и выдерживали в карцере на хлебе и воде.

Не перебивая Дибича, Иорк сидел молча, опустив голову, внимательно его слушая.

Зыбкое пламя горящей печи играло колеблющимися бликами на алых отворотах и на кованном золоте воротника и обшлагов его синего мундира. Обе руки в перчатках покоились на эфесе тяжелого палаша.

Наконец он прервал свое молчание.

— Ваши войска очень малочисленны, изнурены и слабы, — сказал он. — Они не смогут задержать нас, — мы пройдем! Без приказа короля я не могу заключить перемирия: я солдат, я верен своему Государю — ему я должен повиноваться, — закончил он желчно, бросив косой и недоброжелательный взгляд в сторону Клаузевица, русский мундир которого возбуждал в нем злость. Да и вообще, Клаузевица он не жаловал, считая его вольнодумцем, мечтающим о каких-то реформах в армии, противоречащих — как казалось Иорку — самому прусскому духу.

"Придется, пожалуй, еще говорить и с этим господином — с раздражением подумал он. — А, между тем, против него ведется сейчас процесс в Берлине. И, вместе с тем, надо на что-то решатся: либо воевать вместе с угнетателем Пруссии, либо действовать вопреки воле короля".

— Не скрою этого: мы, на самом деле, слабы. Наши войска прошли тяжелый боевой путь, перенесли невиданные испытания... Может быть, мы не сможем предотвратить прорыва вашего корпуса. Но, все же, мы сумеем нанести вам тяжелые потери. Может быть, мы захватим ваши обозы и даже артиллерию, — возразил запальчиво Дибич, в голосе его

вновь зазвучали крикливые нотки.

"Молодец Дибич, — думал Пушешников. — Так им и надо, этим заносчивым, надменным пруссакам!"

Разговор явно стал принимать нежелательное направление.

Иорк в тяжелом раздумьи, молчал, неподвижно глядя в одну точку. Молчали и все остальные.

Слышно было, как в углу скреблась мышь, как по потолку шуршали тараканы.

С молчаливого согласия Дибича, Клаузевиц прервал молчание.

— Ваше превосходительство, — заговорил он в высшей степени почтительно. — Ваше войско было забыто и заброшено французами: они поспешили уйти, оставив вас на произвол судьбы. Только благодаря твердости и мужеству, вам свойственным — позвольте мне сказать это без всякой лести — ваш корпус, через леса и снега Курляндии, пришел сюда в полном порядке. Вы выполнили свой долг, вы сохранили свои войска. Теперь наступил час, когда судьбой вам суждено выполнить еще более тяжкий и ответственный долг перед отечеством.

Иорк слушал внимательно, исподлобья поглядывая на Клаузевица. Хотя он его и не любил, но считал умным и рассудительным человеком. Вспомнил, что по его совету император Александр оставил Дрисский лагерь и, может быть, тем самым избежал разгрома.

— Теперь — в приподнятом тоне, с некоторой торжественностью, продолжал Клаузевиц, — когда цепи насилия разбиты, когда дрогнула рука Напо-

леона, сжимающая Пруссию — вам надлежит принять решение, диктуемое высшим долгом солдата и патриота. Было бы двойным позором, если бы Пруссия опять пошла под ярмо погонщика. В ваших руках честь и судьба Пруссии. Как патриот, как пруссак — голос Клаузевица дрогнул — умоляю вас, порвите с французами!..

"Все это хорошо и справедливо, — размышлял Иорк, слушая горячее слово Клаузевица. Оно произвело на него действие — но надо помнить слова короля: "Наполеон великий гений. Не натягивайте веревку!.." Король боязлив, осторожен, перенес многое... Ложный шаг может стоить мне очень дорого".

Он поднялся.

— В вашем предложении, — обратился он к Дибичу, — нет ничего, затрагивающего чести прусского оружия. Я должен обдумать ваши предложения. Сейчас я не в силах дать прямой ответ... Может быть, ваше превосходительство, вы найдете возможным для дальнейших переговоров по этому вопросу назначить кого-либо из офицеров вашего штаба, лучше всего ранее служившего в прусской армии?

— Если пожелаете, я назначу для этого подполковника Клаузевица.

— Пожалуйста! Я, как раз, думал о нем!

Клаузевиц вспыхнул от удовольствия: он был крайне польщен.

Было уже близко к полуночи, когда Дибич со свитой возвращался домой.

Вдалеке, в морозной мгле, чуть искрились ог-

ни далекого Мемеля. Звезды сияли.

Пушешников вновь вспомнил о том, что сейчас рождественская ночь и что молчащие снежные поля, расстилающиеся на многие версты, как будто бы прислушиваются к чему-то великому и значительному, что совершается теперь на земле. "Земля таинственно молчит, — растроганно думал он. И только люди продолжают свою полную тщеславия, суеты, вражды — неспокойную жизнь".

. . . .

За полночь Пушешников был зван к Клаузевицу. В халате и ночном колпаке, тот, по своему обыкновению, сидел за своим сочинение о войне.

По всему было видно, что он сильно взволнован; данное ему поручение величайшей важности лишило его покоя: даже любимое его сочинение, за которое он принялся, чтобы притти в равновесие, — его не могло успокоить.

— Ну, вот, молодой человек, — сказал он Пушешникову — вы были свидетелем исторического свидания. Запомните его! Оно стоит этого.

— Если генерал Иорк, — продолжал он, как бы рассуждая сам с собой, — не примет определенного решения, то в дальнейшем для этого будет слишком поздно... Если же он поставит свою подпись, то она будет подобна искре, попавшей в пороховой погреб: поднимется Пруссия, восстанет вся Европа и, в союзе с русскими, уничтожит Бонапарта... То, что поручено нам и чего мы должны добиться, — имеет исключительную важность!..

Для Пушешникова стало все понятно: вот в чем, оказывается, был смысл тех разговоров, которые велись сегодня вечером в неприглядной корчме.

"Что бы сказали в Белёве, — думал он, — если бы узнали, что Ваня Пушешников, этот дворянский недоросль, гонявший голубей, бегавший за девками и болтавшийся с собакой по полям и лесам, — оказался вдруг причастным к событиям исключительной важности".

Этим, как для него стало ясным, был он обязан Жуковскому, не забывшему его и написавшему письмо адъютанту светлейшего, Кайсарову, аттестовавшего его, Пушешникова, с самой лучшей стороны.

— Будьте готовы, — продолжал Клаузевиц, — что вам, верно, придется еще не раз ездить со мною в квартиру генерала Иорка. А пока о сегодняшнем разговоре никому ни слова!..

3.

После встречи с Дибичем, генерал Иорк отправил в Берлин, к королю, своего адъютанта фон Зейдлица за инструкциями. Зейдлиц, ни на минуту нигде не задерживаясь, успел обернуться за три дня и, утром 29 декабря, вернулся в штаб Иорка.

Привезенные им королевские инструкции были неутешительны: Фридрих-Вильгельм отклонил русские предложения.

Иорк. мрачный и раздраженный, заперся в своей комнате, никого не принимая.

Впервые в своей жизни он стал перед вопросом почти неразрешимым. Конечно, можно было, ссылаясь на свой солдатский долг и на требования дисциплины, не рассуждая выполнять королевское приказание. Но он хорошо понимал, что только неповиновением королю он может спасти и короля и отечество.

Дибич сильно беспокоился, не получая никакого ответа от Иорка, тем более, что тот продолжал продвигаться и привел свой корпус к Таурогену, где и расположил его большим лагерем под открытым небом.

Дальше ждать было невозможно. Дибич вызвал Клаузевица и поручил ему, немедленно отправившись в квартиру Иорка, добиться от него определенного ответа.

После полудня, Клаузевиц туда отправился.

Весь штаб, затаив дыхание, ждал его возвращения. Волновался и Пушешников.

Только поздно вечером, к господскому дому, верхом на усталой лошади, подъехал Клаузевиц и, торопясь поднялся по ступеням крыльца для доклада Дибичу.

После долгого и нетерпеливого ожидания, Пушешников увидел возвращающегося домой, веселого, возбужденного и удовлетворенного Клаузевица.

— Ну, молодой человек, — весело сказал он Пушешникову, — завтра мы, наконец, будем свидетелями весьма важного события!.. Я, в конце концов,

все-таки уломал упрямого Иорка!..

— Как же это произошло? Скажите пожалуйста, не томите!

— О! Это было совсем нелегко. Когда я явился к нему, уже смеркалось. Старик сидел у себя в комнате, не зажигая огня, и тянул свое пиво.

Увидев меня, он пришел в ярость 'Отстаньте от меня, — закричал он, — я не хочу иметь больше с вами дела... Ваши проклятые казаки пропустили курьера Макдональда, который доставил мне приказ немедленно двинуться на Пиктуненен для соединения с ним. Конец колебаниям! Я решительно отказываюсь от всяких переговоров; я вас не боюсь — ваши войска слабы и я пройду!..

— Но как же вам удалось добиться своего, после такого приема? — спросил Пушешников, всячески торопя Клаузевица, который любил рассказывать все подробно и обстоятельно.

— Я молчал пока генерал бушевал. Потом я сказал ему о приближении главных сил Витгенштейна, которые могут отрезать ему путь к Кенигсбергу. Старик приутих, задумался, но все еще оставался неумолимым. — Ваше превосходительство, сказал я ему, я надеюсь, что вы выслушаете меня и не заставите меня уехать, не выполнив данного мне поручения. Прикажите принести свечи, я позволю себе прочесть вам некоторые письма.

Старик что-то проворчал, но велел зажечь свечи и позвал полковника Редера.

Приблизившись к решительной части своего повествования, Клаузевиц взволновался. Пройдясь

несколько раз по комнате, он остановился прямо перед Пушешниковым и молча стоял несколько мгновений, как бы переживая вновь всё, недавно им испытанное.

—Так вот! — поборол он свое волнение. — Я решил открыть свою главную карту. "Вот письмо Макдональда к герцогу Бассано, захваченное нашими казаками. Позвольте мне прочесть вам из него несколько строк". Иорк мрачно кивнул головой, не выпуская из рук кружку пива.

Я прочел: "Корпус хорош, но его портят, дух его удивительно переменился". Тут я остановился и посмотрел на генерала. Вижу, что он опять, но по другой причине, стал приходить в бешенство. Тогда я, упирая на слова и их всячески подчеркивая, прочел дальше: "Однако, с помощью кое-каких милостей и наград я легко наведу порядок, если только указанные мною офицеры — дело идет о вас, ваше превосходительство и о вашем штабе — тут же будут удалены; о них жалеть не станут, ибо две трети войска ненавидят их".

Иорк вскочил; оттолкнул ногой стул; пивная кружка покатилась на пол.

— Клаузевиц, — вдруг сказал он. Голос его дрожал. — Вы пруссак, хоть и носите этот мундир! Скажите мне честно, что должен делать прусский офицер при данной обстановке? Что должны подсказать ему совесть и честь?

— Он должен пожертвовать всем ради отечества! Вам надо порвать с французами! — твердо ответил я.

Он стоял передо мной опустив голову. Мне было жалко его: я видел, как трудно дается ему решение.

Наконец, он протянул мне руку и сказал: "Я — ваш!.. Скажите генералу Дибичу, что я твердо решил отпасть от французов и от их дела. Скажите ему, что завтра утром нам надо встретиться с ним на Пошерунской мельнице... Там мы подпишем соглашение". Тут же он дал соответствующие распоряжения полковнику Редеру.

— Ну, а как принял привезенное вами известие генерал Дибич? — полюбопытствовал Пушешников.

— О! он очень волновался. Он никак не мог меня дождаться, все время подходил к окну. Спрашивал всех: не вернулся ли я. Когда я вошел в его кабинет, он бросился ко мне навстречу: "Что вы привезли?" — крикнул он, не дав мне притти в себя. Я ему сказал, он бросился ко мне на шею в слезах.

Клаузевиц замелчал, преодолевая волнение.

— Не скрою, я сам заплакал, как плачу и сейчас... Плачу от счастья: Пруссия, да и вся Европа, накануне освобождения!.. Хвала России, хвала императору Александру!

Пушешников долго не мог заснуть. Он прислушивался к тому, как в соседней комнате ходил Клаузевиц, как он сел за стол и, верно, стал писать письмо своей Мари.

— Вы не спите? — вдруг из-за двери спросил его Клаузевиц. — Я забыл вам сказать, что завтра рано утром вы тоже поедете на эту мельницу, сопровождать генерала и меня!..

4.

Для встречи с Дибичем, генерал Иорк избрал отдаленную, стоящую в стороне от Таурогена, Пошерунскую мельницу. Ее для него нашел на карте начальник штаба полковник Редер.

Конечно, можно было найти для встречи и другое, более близкое и удобное место. Но понятия того времени требовали, чтобы события такого рода происходили в обстановке, не лишенной черт некоторой поэзии и романтики.

Пошерунская мельница, полуразрушенная, ветхая, с обломанным крылом, стоящая в глухом месте, на холме, к которому вела запущенная проселочная дорога, — как раз отвечала этим требованиям.

Было сырое, туманное и мокрое утро. Влажный морской ветер гнал разорванные тучи, налетая бешенными порывами. Тогда он хлестал в лицо соленой влагой, рвал с голов треуголки, трепал конские хвосты и гривы, откидывал полы плащей и шинелей.

Ровно в восемь часов утра, со своими офицерами, прискакал Дибич. Он недовольно огляделся: пруссаков еще не было — они явно опаздывали. Вместе с Клаузевицем и Дона, Дибич прошел в домик мельника.

Младшие офицеры, и Пушешников с ними, остались во дворе, сгрудившись под навесом, где были сложены мешки с мукой.

Было пронзительно холодно, ветер ревел, пригибая жалкие ветлы чуть не до земли. Появилась фляжка, звякнула чарка, обошедшая всех и всех согревшая и подбодрившая.

Вскоре, на прекрасных, безукоризненно чищенных, выхоленных лошадях, бряцая блестящей сбруей и красуясь нарядными чепраками, украшенными королевскими вензелями, крупной рысью, взметая мокрый снег и водяные брызги, — прискакали пруссаки.

Генерал Иорк, рослый, могучий, в длинном сером плаще и в красной фуражке с большим козырьком, — озабоченно, не глядя по сторонам, бросил поводья ординарцу, и, сопровождаемый Редером и Зейдлицем — скрылся в низких дверях дома мельника.

Прусские кирасирские офицеры спешились, загремели палашами, зазвякали шпорами. Пушешников с большим любопытством и не без зависти любовался этими стройными, ловкими, блестящими кавалеристами. Русские выглядели хуже — не так нарядно, не так ловко и щеголевато.

"Но, — думал Пушешников, — наши мундиры, потертые, закопченные походными кострами, продымленные порохом смоленского, бородинского и других сражений, — конечно, стоят большего и много почетнее, нежели эти, с иголочки, кирасирские колеты пруссаков, еще, как следует, не нюхавших пороха!"

Чужие офицеры представились; заговорили учтиво и дружественно. Разговор зашел, в первую очередь, о том, что происходило за ветхими стенами

этой мельницы: там зарождалась великая война, которая спасет Пруссию, возродит Европу!

"Проснись, народ! Костры уже пылают, свободы луч с востока к нам проник!" — с подъемом прочел молодой, высокий, породистый офицер.

— Это из воззвания к немецкому народу нашего поэта-героя Теодора Кернера, — пояснил он.

"То-то с востока! Что бы вы делали без России?" — подумал не без злорадства Пушешников.

Опять зазвякали чарки. Припомнили, что через день русский новый год. Следовало бы отпраздновать его и возобновленную русско-прусскую дружбу где-нибудь в Мемеле, Тильзите, а всего лучше, в Кенигсберге, — город большой, богатый, есть где кутнуть.

...Текст конвенции был заготовлен заранее в копиях для каждой стороны. Клаузевиц торжественно прочел ее короткое содержание.

Под распятием, за деревянным, простым, скобленным столом сидели оба генерала.

"Вот и выполнена воля Государя, — размышлял со скрытой радостью, Дибич. — Весьма успешно — даже не ожидал и не надеялся! Наверно будет и награда. Какая? А Клаузевиц показал себя с самой лучшей стороны — достоин всяческой похвалы!"

Дибич мысленно представил благосклонную, чарующую улыбку Государя, голубые глаза, ямки на щеках и на подбородке. "Теперь, — думал он, — благоволение его ко мне укрепится; близость станет тесней. Нетрудно представить себе, как будут завидовать Толь, Мишо и другие. Вот вам и неряшливый,

суетливый путаник Дибич, как они меня аттестуют!"

— Ну, что же? — решительно сказал Иорк, — что сделано, то сделано!.. С Богом!

Зейдлиц подал ему походную чернильницу, белое гусиное перо, гербовую печать. Запахло горящим сургучем. Иорк размашисто подписал бумагу, поставил свою именную печать. То же сделал Дибич. Потом генералы обменялись документами, опять сделали свои подписи, опять на горячем сургуче оттиснули свои печати.

Соглашение состоялось: конвенция, предусматривающая сохранение прусскими войсками нейтралитета в войне России с Францией, — была подписана.

"Теперь дело за королем, — думал Иорк. — Будем ждать, что он скажет и прикажет. А, ведь, он робок, нерешителен, напуган, окружен льстецами, искателями, эгоистами. Но, что будет, то будет! Посмотрим!"

Генералы подали друг другу руки, обнялись, вышли вместе во двор мельницы. Ветер утих, сквозь дымные тучи пробилось солнце — стало светло и радостно.

Офицеры почтительно придвинулись к генералам.

— Перемирие подписано! Мы больше не воюем с русскими! — объявил фон Иорк. — Да здравствует король, да здравствует император Александр!

— Ну, а что говорят ваши полки? — спросил он офицеров.

— Они верят вам, ваше превосходительство, и

будут в восторге от вашего решения, — ответил старший из офицеров.

— Вам, молодым, хорошо говорить, — с добродушной ворчливостью возразил Иорк, — а у меня, старика, голова кругом идет... Да уцелеет ли она, неизвестно!

"Это верно! Уцелеет ли?" — подумал не один Пушешников.

. . . .

После таурогенской конвенции русские отряды заняли Тильзит и Мемель.

Вместе с войсками, Пушешников пересек границу и со штабом Дибича въехал в Мемель.

Все здесь показалось ему иным, нежели на нашей, русской стороне.

Темной полосой стелется дымчатое, свинцовое и холодное море; оно тяжело вздымается и падает шипящими волнами, раскачивая разбивает о берега пристани плавающие зеленоватые льдины.

В городе скучные, серые, без всяких украшений, лютеранские кирки; крутые, красной черепицы, крыши грузных, старинных домов; готические башни, сводчатые арки, переходы.

Самый воздух, солнце, небо, как будто, не такие, как у нас.

Совсем другие и люди: по-иному одеты и держат себя по-иному, даже, как бы, свысока, точно чувствуют свое превосходство.

А в чем, собственно, может заключаться это превосходство? Не в том ли, что они, эти тяжело-

весные немцы, так долго беспрекословно подчинялись французам и перед ними трепетали?

Необыкновенно приятно после неудобств, нечистоты и скудости долгой походной жизни, — сидеть в весьма уютной и весьма опрятной кофейной. Дымится на столике чашка крепко и приятно пахнущего кофе. От жарко натопленной, раскаленной, круглой чугунной печки — излучается нежащее, расслабляющее тепло. Миловидные, золотоволосые девушки, в белых фартучках и наколках, разносят кофе и румяные булочки.

Торопливо отбивает секунды маятник стенных деревянных часов; иногда, вдруг, хлопает дверца, выскакивает и звонко кукует кукушка.

Почтенные бюргеры, в синих и коричневых рединготах, сдвинув на лоб медные очки, прилежно изучают старые номера немецких и французских газет. Новых пока нет: Мемель отрезан от остальной Пруссии, еще находящейся в союзе с Наполеоном.

В газетах устарелые реляции о французских военных успехах, сообщения о действиях и намерениях Наполеона и враждебные, оскорбительные суждения о России и даже о самой особе государя.

Внутренне кипя, Пушешников читает в одной из газет Рейнского Союза: "Кто в состоянии употреблять у себя дома, и в своих войсках, варварские и бесчеловечные наказания, отмененные во всех европейских армиях, но применяемые в армии, себя прославляющего на все лады, "великодушного", "сердобольного" и "справедливого" императора Александра, — тот, натурально, не остановится ни перед ка-

кими насилиями над беззащитными народами, коль убедится, что за его деяния не придется ему держать ответа“.

Пушешников понимает, что враг и не может писать иначе. Но это его злит, портит его приятное, благодушное настроение.

— Это потрудитесь убрать! — говорит он кондитеру, краснея от застенчивости и гнева. Тот извиняется, льстит, оправдывается. Пушешников сердито бросает листок, вызывающе и зло смотрит вокруг, и, хлопнув дверью — резко звякает колокольчик — выходит прочь.

Вечереет.

Заходящее солнце золотит верхушки стрельчатых башен: ”Последний луч зари на башнях угасает“, —вспоминает Пушешников слова Жуковского, вспоминает его самого, встречу с ним в заброшенной церковной сторожке.

Ему делается грустно. Глядя на чужие огни, зажигающиеся в домах этого чужого города, он испытывает острое чувство одиночества, непреодолимое чувство тоски по дому, по родным местам.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

Собственно, кроме ржаных полей, Оки, белёвских церквей, постоялых дворов, да уездной гостиницы, — Пушешников в своей, еще очень юной жизни, ничего почти и не видел.

В Петербурге, — в Дворянском полку, где строй, муштра, неумолимая дисциплина, — он пробыл совсем недолго. Только мимолетно, не прикасаясь вплотную, видел он Неву, дворцы, монумент Петру Великому — все торжественное, величавое, оставившее, хотя и сильное, но какое-то призрачное — как во сне — впечатление.

А дальше, прямо война: тяжелая боевая и походная жизнь, горящие города и села — все страшное, гнетущее.

Поэтому-то, Кенигсберг — древний, своеобразный, вовсе не похожий на виданные русские города, — ему очень понравился.

Он почти не знал общей истории, а историю Пруссии не знал вовсе. Но в этих громоздких зданиях — собор, в котором короновались прусские короли, знаменитый университет, — в крепостных бастионах, в сводчатых залах ратуши, в геральдических фигурах, украшавших городские здания, — он как бы слышал голос седой старины, отзвуки средневеко-

вья, чувствовал дух сурового тевтонского рыцарства.

Нравилась ему очень и та уютная обжитость, то дыхание привычной домовитости, порядка и уюта, которое отличало повседневную жизнь этого города, жившего, несмотря на войну, неторопливо и тихо.

Стояли суровые январские дни. Белыми султанами клубились дымы над крутыми, красной черепицы, крышами. На узких тротуарах, дамы в капорах, с меховыми муфтами, франты в цилиндрах, в шинелях с пелеринами; почтенные бюргеры, в тяжелых шубах и шарфах; звяканье бубенчиков, длинные бичи извозчиков, их шляпы с кокардами, непривычная для русского глаза запряжка парой в дышло.

Зажигаются, в морозные сумерки, вечерние огни в лавках, в кофейнях, в пивных и в трактирах. Звучит рожок желтой почтовой кареты, запряженной четверкой бодрых, сытых лошадок и управляемой сизоносым кучером в треуголке, в заиндевевшем шарфе.

Квартира Пушешникову была отведена в доме фрау Эмилии Миллер.

Она — вдова. Муж ее — обер-лейтенант, убит под Иеной.

Акварельный портрет красивого усача, в веночке из иммортелей, висит в изголовье вдовьей кровати.

Она еще далеко не стара, дородна, пышит здоровьем. Немного восторженна, сентиментальна, но деловита, практична, решительна.

Как вдова прусского офицера, защищавшего Пруссию и павшего за нее на поле брани, фрау Эмилия, по самому своему положению, должна была быть пламенной патриоткой, ненавистницей Наполеона. Она таковой и была.

Поэтому-то она с особой радостью встретила русских, освободивших Кенигсберг от врага. Хотя она и побаивалась сказочных казаков, но когда они, бородатые, обожженные морозами, в странных меховых шапках, с пиками и кривыми саблями — настоящие азиаты, — как вихрь, промчались по главной улице, и, когда на площади, у ратуши, радостные жители стаскивали их с коней, обнимали, лобызали, поили шнапсом и вином, набивали им карманы табаком и снедью, — и она, в восторге, чмокнула в губы какого-то чубатого, белозубого великана.

Однако, узнав, что на постой ей назначен русский офицер, — она сильно огорчилась: одно дело, мимолетно, в порыве радости, выразить свое восхищение победителям, а другое дело долго терпеть в своем доме — где ни пылинки, ни пятнышка, все на своем месте — какого-нибудь полудикого русского, царапающего своими каблуками и шпорами полы, всюду сыпящего пепел из своей отвратительной трубки и горланящего свои дикие песни. Это казалось ужасным.

Но, отлично говорящий по-немецки, с изящными манерами, молодой, статный, белокурый красавец, каким показался ей Пушешников, — вовсе не был похож на дикого азиата: он сразу, бесповоротно очаровал ее.

Она не могла отвести от него своего восторженного взгляда. "Как хорош! — восклицала она про себя. — Наверно, русский боярин или князь", — решила она.

Угощенный крепким шнапсом, денщик Пушешникова, Степка, ничего разъяснить ей не мог: он только широко улыбался, да твердил что-то непонятное, на каком-то странном языке.

Несколько ночей подряд, фрау Эмилия беспокойно ворочалась под своими перинами, вздыхала, даже плакала и, наконец, в одну из ночей, зажгла свечу и, в своей длинной до пят рубашке и в белом чепце, решительно двинулась по темному коридору к комнате постояльца.

С той поры она стала еще более страстной сторонницей русских и убежденной поклонницей всего русского.

Она огорчалась тем, что не Александр — этот сказочно-обаятельный красавец, портрет коего она повесила над фортепиано, а сумрачный, некрасивый и грубоватый Фридрих-Вильгельм — ее король.

"Ах! — вздыхала она, — как должны быть счастливы вы, русские, имея такого прекрасного государя, как император Александр!""

Еще больше огорчало ее то, что король вовсе не спешит расторгнуть свои подвластные отношения с Наполеоном, медлит, колеблется, трусит.

Вот, русские совсем уже не боятся Наполеона, а в Берлине все еще дрожат от его имени.

Пора, пора решиться и заключить союз с русскими!

А эти южные государства на Майне, на Рейне? Как позорно они себя ведут!

Прав, сто раз прав, этот патриот, герой партизан, Дернберг, когда он обещает пустить красного петуха по крышам тех городов, которые будут попрежнему ставить красное вино и телятину превыше интересов отечества!

Однако, далеко не все кенигсбергцы разделяли увлечения фрау Миллер. Первоначальные восторги жителей по поводу изгнания французов постепенно меркли. Кряхтя и покачивая головами, горожане стали примечать, что казачьи лошади привязываются к фруктовым деревьям, портят их, что солдаты разводят костры на дворах и площадях — того гляди вспыхнут пожары!

Стали подсчитывать протори и убытки, подумывать о том, как бы получить малую толику от комиссии, занимающейся рассмотрением претензий о понесенном, от военных действий, ущербе.

— Не могли ли бы вы, фрау Миллер, — просил сосед, торговец кожами, Стефен Фрикер — подтвердить, что русские сломали мне пол в конюшне и испортили настилку в сарае, а солдаты употребили на топливо забор в саду?

— Ах, не говорите так, господин Фрикер! — Это неправда! — вспыхивала Эмилия. — Забор сожгли не русские, а еще в прошлом году баварцы, которые устроили там бивак. В конюшне у вас стояла тогда французская кавалерия... Перекладывать старые убытки на русских — неправедливо! Русские ведут себя безукоризненно!

Фрикер бормочет что-то неодобрительное и уходит кровно обиженный.

...В атмосфере поклонения и обожания Пушешникову живется прекрасно.

Еще чуть-чуть начинает брезжить тугой рассвет и красная полоска утренней студеной зари едва занимается над замерзшим Прегелем, — ему, в безукоризненно чистой кухне, где, как солнца, сверкают медные кастрюли, — готовится завтрак. Сама фрау Эмилия, в утреннем шлафроке и чепце, варит кофе. Крепкий и приятный запах его струится в комнатах.

— Господин Пу-пу-шш... дальше фрау Миллер выговорить не может, — не должен быть ни на минуту задержан и никогда не опоздает на службу.

Носки тщательно заштопаны, пуговицы пришиты, белье выглажено образцово. За Степкой неустанно следит требовательный взор хозяйки: сапоги чистит он ослепительно, печи топит он со всей возможной щедростью.

Вечером в гостиной зажигаются свечи. Эмилия на клавесинах играет какие-то приятные мелодии, напевает чувствительные, немецкие песенки. Пушешников слегка подтягивает, вторит своим приятным баском.

Тишина, уют, благополучие!

Это тешит, но и стесняет: как будто никакой войны нет, как будто русские войска уже не холодают и не голодают! Стесняет и нескрываемое Эмилией обожание, доходящее до того, что она даже пренебрегает чистотой своих полов и иногда, когда Пушешников, забывшись, входит в штубу с мокрыми ногами,

она только вздыхает и самолично елозит по полу, вытирая его следы.

Впрочем, деньги за постой она неукоснительно берет и тщательно прячет их в шкатулку красного дерева, замок которой при открытии издает такое приятное и мелодичное звучание.

Иногда к Пушешникову заходят на огонек сослуживцы, приятели. Потягивают вино, дымят трубками.

Есть о чем потолковать: о России, и о недавних боях, о будущем, о неблагодарности и заносчивости немцев, об их нравах и порядках: есть немало такого, чему можно позавидовать, а, в общем, свое родное лучше, шире, привольнее.

Но больше всего говорится о своем повседневном, обычном, совсем не героичном, но жизненно важном, насущном: о вычетах из жалованья за патенты на следующий чин; о том, что населению вменено в обязанность принимать русские деньги; что из Петербурга идут в армию пятьдесят тысяч мундиров и шинелей, а офицерам сюртуки и шинели будут даны без вычетов из жалования.

Говорят и о солдатах: уже нет той выучки, что была раньше, ведь большинство сейчас — только что прибывшие рекруты.

Пушешников же с рекрутами повозился немало. Сколько с ними сделал переходов — по тридцать верст в день — как положено по уставу, — а в морозы и ненастье по десять, пятнадцать.

По дороге рекрутов учить можно только стойке и маршировке, а "для внушения сознания по-

четности солдатского звания“ — как это тоже требовалось — он читал каждый день перед строем соответствующие выдержки из устава.

— Ну, коль зашла речь о почетности солдатского звания, — говорит один из беседующих — вспомним, что на службу запрещалось принимать ”побывавших в руках палача“. А у меня сейчас в роте два прощенных каторжника. Бравые солдаты! А, впрочем, я ухо держу востро — никому спуску не даю!

Фрау Эмилия в этих вечерних беседах участия не принимает.

Лишь иногда, как будто ненароком, проходит мимо, хозяйственно позвякивая ключами. Пушешников хмурится, смущается.

Но, оказывается, ни хмуриться, ни смущаться вовсе не следовало.

Пристегивая саблю и поправляя треуголку перед зеркалом — Степка держит свечу, зыбко освещающую переднюю — молодцеватый Суханов, одного выпуска из Дворянского Полка, говорит, не без зависти:

— Хороша у тебя хозяйка, Пушешников! А у меня старая ведьма, карга! Да и скупая к тому же.

Пушешников густо краснеет, но подбадривается: ”Раз завидуют, то и стыдиться нечего!“ — решает он.

К большой радости, Эмилия заметила, что милый Иоган вдруг стал не так суров к ней: мягче и даже нежней.

2.

В это утро Клаузевиц был в особо размягченном и доброжелательном настроении. Во-первых он узнал что состоялось его назначение начальником штаба русско-немецкого корпуса, а во-вторых — и это было самое главное — он только что получил из Берлина, после полугодового перерыва, письмо от жены.

"Я плачу от счастья, — писала нежная Мари — ты жив! Тебя пощадили и французские пули и русские морозы. Ах, как я счастлива! Боже! неужели недалек час, когда я прижму тебя к своему сердцу?"

Когда Клаузевиц читал эти строки, глаза его были мокры.

Он был в мундире, при всех орденах, при золотой шпаге, тщательно выбритый, причесанный, торжественный.

Заметив вопросительный взгляд Пушешникова, явившегося к нему рано утром для занятий, он сказал:

—Я еду сейчас — и вы будете меня сопровождать — к тайному советнику барону Штейну. О! это замечательный человек!.. Сейчас, как вам известно, он представляет здесь особу Императора Александра. Он уполномочен управлять восточно- прусской провинцией и должен созвать, именем Государя, провинциальное собрание, которое решит дальнейшее.

...Громоздкая, круглая, зубчатая башня; тяжелые, ко-

ванные ворота, рвы, гулкая кордегардия.

Замок, в котором уполномоченному русского императора отведена квартира, — гордо высится над черепичными крышами обывательских домов.

Сильный, дующий от моря, ветер со свистом сдувает с них сухой снег и несет его поземкой по каменным мостовым пустынных улиц.

Высоченная, полутемная зала: громадный очаг из дикого серого камня, в чреве которого, гудя и шипя, пылают громадные бревна; закопченный потолок с дубовыми поперечными балками; высокие стрельчатые окна, цветные стекла; громадная чугунная люстра, спускающаяся с головокружительной высоты; темные портреты каких-то рыцарей — латы, железные перчатки, хищные профили, — всё это говорит о седой старине, о тяжелой прусской руке, о сумрачном духе пруссачества.

Но поднявшийся навстречу Клаузевицу, высокий, осанистый, пожилой господин, одетый со вкусом и изяществом в синий редингот, в белоснежный, с золотыми пуговицами, жилет и очень высокий, подпирающий щеки, воротничек, — вовсе не похож на пруссака.

Да он и не пруссак. Владения барона Штейна, по реке Лану, граничат с графством Нассау.

Он изящен, очень красивые длинные пальцы, тонкая кисть руки. Глаза умные, пронзительные, острые черты лица, очень большой крючковатый нос. В нем есть что-то орлиное.

Штейн гордится своим родом, принадлежащим к имперскому рыцарству, считает, что, по древним

имперским постановлениям, Штейны столь же суверенны, как и Гогенцоллерны, правящие в Пруссии.

До сих пор Пушешников почти ничего не знал о Штейне. Только краем уха слыхал, что он один из тех немцев, которые, к неудовольствию армии, окружают Императора и на него как-то влияют. Слышал и то, что Штейн, в какой-то степени, побудил Государя перенести войну в Европу.

Не имел он представления и о том, в чем состояла роль Штейна и какие цели он преследовал.

Но, по дороге в замок, Клаузевиц рассказал ему, что Штейн мечтает об объединении Германии, что он крупный реформатор, был в Пруссии министром иностранных дел и что Король Фридрих-Вильгельм, хотя и не любит его, считая его беспокойным человеком и либералом, но не мог обходиться без него и расстался с ним только по настоянию Наполеона.

"Так вот он какой, этот Штейн, которого Наполеон объявил врагом Франции и Рейнского Союза, которого он лишил имений и изгнал из Германии! Этот самый Штейн, что близок к Государю, говорит с ним запросто и дает советы", — думал Пушешников, поглядывая осторожно на этого барственного, сухого старика, осененного пушистыми сединами.

Штейн хорошо знал и высоко ценил Клаузевица. Правда, его, изучившего в Геттингене право и философию, военные теории Клаузевица интересовали мало: военное дело было ему чуждо. Но он ценил несомненный патриотизм Клаузевица, широту его взгля-

дов и его готовность жертвовать личным ради общего.

Со старомодной любезностью принял он гостей, усадил у огня в глубокие кресла. Слуга в ливрее, ступая неслышно, разлил рейнвейн в хрустальные бокалы. И, в этом неприветливом зале, стало приятно и приветливо.

Когда зашла речь о манифесте Императора Александра, призывавшего население встретить русских, как бескорыстных друзей, Штейн сказал:

— Все эти люди, Иорк и все другие, подозрительные, недоверчивые и тугодумающие пруссаки, по самой своей природе, не в силах понять идеализма русского Императора... Они не верят ему, они думают, что он, под покровом великодушия, просто хочет их обмануть и добиться каких-то своих, низких, своекорыстных целей...

— Да, и это имеет очень худые следствия, — заметил Клаузевиц. — Высокомерие, которое проявляет Иорк, а вслед за ним и другие, не только по отношению к русским, но даже к самой особе государя, справедливо крайне обижает и раздражает русских. Я-то хорошо знаю их настроения.

— А, ведь, — продолжал Штейн, — Император Александр, как завоеватель, стал здесь законным повелителем. Он вправе взимать контрибуции, собирать налоги, требовать фураж, продовольствие, квартиры... Пруссаки, конечно, с этим никак не согласны. И, когда я сказал генералу Иорку, что он и прочие власти обязаны подчиняться мне, как уполномоченному государя, знаете, что ответил мне этот тупой солдат? Он

в ярости закричал: "В таком случае, я прикажу бить в городе военную тревогу, и тогда мы увидим, что будет с вашими русскими: мы выгоним их из Пруссии... Сами знаете, в каком жалком состоянии их войска! Мы вовсе не завоеваны ими, а добровольно договорились в Таурогене". А этот глупец, Шен, президент округа, поддакивал и твердил, что мои приказы незаконны. Они отрицают право русского императора созвать провинциальное собрание, утверждая, что право это принадлежит только прусскому королю.

Штейн разволновался; было видно, что все происходящее доставляет ему много огорчений и разочарований.

Он, не то что любил власть и почитание, он с ранних лет привык считать, что ему, в силу его рождения, естественно принадлежит право управлять и приказывать.

Он никогда не заискивал даже перед венценосцами, а королю Фридриху-Вильгельму всегда недвусмысленно давал понять, что считает себя и свой род вовсе не ниже самого короля и его королевского рода.

С русским императором он вел себя совершенно независимо, но ставил его, конечно, во всех отношениях, много выше прусского короля.

Ему казалось, что он, в достаточной мере, постиг противоречивую природу Александра. Он много раз вел с ним долгие и самые откровенные беседы.

Для того же, чтобы сохранить самостоятельность мысли и суждения, — он всегда, всеми силами, старался не подпасть под чарующее обаяние, которое

исходило от этого "прельстителя", неотразимого даже по своей внешности: голубые глаза в сочетании с голубой лентой, изящество, простота, покоряющая всех улыбка.

Для него было совершенно ясно, что государь, по своей природе, неисправимый и, может быть, даже опасный мечтатель.

"В самом деле, — думал нередко Штейн — как можно в современном мире, в котором царят вражда, взаимное недоверие, ненависть и жестокость, — серьезно мечтать о том, что государи Европы объединятся узами неразрывного братства и будут оказывать друг другу, во всех случаях, взаимную помощь и доброжелательство, руководствуясь евангельскими правилами?

Как можно предполагать, не отрываясь от условий земной жизни, что те же европейские государи будут считать своих подданных как бы членами одного семейства и будут управлять ими в духе братства для сохранения веры, правды и мира?"

Штейн сам считал себя мечтателем. Но мечтал он об ощутимом и достижимом: об объединенной Германии, о реформах, которые надлежит осуществить в ней, руководствуясь его собственными государственными идеями.

Всё это не имело ничего общего с мечтаниями русского царя.

И когда тот, устремив куда-то вдаль свои прекрасные глаза, развивал свои любимые, отвлеченные и вовсе нежизненные мысли, — чувство тревоги за судьбу Европы и Германии невольно овладевало

Штейном.

Он никак не мог уяснить себе и того, как в душе императора сочеталось стремление заслужить любовь чужих народов, устроив как можно лучше и свободнее их жизнь, — с каким-то странным равнодушием и даже холодностью к своему собственному народу, показавшему в самое последнее время такие необыкновенные примеры редкой верности и самоотвержения.

...Разговор коснулся провинциального собрания, созываемого в Кенигсберге, которое должно утвердить соглашение с русскими.

— Я хотел, для того, чтобы узаконить дальнейшие действия сословных представителей, хотя бы огласить послание Императора Александра... Ничуть не бывало! Иорк, Шен и другие яростно противятся этому. Тогда я, щадя их прусские чувства и, уступая чувству патриотизма, отказался от этого, выразив намерение только присутствовать на торжестве. Можете себе представить, они закричали: "Ничего подобного: вы будете встречены единодушным свистом!" Они, просто, считают меня изменником.

Клаузевиц побагровел, вскочил с кресла.

— Как они смеют!.. Это же подло, бессовестно!

— Однако, это так! Но не это важно. Важно, чтобы скорей, как можно скорей, был заключен союзный договор России с Пруссией. Наполеон разбит, обессилен, но он может быстро воспрянуть. Все наши нелады мешают, осложняют дело. Там, в Берлине к этому прислушиваются, хотя, впрочем, если и тре-

пещут, то, кажется, склонны договор заключить.

Штейн умолк, задумчиво наблюдая за буйным пламенем камина.

Он представил себе угрюмого короля, его недоверчивый, исподлобья взор, его, доходящую до трусости, нерешительность.

Представил себе всю свору придворных, закостенелых в своих предрассудках, боящихся малейшей новизны и трепещущих от одного имени Наполеона.

Клаузевиц почтительно молчал, боясь нарушить думы Штейна: "Какой ум, какой глубокий патриотизм!" — думал в восхищении он, наблюдая, как пламя яркими точками отражалось в умных глазах барона. — "Да, это великий немец! Германия его не забудет!.."

. . . .

Мрачным и подавленным возвращался Пушешников домой.

Даже про себя, он не смел осуждать Государя. Но то, что он только что слышал, самым жестоким образом уязвило его русскую гордость. "Как мог Государь, — терзался он, — уступая наглым протестам пруссаков, отменить законные распоряжения губернатора оккупированных областей, маркиза Паулучи, касающиеся всяких повинностей, поставок провианта, фуража, постоев?

Как Государь терпит явное неуважение к его уполномоченному, барону Штейну, представляющему его особу?

Разве пруссаки, а не мы победили Наполеона,

разве не мы здесь хозяева?"

Невесел был и Клаузевиц. Даже радость, связанная с письмом Мари, — как-то потускнела и поблекла.

3.

В Тульских краях, январь, сплошь — от самых крещенских морозов вплоть до Трех Святителей — именин Пушешникова, — тугой, крепкий, жестокий.

В солнечные дни, белизна полей режет глаза; снег визжит пронзительно под полозьями санок, на которых маленький Ванечка скатывался под горку к замерзшей реке. Даже в рукавицах мороз ломит руки: промерзшая веревка санок жжет пальцы.

Мохнатый и бородатый Пармен — брови, усы, бороду запушил иней — деревянной лопатой прокапывает в завалах за ночь напавшего снега — глубокий и узкий ход.

Отдыхая, он втыкает в снег свою лопату, сует за кушак рукавицу, раскуривает трубочку, сплевывает.

Барчук снизу вверх смотрит ему в лицо: любит слушать, что говорит старик — от него так приятно пахнет дымной избой, ржаным хлебом, конюшней. Пармен рассказывает о волках, что ночью подходили к скотному двору, о зайцах, о замерзшем на дороге нищем, о морозах:

— Сегодня, милок, — объясняет он, — Тимофей

полузимний и морозы тимофеевские, а то был Афанасий ломонос и морозы стояли афанасьевские... А всё, трещи не трещи, — прошли водокрещи... Пол зимы прошло и до новины пол срока осталось.

Барчук всё это хорошо знает, не раз слышал об этом от нянюшек и мамушек.

Слышал и про Аксинью-полухлебницу, полузимницу и про Ефимию метельную, и про Ефрема Сирина, когда домового подкармливают — подкидывают ему каши на загнеток, и обо всех других святых, которые, как будто, живут среди мужиков, участвуют в их деревенской жизни.

Самый же верный признак, что именины близки, — это поездка всей семьей под Белёв, в Жабынь, в монастырь, где празднуется память Макария Жабынского, Белёвского чудотворца.

В монастырь съезжается половина уезда.

Всенощная очень длинная, торжественная.

В широких мантиях, в клобуках, не подымая глаз, таинственно, тихо, сходятся монахи на середину храма, поют сурово, мужественно, задумчиво.

А он, маленький Ванюша, обессиленный, склонив голову, дремлет на порожке громадного киота с золотым образом Николая Угодника. Он слышит сквозь сон пение, возгласы, звяканье кадила, шаги, голоса...

Потом, по морозному лунному двору, отец на руках несет его спящего в монастырскую гостиницу, где для взрослых встречи, разговоры, распросы.

Утром, после обедни — домой.

Накатанная, желтоватая от навоза дорога, галки, молчаливые леса, заваленные снегом избы.

Всё это уже ушло далеко! Но мать не забыла, конечно, своего именинника. На четырех страницах, мелко исписанных рукой матери, пришло письмо, запечатанное пятью сургучными, гербовыми печатями.

Оно сразу приблизило к нему всё свое родное, что, несмотря на войну, на множество новых людей, встреч, чужих городов, — живет в нем и будет жить до самого конца его жизненного пути.

Оно, это письмо, писанное на знакомой конторке орехового дерева, на которой он сам учился писать, — переносит его туда, в ту тишину, глушь и дичь, где стоят многозвездные студеные ночи, где горят у овинов и скирдов голодные волчьи глаза, где в непроглядной ночной тьме хрипло и глухо кричат полуночные петухи, где на просторах пустынных дорог начинает, вдруг, свои жалобы пробуждающаяся вьюга.

Благословения, пожелания, вздохи, ласковые слова чередуются с уездными новостями, со слухами, пересудами:

"...была на новый год в Темряни у Левшиных, на именинах Василия Алексеевича. Спрашивал о тебе. Марья Петровна пополнела, но авантажная попрежнему, в столичном наряде (идет подробное описание платья)... Говорили, что Васенька Жуковский приезжал в Мишенское. Долго там не был, опять отправился к Протасовым в орловскую деревню. Все говорят, что Екатерина Афанасьевна — (хорошо ее знаю: неприступная, крутая) — начисто отказала ему в машенькиной руке. Та всю зиму болеет, видно от тоски. И без

того, ведь, бледна, худа, лимфатична. Да и сам он, Жуковский, — кто его видел, говорят — стал худой, бледный и очень скучный... Любовь, кого хочешь, — засушит! А ты, мой милый друг, береги себя: остерегайся всяких прелестниц, беги пагубных увлечений. Не забывай молиться, не ленись! Господь всегда был милостив к тебе и, коль не забудешь Его, и Он тебя не забудет и сохранит..."

Дальше, неторопливая и подробная речь велась о разных домашних делах и событиях и возвращалась к Оленьке Шамшиной, шестнадцатилетней уездной барышне, наивной, восторженной, но очень хозяйственной, большой рукодельнице, за которой, помимо всего, было приданое около ста душ и земли десятин двести.

Эта Оленька матерью прочилась ему в жены.

Пушешников был растроган: его умилили слова о "прелестницах", о "пагубных увлечениях". Он узнает в них беспокойное, вечно тревожащееся сердце нежной матушки.

Очень пожалел Жуковского, пожалел бледную, тоскующую Машу. Напрасно, все же, Жуковский не решился ее похитить, как когда-то он ему советовал. Напрасно!..

. . . .

По молодости и по свежести своих чувств, Пушешников, почти по-детски, радовался дню своего Ангела. Этот день как бы светился для него особым светом, предназначенным только для него одного.

Бывало, дома, особое ощущение необычности этого дня начиналось уже с утра, когда, ныряя в сугробах, во двор въезжали, запряженные гусем, сани. Дыша морозом, в лакейской разоблачались священник из соседнего села и старый дьячек Андреич.

Горели лампады. Служился молебен. Холодок морозного креста, холодные капли на лбу от кропила — были неотделимы от именинных впечатлений.

Здесь, на чужбине, в церкви побывать не удалось: службы русской нигде не было.

К обеду пришли гости: однокашник по Дворянскому полку Суханов, артиллерийский поручик Бутов и штабс-капитан Загурский.

В обществе этих молодых, веселых, учтивых офицеров, фрау Миллер чувствовала себя совершенно счастливой, помолодевшей и похорошевшей.

Она сидела во главе стола, потягивала вино из заветных бокалов, употребляемых только в самых редких, торжественных случаях. Смеялась всему, что говорилось, хотя по-русски и не понимала.

— А тебе, Пушешников, пожалуй, придется брать от фрау Миллер свидетельство о хорошем поведении, — подшучивал Суханов.

— Как это так? Какое свидетельство?

— Ведь есть приказ: все командиры должны представлять свидетельства от местных властей о хорошем поведении своих частей.

— Что за нелепость! Кто же этот приказ подписал?

— Да, конечно, немец! Дежурный генерал и кавалер фон Ольдскоп. Откуда только берутся эти нем-

цы? Всюду они!

...Было очень приятно после затянувшегося обеда выйти на морозный воздух, вздохнуть им полной грудью и почувствовать себя молодым, здоровым, веселым.

Синели сумерки, перепархивал легкий снежок, чуть морозило.

Зашли в ресторан. Старомодный, уютный, покойный.

Гул голосов, в туманной синеве трубочного дыма, оплывают свечи в тяжелых медных подсвечниках.

Деревянная обшивка стен, столы, скамьи, стулья с прямыми спинками, отполированные поколениями посетителей, завсегдатаев.

Под развесистыми оленьими рогами — столик. За ним — говорят с почтением — изо дня в день, всю жизнь, в одни и те же часы, сиживал какой-то чудак, профессор университета, местная гордость и знаменитость — какой-то Кант, ученый и философ.

Вино оказалось неплохим; приятно туманило голову, веселило.

Именины проходили очень приятно.

Рядом за стол сели четыре легионера.* Превосходно одеты, самонадеянны, спесивы, на штатских, да и на русских, смотрят свысока.

—Вот так щеголи! — говорит подсевший казачий

---

*) Чины русско-германского легиона, сформированного в России из немцев, пожелавших сражаться против Наполеона. Легион пополнялся также перебежчиками и пленными. Командиры — прусские офицеры.

сотник. — Они, ведь, не в пример нам, грешным, от своих получают всё: провиант натурой, квартиры бесплатно и вдобавок жалованье звонкой монетой. А мы должны платить и за постой и за прочее! Небось, французам пятки лизали, а теперь носы дерут, колбасники несчастные!

Немцы уже изрядно выпили, заговорили громче, смеются чему-то, что рассказывает, поглядывая на русских, рыжий долговязый верзила, видно привыкший потешать приятелей.

И вдруг, он, этот верзила, поднимается и, чуть пошатываясь, идет к русскому столу.

Не говоря ни слова, не обращая никакого внимания на сидящих за ним — точно никакого и нет — он безцеремонно тянет руку через плечо Пушешникова, берет свечу и начинает разжигать свою трубку.

— Эй, колбаса, полегче! — ворчит сотник.

— Не понимаю!.. Не могу понять. Вы уж меня извините!.. — с шутовской вежливостью, с ужимками, раскланиваясь, говорит рыжий.

— Потрудитесь вести себя прилично, — вспыхивает Пушешников.

Немец вновь отвешивает шутовской поклон, шаркает и подмигивает своим товарищам. Кто-то из них хихикнул.

— Прошу не паясничать!.. Убирайтесь к чорту! Не то выброшу вас за дверь!

Немцы заволновались, вскочили. Зал сразу затих.

—Успокойся, Пушешников! — говорит Суханов.— Уйдем лучше!

— Морду им бить надо! — кричит сотник.

Легионеры с презрением смотрят на русских. Пушешникова дрожат губы, пальцами он отбивает дробь по столу.

— Эй, вы—кричит он немцам,—верно, с французами вы обращались иначе! Не смели так распускаться!

— О нет! — цедя слова сквозь зубы, с вызовом, дерзко, очень громко, на весь зал, отвечает старший легионер. Мы ненавидим вашу азиатскую распущенность точно так же, как ненавидели французский деспотизм!

— Ах, вот как! — с дикой радостью закричал Пушешников.

Тяжелая пивная кружка, брошенная с силой, с громом и звоном разлетелась на куски, расплескивая по полу пивную пену: загремел опрокинутый стол, табуретка прокатилась через зал, ударившись о стену. Руки потянулись к эфесам...

Трактирный слуга, что было мочи, помчался в управление коменданта...

Постоянные столкновения между русскими и пруссаками, в ресторанах, в кофейных, в театре, взаимные оскорбления, драки, дуэли — обратили на себя внимание высших военных властей.

Только благодаря заступничеству Клаузевица, доходившего до самого Дибича, для Пушешникова дело обошлось тем, что он, отсидев положенный срок на гауптвахте, к великому горю Эмилии, не осушавшей глаз, был отправлен в строй, в свой полк, действовавший где-то за Варшавой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.

Полковое начальство, хотя и с большой неохотой, позволило Пушешникову, на самое короткое время, отлучиться из полка и отправиться — по личным надобностям — в главную квартиру светлейшего князя Кутузова-Смоленского, как после изгнания неприятеля из российских пределов, по высочайшему повелению, стал именоваться престарелый главнокомандующий. Он, кроме того, был награжден орденом Св. Георгия Победоносца первой степени.

Пушешников имел в виду явиться в главной квартире генералу Василию Сергеевичу Кайсарову, состоявшему при светлейшем и пользовавшемуся его особым доверием.

Строевая служба, собственно, не тяготила Пушешникова.

С наступлением тепла, с подвозом продовольствия, обмундирования и снаряжения и со вступлением в неразоренную часть Польши — чистые, беленькие мызы, фольварки, шумные корчмы, веселые и приветливые люди — служба сделалась совсем не тяжелой.

Шинели и сюртуки от казны, без вычета из жалования, офицеры получили. Было выплачено полугодовое содержание, тоже не в зачет, и, кроме того, стали выдаваться и порционные деньги: червонцы

зазвенели в карманах.

Настало то приятное время, о котором один из современников Пушешникова писал позже: "...Каждый день отдыха подкреплял утомленные войска, которые беспрестанно умножались, каждый день бегущий неприятель был настигаем отрядами нашими, лишался последних сил своих и державы, бывшие незадолго нашими неприятелями, склонялись на дружелюбные с нами сношения".

И еще: "Происшествия столь быстро следовали одно за другим, что недавные подвиги наших на Днепре, на Двине, на Колоче, на Наре, и сожжение Смоленска и Москвы, казалось, принадлежали уже к истории и не имели с настоящими событиями никакой связи".

Следовательно, ни тяготы строевой и боевой, службы, ни придирки всеми нелюбимого, тяжелого, желчного и жестокого ротного командира штабс-капитана Лисицина — не были причиной того, что Пушешникову стало в полку как-то скучно.

Каждодневные толки о службе, о производстве, о наградах и о мелких полковых новостях — мало занимали его.

Конечно, можно было позабавить себя и позубоскалить по поводу аттестации, данной начальством одному из полковых товарищей: "по службе ведет себя слабо, в способностях ума легкомыслен, к карточной игре предан, а к пьянству нет, в хозяйстве не хорош", но всё же иногда хотелось чего-то другого, к чему он привык за время штабной службы.

Ему не доставало поздних бесед, которые он вел

раньше с Клаузевицем, его пылких речей и разсуждений о вещах значительных и высоких; не хватало книги и общения с людьми, причастными к событиям важным.

"Может быть, Кайсаров, — думал он, собираясь в главную квартиру — опять поможет. Может быть, вернет в прежнее положение. Почему не попытатся? Попытка — не пытка!"

В середине апреля, он отправился.

Обочины дорог, окрестные поля — зеленели ярко и весело. Земля, просыхая, курилась чуть-чуть; грачи копошились на вспаханных полях.

На перекрестке дорог видел ов большое черное распятие, над которым придорожная ива свешивала свои плакучие ветви.

На кресте, над желтой дланью, пронзенной гвоздем, сидела какая-то серая с розовой головкой пичужка, весело и бодро чирикая свою весеннюю песню.

Пушешникову тоже было светло и радостно.

В пути он услыхал о том, что светлейший занемог и задержался в каком-то маленьком силезском городке Бунцлау.

"Может быть вернуться, — колебался Пушешников. Коли светлейший болен, вряд ли добьюсь чего. В штабе будет не до меня. А, впрочем, посмотрим".

Городок, окруженный зеленеющими земляными укреплениями и окаймленный широкими бульварами —светился зеленой дымкой. В садах зацветали вишни...

На улицах весеннее ожиление: толпы военных, ге-

неральские плюмажи, алые отвороты, цоканье копыт по каменным мостовым.

Едва, едва, за немалые деньги, нашел коморку на чердаке гостиницы.

Не без труда разыскал Кайсарова, явился ему. Тот хотя и был приветлив и доброжелателен, но рассеян, озабочен, видимо, занятый мыслями о болезни светлейшего.

Он очень плох, — сказал на вопрос Пушешникова.

Тому стало ясно, что говорить о себе, в данное время, вовсе не к месту.

. . . .

Погода в апреле всегда неверная и обманчивая. Так было и тогда, когда Кутузов подъезжал к Гайнау.

Солнце то грело почти по летнему, то скрывалось за набегавшие тучки, и тогда сразу становилось холодно.

Конечно, совсем не следовало бы открывать окна кареты и, тем более, снимать беловерхую кавалергардскую фуражку, подставляя свою седую голову веянию свежего ветра.

Светлейший простудился, занемог, стал явно слабеть.

В глубоком кресле, обложенный подушками, сидел он, грузный, рыхлый, в малиновом халате. Воротник рубахи открывал его обвисшую шею, жирную, поросшую седыми волосами, грудь. Волосы были спутаны, здоровый глаз смотрел тускло, устало.

Это не был тот величавый полководец, каким его

помнил Кайсаров на военном совете в Филях, к голосу и словам которого с трепетом прислушивались все.

Тогда, в растегнутом генеральском сюртуке с жирными эполетами, с белым крестом на шее, со звоном шпор, а главное, с твердостью и решительностью взгляда, с властными интонациями голоса — он олицтворял собой судьбу России.

Теперь же, в этом кресле, беспомощно сидел самый простой, немощный, больной старик, лишенный всяких черт величия.

Лейб-медик Государя важный, ученый, знающий себе цену, баронет Виллье, озабоченно хлопотал, сосставляя какую-то сложную микстуру.

Надо было суметь уговорить Кутузова принять это лекарство, ибо он в лекарства не верил и принимать их решительно не хотел.

—Ваша светлость! — говорил Виллье таким тоном, каким обычно говорят доктора с больными, — здесь не бородинское поле и командуете не вы, а уже я... Извольте выпить!..

— Выпью, выпью, голубчик, Яков Васильевич! Поставь его на стол. Вот только продиктую Василию Сергеевичу письмо жене. Пиши, дорогой, — сказал он Кайсарову.

Виллье вздохнул и ушел советоваться с лейб-медиком короля прусского. Хотя он его и не высоко ставил, но считал не лишним поделиться с ним мыслями по поводу потери светлейшим чувствительности в пальцах. Признак нехороший — думал Виллье.

Не без труда, собираясь с мыслями, запинаясь и задумываясь, Кутузов диктовал:

"Я к тебе, мой друг пишу в первый раз чужою рукою, чему ты может быть удивишься, а может быть и испугаешься, — болезнь такая, что в правой руке отнялась чувствительность перстов".

Дальше, стал диктовать о делах денежных: посылал жене десять тысяч талеров, а дочерям Аннушке и Парашеньке — по три тысячи.

"Можешь требовать от меня еще", — добавил он,

Денежные расчеты, соображения самые будничные, семейственные, возвращали его к обыденной жизни, отвлекали от мыслей неприятных и тяжелых.

Он представил себе всех своих пятерых дочерей, всех похожих лицами на него, белых, рыхлых, некрасивых. Представил себе, как каждая встретит весть о его смерти, ежели, на этот раз, он не избежит ее.

Впрочем, смерть, собственно, не так уже и страшила. К мысли о ней, как и большинство людей его возраста, он постепенно привык.

К тому же он чувствовал, как безумно устал за эти необыкновенные месяцы.

Ведь он, сибарит, тонкий ценитель жизненных услад и удобств, во всё время кампании ложился спать не раздеваясь и в первый раз позволил постелить "постелю" только в Вильне.

Особенно устал он душевно, борясь непрестанно и противодействуя почти всеобщему легкомыслию, тщеславию, славолюбию, толкавшим многих — да и самого Императора — к необдуманным сражениям.

И, всё же, жить хотелось.

В жизни было еще много того, что его привлекало. Вот, совсем недавно в Калише, на балу, он был

пленен шестнадцатилетней красавицей и любезничал с нею со старинной галантностью прошлого века.

Конечно, он знал, что красавица видела в нем не увлекательного мужчину, а лишь человека, который прославлен на всю Европу, но всё равно, юная, благоухающая женственность была обаятельна сама по себе.

Сейчас же, перед этими медиками, безцеремонно его ворочающими, выслушивающими, ставящими пиявки и клистиры; перед всеми этими склянками, порошками, микстурами и перед всем тем некрасивым, дурно пахнущим, неряшливым, что неизбежно связывается с болезнями и со старостью, а, главное, перед лицом того непонятного, таинственного и грозного, что ожидало его, — становилось совершенно несомненным, что слава, величайшая слава, которой он достиг и о которой он никогда даже отдаленно не мог мечтать — на самом деле не больше, чем дым.

Совсем недавно жители силезских городов, через которые он проезжал, в непритворном восторге кричали:

„Vivat der grosse Alte. Vivat unzer Grossvater Kutuzoff!„

Что говорить! Это было и лестно и приятно.

Недавно прусский король, которого он чуть презирал, пожаловал ему орден Черного Орла и табакерку в двадцать тысяч рублей. Предлагал ему имение в Пруссии.

"А зачем мне имение? Да и Государь не оставит меня и моих детей", — повторял он про себя то, что сказал королю.

Он глубоко задумался, забыл о письме. Могло доказаться, что он, закрыв глаз, задремал. Но, Кайсаров, этот аккуратный, спокойный, и рассудительный молодой генерал, которого Кутузов очень любил, и к которому привык и без которого не мог обходиться, — хорошо знал, что светлейший бодрствует, что он погружен в какую-то важную и большую думу.

Ведь, он, сам очень привязанный к старому главнокомандующему, знает его отлично, до тонкости изучил все его слабости, его повадки, прихоти, привычки и даже мысли.

За последний год, всю войну, он ни на один день не разлучался с Кутузовым; видел его во всех положениях, во всяком состоянии духа, вел с ним самые откровенные беседы, слышал от него иногда острые и даже дерзкие суждения.

Помнил он хорошо и ту тяжелую ночь, которую пережили они в Филях, после военного совета, решившего участь Москвы.

Помнил как занималась утренная заря, а главнокомандующий еще и не ложился. Однако, к себе его не звал, запершись в своей горнице.

А он с тревогой прислушивался к его шагам, к тому, как он вздыхал, что-то невнятно бормотал под нос, и даже иногда всхлипывал.

Пели тогда ранние петухи, розовели стволы берез у окна, мычали коровы проходящего стада. Ни на минуту не стихал глухой гул. Это, всю ночь, шли уходящие за Москву войска.

Звенели медные пушки, звякали удила, безконечной, нескончаемой лентой шла сильно поредевшая,

невеселая, хмурая пехота.

Многое было пережито тогда такого, чего нельзя позабыть.

И, вот теперь, на глазах угасает этот замечательный человек, в котором так причудливо сочетались чисто русские черты: великое мужество, простота, осторожность, ну, и конечно хитрость — "Ой умен ой хитер, его никто не обманет", отзывался Суворов, — с тем изящным легкомыслием, распущенностью, скептицизмом, которые так свойственны людям блистательного екатерининского века.

Великая Императрица очень отличала молодого Кутузова. Он всегда загорался, когда рассказывал, как она из своих рук наградила его Владимиром второй степени, как она, на маневрах, на поле полтавского сражения, сказала ему: "Вы должны беречь себя, запрещаю Вам ездить на бешеных лошадях и никогда не прощу, если услышу, что вы не исполняете моих приказаний".

Был тогда яркий и горячий день.

Солнце заливало, ожившие после долгого забвения, поля Полтавы.

Победно гремела военная музыка и клики российских полков восторженно возвещали славу Екатерине.

Ему же, тогда молодому, веселому и безстрашному, — казалось, что он немного нравится Государыне. И это веселило, подымало дух.

Да, и она, несмотря на ее годы, — ей тогда было уже за сорок, — очень влекла к себе своей какой-то

особой женственной прелестью, чем то веселым и ласково-зовущим, что светилось в ее серо-голубых глазах и что таилось и в уголках губ и в лукавых ямочках на щеках, образуемых необыкновенной ее улыбкой, целиком переданной ею своему внуку, ныне благополучно царствующему Государю Александру Павловичу.

С печалью и нежностью глядел Кайсаров на молчащего в глубоком раздумье, Кутузова.

Видно — думал он — скоро конец и вечерним беседам, и той воркотне, которая отличала светлейшего, когда он просыпался не в духе, в плохом расположении, или когда получал из Петербурга его раздражающие вести.

Вдруг светлейший встрепенулся, вскинул голову, посмотрел на Кайсарова ясно и твердо.

—Да, — сказал он, — поверь мне, мой друг, слава — это дым! Я смеюсь над собой теперь, когда размышляю с какой точки зрения смотрю на звание мое, на мою власть и на почести, меня окружающие.

Потом он заговорил о государе. Он, конечно, не оставит детей, воздаст должное, прославит, увековечит его имя: будут торжественные процессии, почести ему бездыханному. Может быть, когда-либо, поставят ему и монумент.

Но сколько было неприятного, раздражающего, да и обидного в отношении Государя к нему.

Государь его не жаловал, не понимал, иногда едва терпел.

Да и сам он, сколько раз, досадовал, сердился, порицал Государя, говорил с ним резко, спорил.

И всякий раз, во время спора, когда Государь, этот обольстительный человек, обнимал и целовал его, он, прослезившись, всегда уступал ему, соглашался с ним во всем. Так было и тогда, когда решался вопрос об европейском походе: он не хотел его, но Государь лаской сумел сломить его сопротивление.

...Государь, побывал у светлейшаго за день до его кончины. Долго говорил с ним, и хотя никто не знал о чем шла между ними речь, стали сразу по-разному рассказывать о том, что сказал государь и что говорил ему Кутузов.

Отметили все, что когда Государь выходил из дома больного главнокомандующего и собирался садиться в коляску, — он был сумрачен, печален и озабочен.

Не глядя ни на кого, в глубокой задумчивости, он постоял несколько мгновений на ступеньках крыльца; ветер шевелил его редкие рыжеватые волосы, солнце играло на орденах.

Вздохнув, в той же задумчивости, он надел фуражку и сел в экипаж.

В первый раз видел Пушешников Государя, да еще так близко. С необыкновенным волнением и восхищением ловил он каждое движение, каждую черту в нем. Он старался все заметить, ничего не опустить, все сохранить в своей жадной памяти.

Никогда раньше не испытывал он такого подымающего, восторженного и светлого чувства, как теперь. Оно не было похоже ни на что, испытанное раньше.

Да! — думал он, и, даже не думал, а чувствовал сердцем — в этом стройном, изящном, скромно-благородном, обаятельном, человеке в черном мундире с серебрянными эполетами, — сосредоточенно всё возвышенное и чистое, что веками копилось в душах его предков, всё то, чем дышал он сам с самых ранних лет.

Государь, даже и не человек, в обыденном смысле этого слова, — это особое существо, высшее, почти сверхестественное, представляющее собой Россию, ее, величие, мощь, славу и побуждающее и меня и всех русских людей безропотно идти на подвиги и жертвы.

. . . .

Пушешников получил возможность поклониться телу почившаго героя.

Окна завешаны темными шторами; чуть потрескивают свечи. Гудит голос монаха, читающаго скорбные слова псалтыря. Парные часовые застыли, держа кивера на согнутой руке.

Запах ладана мешается с чуть сладковатым запахом тления. На бархатных подушках множество орденов, оранжево-черная лента, георгиевская звезда, фельдмаршальский жезл.

В гробу горбоносое осунувшееся лицо, такое покойное, точно лежащий на одре смерти ощутил наконец всю сладость нерушимого покоя.

Пушешников вышел на крыльцо. Солнце слепило. После тяжкой духоты погребальной комнаты, свежий ветерок был необыкновенно живителен.

Собравшиеся у крыльца офицеры говорили о том, что сказал Государь по поводу смерти светлейшего; обсуждали с большим интересом, кто будет назначен на его место и рассуждали о всем другом, что отличает эту суетную, но милую человеческую жизнь, текущую своим непрерывным и непонятным потоком.

"Коль не убьют, еще поживу! До старости еще далеко!" — думал Пушешников, отгоняя от себя тяжкие впечатления от всего только что виденного.

Его душа устала от печали, тянулась опять к жизни и радости.

Из Бунцлау уехал он ни с чем, так и не переговорив с Кайсаровым.

. . . .

Его Императорское Величество, в Дрездене, 16 апреля, высочайше повелеть соизволил генералу от кавалерии графу Витгенштейну быть главнокомандующим соединенными русско-прусскими войсками со всеми по сему званию правами и уполномочию.

По этому поводу, было много разговоров, Некоторые говорили и так: "Витгенштейн более герой, нежели покойный, но у него нет ресурсов политических, коими изобиловала голова хитроумного Михаила Илларионовича".

"Это неправда, — возмущался Пушешников.—Другого Михаила Илларионовича — не найти. Во всей Европе такого не сыщешь. А, помимо всего, он — руский, природный русский!"

2.

Зацветали сады. Спокойная, невозмутимая гладь Эльбы курилась легким туманом. Холмистые берега, купы деревьев в зеленой дымке, белые облачка на лазурном небе — все было ласкающее, мягкое, нежное.

В виду всего этого, ласкающего и нежащего — странно было думать о грохоте пушек, о лязге штыков, о зияющих ранах и страшных трупах.

Однако, думать обо всем этом приходилось настоятельно.

Война вспыхнула вновь.

Как раз, в этот день, когда в Бунцлау умирал победитель Наполеона, последний, сев на коня, повел свои, сказочно возрожденные войска навстречу союзникам.

С розовой зарей, загоревшейся 20 апреля, завязалось сражение на подступах к Дрездену, у города Люцена.

Час от часа сражение разгоралось, и, к полудню, уже достигло полной своей силы.

...Во внутреннем дворе католического монастыря, серые стены которого, вплотную подойдя к реке, отражались в ее водах, в полковом резерве, с самого раннего утра, был поставлен эскадрон Лихарева.

Под платанами, у каменного колодца, оседланные лошади, дымок разложенного костра. Гусары, при-

слушиваясь к всё усиливающейся и приближающейся канонаде, томятся, ожидая, когда наступит их черед ввязаться в дело.

Недавно прибывшие в полк, еще не нюхавшие пороха, офицеры и юнкера скрывают свое волнение под веселой развязностью. Они собрались кучкой, закусывают, громко смеются.

Речь идет о том, что ахтырские гусары, не находя нужного материала, сшили себе доломаны из коричневых монашеских ряс не то францисканцев, не то бернардинцев. Вышло — говорят — неплохо: коричневое с золотым сочетание удачное!

Затем, под общий хохот, кто-то читает игривые стишки о какой-то Алине, которая "пастушкою простою, цвела невинностью, невинностью блистала..."

Однако, в душе, все хорошо понимали, что и коричневыми доломанами и фривольными стишками об Алине — не укроешься от мыслей о том,, таинственном, грозном и неумолимом, что происходит сейчас на этих цветущих равнинах, полях и холмах.

Лихарев — в стороне.

Он командир, человек много раз обстрелянный, бывалый и, по убеждению смеющихся юношей, старый — ему, конечно, не к лицу быть с ними и забавляться их разговорами.

На каменной скамье у монастырских ворот, мимо которых вьется дорога, подымаясь на холмы и скрываясь в роще, — сидит он, ожидая с минуты на минуту приказ о выступлении.

Прислушиваясь к нарастающему гулу сражения,

он думает не о нем, а о своем, личном.

По опыту он знает, что так и надо делать: это отвлекает, помогает подавлять невольную тревогу и волнение.

...Уезжая на войну и оставив Гашу в деревне, он поручил ее попечению дальней своей родственницы, Марии Епифановны, бедной, но заносчивой, нравной и злой старушки. Она делжна была научить всему Гашу, сделать из нее барыню.

Оказалось это не так просто.

Правда, ученицей Гаша оказалась очень способной. Усваивала всё быстро, всё схватывала на лету, присматривалась ко всему внимательно, всему училась охотно.

Но по отношению к своей воспитательнице выказывала полнейшую независимость, проявляла совершенную неуступчивость, строптивость и необыкновенную гордость.

Не выносила, когда Мария Епифановна намекала на то, что она, Гаша, осчастливлена, облагодетельствована. Никакого снисхождения — не терпела. Смирение — не было ее добродетелью, и, сразу же, как только Мария Епифановна попыталась взять над нею верх, она ощетинилась, резко ее отбрила, поставила на место. Одним словом — коса нашла на камень.

Приезжали какие-то важные барыни из знатной родни мужа, шуршали шлейфами богатых платьев, прищуриваясь рассматривали Гашу через лорнеты, что-то говорили по-французски, едко усмехались. Гаша смотрела на них прямо и дерзко, нисколько не смущалась. Заявила: "Мужняя жена я, хозяйка здесь!

А, коль знать не хотите, коль не нравится, — вот Бог, а вот порог!“

— Сделайся овцой, а волки готовы! — сказала она Марье Епифановне, когда та стала упрекать ее за непочтительность к богатым и знатным родственницам..

— Ну и зелье.. — удивлялась, не без восхищения, Марья Епифановна.

На первых порах, после отьезда Лихарева, Гаша чувствовала себя, в этом громадном, с белыми колоннами, доме, одиноко и неуютно. Тосковала, скрывая это ото всех.

Кутаясь в шаль, она бродила по громадному, белому залу, в блестящем паркете которого смутно белело ее отражение; прислушивалась к тому, как позванивают хрустальные подвески громадной люстры; садилась на золоченые диванчики и смотрела через саженные окна на заваленный сугробами парк, на стынущие на морозе статуи, на сверкающий на солнце крест деревенской церкви.

С острым любопытством вглядывалась она в лица пышных красавиц, смотревших на нее внимательными глазами из овальных золотых рам семейных портретов, украшавших гостинные, диванные, кабинеты.

Особенно влекла ее к себе какая-то дама с лебединой шеей, с гордой посадкой головы, с чуть прищуренными темными глазами и с белоснежными плечами, прикрытыми прозрачной шалью. Она казалась ей настоящей королевой.

Сумеет ли она стать равной этим великолепным,

гордым, обольстительным красавицам, привыкшим к власти и к поклонению? — спрашивала себя Гаша.

Сумеет ли она победить, а, главное, посрамить тех, которые сейчас втихомолку суда́чат о ней, над ней смеются и потешаются?

О чем тут говорить! Конечно, сумеет!

Со своей красотой, да, не только с красотой, да и с умом — ведь, недаром говорят, что бабий ум лучше всяких дум — она добьется того, что все кругом будут смотреть ей в глаза, будут ей льстит, разстилаться перед ней.

Да, скоро, очень скоро — она добьется этого! Она непременно станет такой, какими были эти барыни, и, вот, в этом зале, — наступит время, — она явится перед восхищенными глазами всех, красивая, гордая, великолепная и все будут завидовать и любоваться ею!

Вскоре она не только привыкла к своему новому, необыкновенному положению, перестала скучать, тосковать, томиться, но и стала чувствовать, что всё великолепие, роскошь, все эти красивые и дорогие вещи, которые окружают ее — вовсе не чужды ей. Совсем нет!

Она здесь у себя, на месте: она настоящая барыня, госпожа, и ничего нет удивительного в этом. Ведь, она с рождения была предназначена для этого, знала, что такой будет ее судьба.

Барские замашки она усвоила скоро: пресекала всякие поползновения на короткость, всякие намеки, всякие косые, насмешливые вягляды.

С прислугой была строга; научилась бить горничных по щекам.

На Пасху, Лихарев, сломя голову, прискакал в Лисий Лог и пробыл там три дня.

Он радовался глядя на Гашу, не отводил от нее глаз — влюблен был попрежнему до изступления.

Огорчался чрезвычайно, когда замечал в ее глазах раздумье, грусть, недовольство.

Ему казалось тогда, что она несчастна, что она раскаивается, его любит мало, а то и вовсе не любит.

"Верно — терзался он — она не забыла Пушешникова, думает о нем, тоскует".

Он раньше никогда не знал, что такое ревность. Даже не подозревал о ее существовании. Но теперь жгучая ревность к прошлому Гаши терзала его нещадно: иногда он прямо таки не находил себе места.

Но стоило Гаше приласкаться к нему, сказать ему теплое, ласковое слово, посмотреть ему в глаза както особенно доверчиво и любовно — он опять делался счастливым и спокойным.

Таким он был и сейчас накануне боя, когда в сотый раз смотрел на старательно выведенные Гашей каракульки, присланные ему вчера в письме тетки.

Она написала со многими ошибками, без знаков препинания: "Милый, не грусти! Любить всегда буду. Верная раба твоя Агафья".

Вот если бы друзья и собутыльники видели его растроганную улыбку, его помягчевший взгляд. Как бы посмеялись они!..

После полудня стрельба усилилась до предела. Мимо монастыря всё чаще стали проходить войска. То и дело, забегали во двор потные и пыльные пехотинцы, просили напиться, пили жадно, не отрываясь. Проскакала на рысях конная батарея, задребежжали лазаретные линейки, потащились раненые.

"Забыли нас, что ли?" — томился Лихарев, так же как томились и его люди.

Уже далеко за полдень, прискакал возбужденный, запыхавшийся адъютант.

— Дмитрий Сергеевич! — крикнул он с седла. — Трогайся, голубчик, пора! Вон, туда за лес, к замку. Явишься полковнику!

Спешившись, он на минуту присел на скамью, вытирая пыльный лоб грязным платком.

— Диву даешься, — говорил он, — до чего хорошо французы дерутся. А, ведь, почти все новобранцы. Молодцы! Ну, да и наши спуска не дают! Ну, с Богом! Отправляйся!

Лихарев спрятал письмо в карман.

—По коням! — строго и торжественно скомандовал он. Гусары крестились, разбирая поводья.

...Монастырский двор мгновенно опустел. От чужой жизни остались только сор, пепел костра, рассыпанное зерно.

В черной сутане, отсчитывая четки, сухой, с орлиным носом и горящими глазами, вышел монах — настоятель монастыря. Пожевав беззубым ртом и покачав неодобрительно головой, распорядился. Сверкая тонзурами, монахи принялись чистить двор.

К вечеру, захлебываясь и заглушая звуки боя, зазвонил к вечерней мессе монастырский колокол.

Монастырская жизнь возобновляла свое привычное течение: монахи, потупя взоры, молчаливой черной чередой, выходили из келий. А в это время, тот самый корнет, что читал стишки про Алину, уже лежал в молодой траве с простреленной головой.

. . . .

Ясно и торжественно закатывалось солнце за голубоватые горы.

Эскадрон шагом возвращался на свой бивуак. Быстро темнело; бой затихал.

Люди устали, молчали. Фыркали истомленные лошади, звенели удила, стремена, сабли.

Лихарев, отдыхая, с наслаждеием дышал вечерней прохладой. Вспоминая только что бывшее, он в уме составлял донесение. Эскадрон два раза врубался во вражеское карре и успешно замедлял наступление французской пехоты. Она понесла большие потери. У нас же потери "ничтожные" — четверо убитых — в их числе корнет Трухин, жаль его, был молодец! — и девять раненых.

Эскадрон начал обгонять пехотную колонну. Пехотные солдаты шли растянуто, завалив ружья, кивера сдвинуты на затылки.

Высокий, белокурый офицер уверенно и строго распоряжался, наводил порядок.

—Неужто Пушешников? — вздрогнул Лихарев.

Однако, рассмотреть было немыслимо: гусары уже обогнали пехоту.

...На следующий день, рано утром, союзные войска начали отступление.

Лев вновь показал свои могучие когти...

3.

Действительно офицер, замеченный Лихаревым в отходящих пехотных рядах был Пушешников. Он участвовал в сражении у Люцена.

В самом начале этого сражения, едва ли не первой пулей, выпущенной неприятелем, был убит наповал, всеми нелюбимый, ротный командир Лисицин.

За минуту до этого, перед строем своей роты, готовой к бою, он суетился, кипел, бранился; резко оборвал Пушешникова.

И, вот, он уже лежал бездыханный, в странной позе, сжимая в мертвой руке эфес шпаги и уткнувшись лицом в пыльную землю.

Его власть над людьми, трепет их перед ним, скрытая ненависть, им возбуждаемая — всё вдруг сразу, куда-то делось, развеялось, как дым. Куда всё это ушло?

Впрочем, задумываться над тщетой всего человеческого — было некогда. Надо было вести роту в бой. Только мельком мог Пушешников взглянуть на труп убитого командира, забыв о нем мгновенно.

И потому, что он должен был думать о службе, о своей ответственности и о людях, ему порученных,

— ему некогда было бояться пуль и ядер, некогда было думать о себе.

Поэтому-то, за все время боя, он был твердым, решительным, расторопным и распорядительным.

Вскоре после этого, два дня подряд, 8 и 9 мая, пришлось вновь быть в бою: шло сражение у саксонкого городка Бауцена.

Дни эти — были нелегкие.

Опять ядра рыли землю, осыпая пылью и щебнем, опять тряслась земля под копытами бешенно летящей конницы, опять замирало сердце, когда синие ряды французов бросались в атаку с ружьями наперевес.

Лежали везде трупы, кричали и стонали раненые, валялись пробитые барабаны, измятые кивера, сломанные клинки и разбитые пушки.

Но, несмотря на леденящее сердце дыхание смерти, на человеческое страдание, на страх и ужас — боевое поле было прекрасно. Оно было залито ликующим солнцем, окружено цветущими лесами и рощами, окаймлено светлой полосой, играющей солнечными бликами, широкой реки Шпрее.

Солнце, зелень, холмы, на фоне которых белыми клубочками вспыхивали пушечные разрывы, воинственные звуки барабанов, пение кавалерийских труб, согласное и стройное движение людских масс в красочных мундирах — придавали бою чарующую живописность, ту самую, которая отличала старые батальные картины.

Всё это бодрило, рождало какой-то веселый боевой задор, необыкновенное боевое возбуждение...

Пушешникову, конечно, было страшно, но, вместе с тем, было и весело: он не чувствовал того уныния и подавленности, которые испытывал, например, покидая Смоленск, почти год тому назад.

Боевой пыл и задор владели им и тогда, когда нарядные баварские гусары, в голубых доломанах и меховых шапках, блистая клинками, — неслись неудержимо на его, ощетинившуюся штыками, роту, с замиранием сердца ожидающую его, Пушешникова, команду открыть огонь.

Как весело было наблюдать, когда нарядные всадники, после залпа, нестройно смешивались, рассыпались, а кони, потерявшие всадников, вольно мчались по боевому полю.

Боевой пыл владел им и тогда, когда он, с обнаженной шпагой в руке, спотыкаясь о трупы, бежал впереди солдат навстречу французам, уже ясно различая их лица, синие мундиры и красные кокарды.

В исступлении и в дикой радости, что было мочи, кричал он тогда: "Ура! вперед! молодцы!", и солдаты, заражаясь его восторгом, покрывали своим ревом звуки пушечных залпов.

Отогнав от русской батареи противника, Пушешников, потный, обессиленный, но бодрый и возбужденный, проходил мимо стрелявших вслед французам орудий.

У одного из них, у правого колеса, проверяя результаты выстрела, без сюртука, в одной рубашке и галстуке, стоял худощавый и ловкий Суханов.

— Суханов, Суханов! — закричал Пушешников.

Тот оглянулся, обрадовался, бросился к нему. Они обнялись.

— Вот где пришлось встретиться после Кенигсберга, — радостно говорил Пушешников. — Давно ли оттуда?

— Да, нет! Совсем недавно пришли сюда. Фрау Миллер шлет тебе поцелуй, — засмеялся Суханов. — Видел, видел, как ты молодецки отогнал французов. Молодец! Молодец!

Надо было бежать, расставаться. Приятное, радостное чувство от этой встречи не оставляло Пушешникова до конца боя.

. . . .

Бауценское сражение для союзников кончилось неудачей: они отступили опять.

Говорили потом, что Наполеон, пренебрегая опасностью, сам водил свои войска в бой и сам руководил преследованием неприятеля.

Однако, русская конница очень успешно сдерживала вражескую пехоту, замедляла ее движение, не давала захватывать трофеи. Почти все раненые были увезены с поля боя.

Лихарев принимал участие в этих блестящих делах русской конницы.

. . . .

23 мая противники заключили шестинедельное перемирие. Начались разговоры о мире. В Праге открылась мирная конференция.

Для войск началась легкая и приятная полоса боевого затишья.

Рота Пушешникова была расквартирована в небольшом, уютном местечке, расположенном на берегу речки, густо заросшем ивами и кустами.

Пушешникову отвели квартиру в, увитом плющем и виноградом, домике сельского учителя.

Это был маленький, худощавый человек, почтенный, аккуратный и педантичный, носивший маленькую старомодную треуголку и большие оловянные очки.

Он благоволил к Пушешникову за его приветливость, за любовь к порядку и, главное, за то, что тот часто сидел и читал книгу.

Старик любил поговорить о старине, потолковать о политике, причем, говоря о ней, всегда горячился и волновался.

Его очень огорчало то, что саксонский король, почтенный Фридрих-Август, которого он очень чтил, и портрет которого висел у него в доме — в решительные дни, боясь Наполеона, оставил для управления государством государственный комитет, а сам, забравши двести тысяч талеров и четыре миллиона ассигнациями, с двумя кирасирскими полками, уехал в Баварию.

...Стояли прекрасные летние, солнечные дни, с живительными ливнями и грозами.

По ночам в садах заливались соловьи и за цепью далеких гор блистали яркие зарницы.

По утрам, рано, когда солнце едва начинало пробиваться сквозь густую листву буйно цветущей липы

и еще нерешительно освещало веселую каморку, — Пушешников, бодрый и выспавшийся, подымался с громоздкой, старомодной, резного дерева кровати, постланной такими приятными, пахнущими какими-то травами, домотканными, сурового полотна, простынями.

Он распахивал низкое оконце, пересеченное переплетом рам и множеством позеленевших от времени, квадратных, толстых стекол.

В комнату тогда сильной струей, врывалось дыхание свежего утра, густые запахи липы, свежего сена, навоза, молока.

Кудахтали возбужденно куры, мычали коровы и из коровника доносился веселый и громкий смех хозяйских дочерей, могучих, краснощеких, всегда веселых.

Слышно было, как струйки молока звонко звенели в подойниках, как позвякивали колокольцами доящиеся, шоколадного цвета, коровы.

Потом, сестры несли, полные молоком, ведра, бойко переговаривались с работником, вилами подымавшим навоз, а то смотрели вверх на окно Пушешникова, смеялись и говорили громко, может быть для того, чтобы привлечь его внимание.

А он, украдкой из-за занавески, с волнением поглядывал на них.

Эти могучие, тугие руки, открытые высоко засученными рукавами, крутые бедра, румяные щеки и влажные, блестящие глаза, — влекли его к себе неодолимо.

Всё это — деревенское, здоровое, полнокровное

и первобытное, было как-то нераздельно слито и с веселым шумом летних ливней и гроз, и с запахом трав, цветов и сена, и с влажным дыханием только что вспаханной, еще курящейся легким паром земли, да и с острым запахом конюшень, хлевов и коровников.

Некоторое время, пока не прибыл вновь назначенный ротный командир, Пушешникову докучали всякие хозяйственные заботы по роте. Надо было заботиться о выпечке хлеба, о получении провианта, о пригонке нового обмундирования.

Рано являлся с докладом заслуженный фельдфебель Фомин, красуясь своими жесткими, как щетка, нафабренными усами, своими крестами, медалями и шевронами.

Он молодецки, по-уставному, сдергивал шапку, стоял вытянувшись, руки по швам, и докладывал.

Пушешников его немного стеснялся, но всё же умел держать себя по-начальнически.

— Вот что, Фомин, — говорил он — приказ есть. Слушай! "Как сближается время к жатве и обыватели здешние будут иметь нужду в сараях для складки хлеба, то если они заняты теперь войсками нашими, предписывается очистить их немедленно".

Фомин, хотя и удивлялся странному попечению начальства о немцах, но как старый служака, видавший всякие виды и знавший, что в рассуждения входить не следует, — говорил:

—Что ж, ваше благородие, теперь тепло и в палатке солдату не худо. Сараи освободим! Оно и лучше!

Неровен час ребята спалят, да с девками не будут так баловаться.

Упоминание о девках не было безразлично для Пушешникова.

Он часто тосковал и томился.

Порой, глядя, как на высокую луну наползают легкие тучки, туманя даль над рекой и лесом, — он, сидя под цветущей старой липой, предавался вспоминаниям о Гаше.

Он никак не мог забыть ее. Наоборот, чем дальше шло время, тем сильнее и упорнее воспоминания о ней занимали его воображение.

Вспоминал он о том как, бывало, она пела ему старые русские песни про любовь, про разлуку, про злую долю. Как она, задумавшись, глядела ему в глаза и говорила: "Сокол мой ясный! Уедешь, забудешь. А я-то век не забуду".

И тогда ему казалось, что он никогда не переставал любить Гашу.

...Самая младшая дочь сельского учителя, Луиза, в отличие от всех своих сестер, была некрасивая, вялая, с медленной походкой и с ленивыми движениями.

Очень бледное, пухлое лицо, окаймленное плохо причесанными, рыжеватыми волосами, было покрыто веснушками.

Но глаза ее, какие-то тусклые и неподвижные, таили в себе что-то влекущее, порочное, греховное. Такая же была и улыбка. На ее пухлых губах всегда змеилась какая-то странная, призывная усмешка.

Луиза как-то странно действовала на Пушешнико-

ва. Она тянула его к себе неодолимо.

В этом влечении к некрасивой, туповатой и странной девушке — было что-то глубоко стыдное. Пушешников стыдился своих мыслей о Луизе.

И, хотя он ни разу не обменялся с нею ни одним словом, он не упускал случая приблизиться к ней, пройти, почти касаясь, мимо нее. Она тогда опускала глаза, розовела и улыбалась своей странной улыбкой.

Чем дальше шло время, тем сильней и острей делалась его страсть. И когда он, сидя в своей каморке, вдруг слышал как шаркали ее шаги на ступеньках лестницы за его дверью, — он вскакивал, прислушивался, а потом, чуть приоткрыв дверь, жадно смотрел ей вслед, томясь и волнуясь.

Однажды утром отправился он удить рыбу.

От реки подымался легкий туман и таял невидимо в лучах раннего солнца.

Стая уток, оставляя за собой блестящую струю, проплыла и скрылась в прибрежных кустах.

Слышно было, как шлепались о воду лягушки, как вдалеке позвякивал колокол ближайшей колокольни.

Стало пригревать солнце. Пушешников, незаметно для себя, приятно задремал, выронив удочку.

Сквозь дрему слышались ему как будто чьи-то шаги, кто то, показалось, прошел недалеко, напевая песенку.

Потом, как в полусне, почудился ему всплеск воды поблизости.

Он открыл глаза, взглянул на реку, сквозь листву.

Недалеко от него, ступая по влажному песку и оставляя на нем след маленькой ступни, поеживаясь от

свежести, — выходила из воды Луиза.

Ее, редкой белизны, обнаженное тело влажно блестело. Солнце золотило ее рыжеватые волосы.

Остановившись, она стала выжимать свои мокрые косы; а, потом, подняв вверх руки и потянувшись всем телом, стала медленно, не спеша, одеваться.

Целый день Пушешников не находил покоя: золотисто-белое виденье настойчиво его преследовало.

. . . .

Луна заливала комнату, звонко трещали кузнечики, далеко за рекой звучала песня; было слышно, как где-то играла скрипка — это деревенская молодежь, возвращаясь с прогулки, расходились по домам.

"Пойду посижу к реке!" — решил Пушешников. Он надел фуражку, погасил свечу, открыл дверь на площадку лестницы.

В темном углу, в туманной лунной дымке, стояла Луиза. Она как будто его ждала; стояла, притаясь, молча.

— Луиза! — сказал он шопотом, приблизясь к ней вплотную и беря ее за руку.

Она не отнимала руки и от него не отстранялась.

Он знал, что делает нечто непозволительное, стыдное и даже опасное.

Но у него не было сил противиться всему тому властному и неодолимому, что было и в лунном, колдовском, свете, и в теплой неподвижности воздуха, и в пряном запахе липы, и в звуках далекой скрипки, и во всем том, что заставляло его, крепко сжимая без-

вольную руку Луизы, увлекать ее вглубь своей комнаты.

И вдруг скрипнула дверь.

Пушешников оглянулся.

Со свечой в руке, поблескивая стеклами, сдвинутых на кончик носа, очков, в халате и ночном колпаке — стоял старый учитель.

— Луиза! — сказал он строго. — Иди в свою комнату! А вам, господин офицер, — добавил он укоризненно — стыдно, очень стыдно!

Действительно, Пушешникову было жгуче стыдно. Не раздеваясь, он лег ничком на кровать, зарыв голову в подушку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1.

Больше Пушешников Луизу не видел.

Из домика сельского учителя, он перешел в деревенскую гостиницу "Белый Олень". Стояла она на очень бойком и людном месте: на перекрестке двух дорог, соединявших несколько городков.

Гостиница была забита народом, и ему отвели маленькую каморку под самой крышей. На ней, в большом гнезде, поджав одну ногу, высился неподвижный и важный аист.

Из окна виднелись: засеянные поля зреющей пшеницы, кудрявые рощицы, церковный шпиль, крыши соседней деревни, неподвижные облачка на горячем, бледном небе, да песчанный берег светлой, ленивой речки, сверкающей на солнце.

В жаркий полдень, слышались звонкие всплески, крик, визг и смех купающихся деревенских мальчишек.

Широкая, ровная, хорошо накатанная дорога была окаймлена старыми тенистыми каштанами.

В полуденный зной, по ней, подымая облачко пыли, то проскачет казак с донесением в штаб, то

промчится, мягко покачиваясь, коляска; мелькнет синий прусский мундир, генеральский плюмаж; протащатся с фуражом или провиантом фурштадские фуры.

А то, под командой усатого унтера, пройдет команда, старательно отбивая ногу в виду офицера.

Каждое утро — только, только взойдет солнце — тянутся повозки. Это крестьяне, в коротких штанах, в чулках, в тяжелых башмаках и в соломенных шляпах, попыхивая трубками, и их жены, дородные, краснощекие крестьянки в белых чепцах, — везут на рынок в ближайший городок крякающих уток, гогочущих гусей, кур, корзины овощей, яйца, крынки молока.

Это сочетание своего отечественного — солдаты, ржаной хлеб, гречневая каша, русские песни, вечерняя молитва — с иноземным, непривычным, часто удивляющим — рождает в уме разные сравнения и сопоставления, будоражит мысль, тревожит ее.

Надо сознаться, что наши русские мужики не такие упитанные, не такие аккуратные и чистые, как эти немцы, Те, и впрямь, "поселяне". А наши, в своих лаптях, в посконных рубахах, бородатые, по сравнению с ними, диковаты, — на "поселян" совсем непохожи!

"Хорошо живут, — думает о немцах Пушешников. — Получше наших, пожалуй!".

Он вздыхает, вспоминая разговоры и споры по этому поводу.

Видно, не ему одному приходят на ум такие сравнения, такие смущающие мысли. По поводу чужих и

отечественных порядков, в последнее время, стали часто и много говорить.

Пушешников любил, в обеденный час, спускаться из своей каморки вниз, в темноватую столовую; послушать о чем там говорили и толковали.

В столовой всегда людно — русские и прусские офицеры, проезжие помещики, купцы, горожане. Все много пьют, шумят, стараясь как можно приятней, полнее и лучше использовать быстро текущие дни перемирия, продленного до 29 июля.

Излюбленным же местом собраний русских офицеров были беседки в маленьком садике гостиницы: посыпанные песком дорожки, вьющиеся розы, гудение пчел.

Беседки всегда полны. Из кухни, где непрерывный стук ножей, где гремят кастрюли, и в окне, то и дело, появляется багровое лицо стряпухи, жаждущей охлаждения, — трактирный слуга, рыжий и плутоватый Ганс, не уставая, носит дымящиеся блюда, откупоривает пузатые бутылки старого вина, коим по-справедливости гордится "Белый олень".

Там же, часто всю ночь, идет карточная игра. Иногда уже занимается розовая заря, когда игроки бросают карты, пьют разгонную чарку и, поеживаясь от утренней свежести, спешат к лошадям, чтобы вовремя попасть в свои роты, батареи и эскадроны.

И вот, прислушиваясь к разговорам и спорам, которые непрерывно идут в гостинице, — Пушешников, к своему большому смущению, стал замечать, что не-

что новое, небывалое, стало вплетаться в офицерские речи.

Говорили теперь не только о полковых новостях, о дуэлях, о карточных проигрышах, о девицах и о прочих веселых и незатейливых делах.

Стали слышаться разсуждения о положении в России, стали хвалиться заграничные порядки и порицаться отечественные.

Еще вчера, какой-то драгун, громко, вовсе не стесняясь, кричал что-то о "вольности", о потребных переменах в образе правления, о закоснелости народа, о рабстве крестьян и о тяжелой доле солдата. Некоторые, при этом, ему даже поддакивали.

Пушешников же ни в чем не был согласен с драгунским капитаном; он кипел и злился, слушая его.

—Что за вздор! — возмущался он. — Разве все мы, мои дед, отец и я сам, не служили своему Государю? Разве мы не подчиняемся ему и начальству безпрекословно, готовые жертвовать ради отечества своим достоянием и даже жизнью? Так почему же крестьяне не должны служить господам, как служим мы Государю. И при чем здесь рабство?

Однако, в душе росла какая-то неуверенность в своей правоте; прежняя убежденность всё-же стала колебаться.

Стал призадумываться, стал припоминать, что самому пришлось увидеть.

Лисицин, например, недавно убитый ротной командир, озлобленный, жестокий, ненавидимый солдатами.

А "варварские и бесчеловечные наказания" в русской армии, о которых он читал в немецкой газете, в Мемеле, в кофейне?

— Глупости — всё это! — возражал он сам себе. —Палки, палки! А разве обойдешься без них? Разве нас самих не драли и дома и в корпусе?

В приказах и уставах говорится, что "частое пьянство, потеря или порча амуниции, ссора и нехорошее обхождение с хозяевами на квартирах, неточное исполнение приказаний младших офицеров и унтер-офицеров" — влечет за собой наказание палками — не свыше сорока — властью ротного командира.

"Что же, собственно, в этом несправедливого? Да, и какая в этом особая жестокость и бесчеловечность?" — убеждал он сам себя.

Да, наконец, правила одно, а жизнь другое; не все, ведь, такие, каким был тот же Лисицын.

А наши герои — генералы, блестящие, овеянные славой, заслужившие признательность России и благодарную память потомков: Багратион, Раевский, Дохтуров, Коновницын, Ермолов? Кто может обвинить их в жестоком обращении с солдатами, готовыми итти за ними в огонь и воду?

И его самого и его сверстников, молодых офицеров, особо восхищал Ермолов. Он пользовался в войсках не только широкой известностью, но и любовью.

Постоянно, с неизменным восхищением, вспоминали о том, как он, в бородинском сражении, лично

повел в бой первые, им встреченные войска, бросил их в атаку на батарею Раевского и выбил оттуда противника.

Он, бесстрашно стремившийся вперед, бросал — как рассказывали — перед бежавшими в атаку солдатами, георгиевские кресты, возбуждая в их сердцах благородное воинское соревнование.

Всё это, в самом деле, было высоко героично, рыцарственно, очень отвечало духу времени.

Его любили и за то, что он был природным русским, боровшимся с немцами, заполнившими армию, — он просился даже у Государя "в немцы".

Был доступен, не чванлив, в обращении с подчиненными и младшими прост и сердечен, хотя по службе и очень строг, требователен и очень скуп на награды.

Вскоре случилось так, что Пушешников, часто думавший об Ермолове, не только увидел его очень близко, на даже представился ему и с ним говорил.

Как-то утром, спустившись в трактирный зал на завтрак, на своем обычном месте, у окна, он застал, сидевшего генерала.

Тот, видимо, только что зашел и еще не снял своего серого плаща. Генеральская треуголка лежала рядом на столе; за дверью было слышно, как фыркали уставшие лошади, переговаривались казаки и молодой адъютант давал кому-то какие-то распоряжения.

Это был — Ермолов. Ошибиться было нельзя.

Богатырское сложение — высокий рост, могучая

грудь. Крупные черты лица; круглый, выдающийся подбородок с глубокой на нем ямкой; сдвинутые брови, проницательные, светящиеся умом и волей, серые глаза; шапка, зачесанных вверх, буйных кудрей.

— Вежливость — самая дешевая монета, но всегда в хорошем курсе — часто говаривал Ермолов. — Я поставил себе за правило не отдавать поклонов сидя. Я всегда встаю перед каждым прапорщиком.

Так поступил он и сейчас.

— Я, кажется, занял ваше место, — приветливо сказал он, указывая на стоявший перед ним прибор. — Прошу прощения, и прошу не отказать мне в удовольствии позавтракать вместе.

Трактирщик почувствовал в приезжем важную персону. Под его требовательным взглядом, Ганс, без малейшего замедления, носился от стола в кухню и обратно, бегал за вином в погреб, стучал ножами и вилками, звякал стаканами.

Приглашение Ермолова было крайне лестно для Пушешникова. Оно его и смутило и взволновало. Но, так как у него уже был некоторый опыт в обращении с высшим начальством, он скоро оправился и уже не терялся, отвечая на генеральские вопросы.

С напряженно-почтительным вниманием, боясь проронить слово, слушал Пушешников Ермолова.

Он всячески старался закрепить в памяти все подробности этой счастливой и необыкновенной встречи.

Старался запомнить все слова, все быстрые изменения необыкновенно выразительных глаз Ермо-

лова, малейшие черточки его щегольски-молодецкого обличья.

Белый крест на шее, золото мундирного шитья, белые лосины, блестящие ботфорты, золотая шпага, весело звенящие шпоры, — всё это, в сочетании с бодрым и сияющим летним утром, с золотыми солнечными лучами, заливавшими трактирный зал — создавало в его душе необыкновенно праздничное, радостное и бодрое ощущение силы и радости жизни.

Разговор зашел о последнем сражении у Бауцена.

Узнав, что и Пушешников принимал в нем участие, Ермолов стал хвалить его полк и русскую пехоут вообще, показавшую себя, — как сказал он, — с самой лучшей стороны.

Кстати, вспомнив о своем первом сражении и о том, как ему приходилось приучать себя к самообладанию и не показывать страха, он сказал:

— Я всегда поступал с собой так: за волосы и об землю!

Эти меткие слова очень понравились Пушешникову.

Ермолов не был смущен неудачами последних сражений.

— Всё равно, — говорил он уверенно. — Наполеон будет окончательно сломлен и, конечно, нами, русскими! Мы можем гордиться собой: Россия показала себя выше всех наций! Всегда неразлучно со мной чувство, что я россиянин! — закончил он и его серые глаза блеснули огненно.

"Настоящий лев!" — восхищенно подумал Пушешников, любуясь лицом Ермолова, выразительным, отважным, умным.

К сожалению, беседа не могла длиться долго: видно было, что генерал спешил.

— Лошади отдохнули! — доложил адъютант. — Прикажете собираться? — Он еще что-то сказал Ермолову вполголоса.

— Нет! — строго ответил тот, — в правилах моих нет снисхождения к нерадивым!

Приветливо попрощавшись с Пушешниковым, — он ему, видно, понравился — и, щедро расплатившись с низко сгибающимся трактирщиком, Ермолов вышел на крыльцо и легко и ловко сел в седло.

Оставшись один в пустом зале — было еще рано и никого не было, — Пушешников с удовольствием думал о всех подробностях этой короткой встречи.

Ермолов поразил его воображение. Необыкновенно ярко и выразительно воплощал он собой ту самую поэзию военной грозы, которая издавна чаровала и его самого и всех его сверстников.

" Конечно, — размышлял Пушешников, — Ермолов очень любит и власть и честь. Но к ним идет он не путем пресмыкательства, а прямо и независимо. В этом, видно, тайна его обаяния".

Когда-то Клаузевиц говорил ему: "Есть низкий и пошлый вид честолюбия, стремящегося к тому, что бы только увеличить свою личную власть и богатство. Таких честолюбцев — очень много. Но удел ве-

ликих душ — благородное честолюбие, направленное к великим целям!"

Эти слова вспомнились Пушешникову сейчас.

— Честолюбие Ермолова — благородное и возвышенное! — Оно имеет целью славу России. А, как хорошо сказал он: "Всегда неразлучно со мною чувство, что я россиянин!"

Сам Пушешников, в эту минуту, остро чувствовал гордость тем, что и он тоже россиянин!

2.

Гостиница "Белый олень" особо стала славиться и особо полюбилась военной молодежи с той поры, когда там стала появляться какая-то странная пара странствующих музыкантов.

Конечно, общее внимание и любопытство привлекал не пожилой, хмурый мужчина, с унылыми, висячими усами, одетый в какой-то пестрый, сильно поношенный, костюм. Он проделывал довольно искусно разные непритязательные фокусы: глотал горящую паклю, извлекал из ушей и носов зрителей золотые, а из своей шляпы живых цыплят. Всё это большого интереса не вызывало.

Но, когда он брал в рука свою скрипку и взглядом призывал свою спутницу, красивую, черноволосую женщину — не то свою жену, не то дочь — и она

начинала петь, всё сразу, как по волшебству, менялось.

Пела она что-то малопонятное, на каком-то странном и незнакомом языке. Однако слова не имели значения.

Самый звук густого и очень низкого голоса — производил необыкновенное действие на слушателей.

В нем, в этом звуке, казалось было нечто особое, тайное, уводящее мысль в какие-то темные, запретные, загадочные пределы.

Какие-то страстные зовы, жалобы, мрачные укоры и проклятия, какие-то призрачные, смутные воспоминания о чем-то далеком, давно, давно ушедшем — рождались и тревожили сердце, во время этого странного, ни на что не похожего, пения.

И когда красавица пела, тогда, не отрывая от нее, темнеющих от скрытого волнения и страсти, глаз, молодые офицеры жадно следили за каждым ее движением, за каждым жестом, исполненным какой-то первобытной, животной грации.

Она напоминала не то львицу, не то пантеру — сухая, мускулистая, подобранная, — маленькая грудь, узкие бедра, изящная ступня.

Иногда же, потрясая над головой звенящим бубном, она пускалась в пляс.

Тогда кругом всё замирало, и все глаза напряженно следили за ней.

Всё молчало, для того, чтобы, через мгновение, разразиться криками, взрывом рукоплесканий, топотом ног, бешенным ревом.

Опустив глаза, дробно стуча каблуками, она неслась, как вихрь, развевая свои яркие юбки.

К ногам ее сыпались золотые и серебрянные монеты. Она же, как будто их не замечала, попирала их ногами. Сидела, отдыхая, равнодушная, безучастная, холодная и недоступная.

Она точно не замечала возбуждаемых ею восторгов, точно она, эта безвестная и бродячая певица и плясунья, — едва, едва, снисходила к восторгам этих богатых и знатных молодых людей.

Бывало, какой-нибудь разгоряченный, ловкий красавец, в нарядном мундире, склонялся к ее уху, что-то шептал, звенел червонцами. А она только удивленно и презрительно поднимала глаза и брови, усмехалась, отрицательно трясла головой.

Кто была она: еврейка, цыганка, венгерка? Откуда родом? В каких отношениях она со своими спутником? Где они обитали? Никто не знал.

Слухи множились, росла молва. К великой радости толстого трактирщика, с каждым днем всё больше народа собиралось в его заведении; всё больше тратилось в нем денег, всё больше требовалось вина, пива, снеди, овса, сена.

Конечно Пушешников тоже не избежал общего увлечения неведомой красавицей.

По гулу голосов, по взрывам рукоплесканий, по топоту и гомону, несшимся снизу, — он угадывал, что бродячая пара уже появилась, и, что уже съехались поклонники загадочной женщины.

Тогда он торопливо сбегал по крутой лестнице, присаживался где-нибудь в углу и жадно смотрел на красавицу.

Так же точно смотрели на нее другие, и так же точно, как и Пушешников, ревниво и враждебно оглядывали друг друга.

Она никому не оказывала не только предпочтения, но даже маломальского внимания, и всё же какое-то душное облако ревности и зависти как бы обволакивало ее.

Стали вспыхивать ссоры, портиться давние дружеские чувства; незримо зрело глухое соперничество.

...Был очень жаркий и очень душный предвечерний час. Где-то очень далеко погромыхивал гром, на западе клубились тучи.

Грозы еще не было, но она нависала, и ее освежающего и живительного дыхания жадно ожидала, утомленная долгим зноем земля.

В саду, на площадке, усыпанной рыжим песком, окруженная, как всегда, тесным кольцом поклонников, — стояла чародейка-певунья.

Белая роза украшала ее волосы; яркая шаль, была перекинута через плечо, чуть позвякивал бубен в ее опущенной руке.

Запела она разгульную, полную дикой удали, песню. Грудные, низкие ноты сменялись вдруг резкими вскриками, почти визгом.

Скрипка едва поспевала за всё ускоряющимся темпом песни; смычек плясал бешенно по струнам,

извлекая из них какой-то вихрь неправдоподобных звуков.

Такое пенье таило в себе для русских необыкновенное обаяние, и имела трудно объяснимую власть над ними.

С тех самых пор, когда бесшабашный удалец и гуляка, Алексей Орлов, в ранние екатерининские дни, ввел в русскую жизнь цыган, они сделались главным утешением, радостью и даже страстью российского дворянства.

Трудно было объяснить почему это, самый спокойный и мирный российский обыватель, какой-нибудь вялый и ленивый степной помещик, привыкший после обеда, с потухшим чубуком в руке, дремать в покойном дедовском кресле, вдруг совершенно преображался, попадая в цыганский табор.

Он забывал там и свою располневшую жену, и детей, и старосту, и весь размеренный уклад своей скучноватой жизни, зажигался, сознавая, неожиданно для самого себя, что до сей поры он жил совсем не так, как ему хотелось бы, что в жизни его нет ничего стоящего, что всё "трын-трава", всё пустое, кроме того, что слышится в глухих зовах цыганской песни и того, что огнем горит в черных и жгучих глазах сухих, подбористых, черноволосых цыганок.

Искоса оглядывал Пушешников своих притихших соседей.

В их потемневших глазах, чудилось ему, что-то темное, грозовое, напряженное, готовое каждый миг

разрядиться чем-то безудержным, удалым, безразсудным.

И только тогда, когда песня завершилась какой-то высокой, щемяще острой нотой и, обессиленная певунья, опустив глаза, села на скамью, — развеялось общее наваждение. Все ожили, зашумели, заволновались, встали, заговорили оживленно и громко.

В этой взволнованной толпе, Пушешников вдруг увидел Лихарева.

Такой же картинный и красивый, как и раньше, — может быть только чуть-чуть постаревший, — покусывая свой ус, он сидел в сторонке, поглядывал на цыганку.

Они обнялись, расцеловались дружески но показалось, что Лихарев не так обрадовался встрече, как можно было ожидать. Что-то принужденное, связанное было в его словах, в обхождении, в голосе.

Нет, — это не тот Лихарев, что был раньше, не тот громогласный, беспечный весельчак, шумливый, непосредственный, что оживлял недавно весь лазарет в Костроме. Что-то изменилось в нем, — удивлялся Пушешников.

Подали вина. Заговорили о недавных боях, о пережитом после разлуки.

С увлечением рассказывал Пушешников о службе в штабе Дибича, о Клаузевице, об Иорке, о немцах, об Ермолове.

Все это было очень занятно и не совсем обычно: Лихарев слушал с явным интересом, но сам помалкивал, говорил мало, неохотно.

— Ну, а ты как?—спохватился Пушешников, заметив, что его собеседник больше слушает, чем гово рит.

— Давно ли из Костромы? Что лазаретные товарищи, безногий капитан, лазаретный лекарь?

В это время, кругом зашумели. Опять зазвенел бубен, запела скрипка. Опять, не глядя на окружающих, начала красавица свою бешенную пляску.

Все обернулись к ней. Разговор прервался.

Не отрываясь, и Пушешников, и Лихарев, да и все кругом, боясь упустить малейшее движение, взгляд, поворот головы, жест, — следили за гибкими движениями плясуньи. Она влекла к себе, кружила головы. Что-то в посадке головы, в гибкости движений, в какой-то гордой надменности красавицы — напоминало Пушешникову Гашу.

Смеркалось, надвигались грозовые тучи, голубой стрелой сверкнула над крышей молния, крупные капли веселого ливня зашумели по листьям. Все бросились в дом.

У открытого окна продолжали они свою беседу. Тянули вино, дымили трубками. Оба были притихшие, задумчивые.

— А, правда, ведь, хороша? Прелесть, как хороша! — говорил Пушешников. — Не часто такая встретится. И знаешь, на кого она похожа?

—На кого ж? — спросил Лихарев.

Он с беспокойством покосился на Пушешникова. О ком тот может думать? Ведь, общих знакомых в Костроме у них не было.

— Помнишь, в Костроме — продолжал Пушешников, и Лихарев насторожился. — была такая солдатка Агафья. Тоже была красавица! Может быть ты ее встречал... Ведь на нее похожа эта цыганка...

Лихарев промолчал. Было слышно, как за окном шумит дождь, как где-то далеко ворчит гром.

— Встречал, встречал, — цедя слова промычал Лихарев. Замолчал опять. — Однако, знай, — сказал он решительно — нет больше Агафьи!

— Как нет? Неужто умерла!?

— Нет, не умерла! А всё же — нет ее больше! Нет больше Агафьи... Запомни! А, есть Агафья Тихоновна Лихарева — жена моя!!

— Жена?..

Пушешников совершенно растерялся, неловко, принужденно молчал, не глядя на Лихарева.

— Да, жена! — повторил зло Лихарев.

Он побледнел, рука, раскуривавшая трубку, дрожала.

— А вам, — продолжал он, переходя вдруг на "вы", советую забыть всё, всё — подчеркнул он.

Молчать было невозможно и говорить было не о чем. Лихарев встал, допил вино.

— Ну, дождь прошел. Я еду! — сказал он принужденно.

"А чем, собственно, я виновен перед ним?" — размышлял Пушешников, смотря в окно, как Лихарев, не оборачиваясь, садился на коня и, пустив его крупной рысью, поскакал по мокрой дороге.

Вероятно, и он сам чувствовал бы к своему не-

ожиданному сопернику такое же раздражение, неприязнь и даже враждебность, которые сейчас обнаружил Лихарев.

Надо было признаться самому себе и в том, что сейчас он сам, узнав такую необыкновенную новость, не зная почему, почувствовал к Лихареву нечто похожее на ревность.

Он-то сам давно решил, что больше никогда не увидит Гашу. Ему, собственно, надо было бы радоваться тому, что ее судьба сложилась так счастливо и так необыкновенно.

И, всё же, какая-то странная печаль, какое-то горькое сожаление о бывшем — владели им, когда он задумчиво смотрел в окно на то, как ныряла луна в набегавших на нее, разорванных тучах.

Неясная, летучая мечта, которая до сей поры даже неведомо для него самого, утешала и лелеяла его только что улетела и развеялась навсегда!

В поведении Лихарева, в его словах, в самом звуке его голоса — было что-то неприятное, сухое, злобное. Кто знает, может быть он и ссору захочет затеять. Это было бы уже совсем глупо! Я-то причем, чем виноват?

Ложась спать и потушив свечу, он вспоминал, как в своих письмах матушка предостерегала его от "прелестниц".

"Да! — думал он, беспокойно ворочаясь в постели, — матушка, конечно, права! От этих "прелестниц" — только одни беды!.. Но как избежать их, как противиться их влекущей силе?

Сейчас же, в его воображении возникли дразнящие движения пляшущей цыганки, ее сухие, сжатые губы, ее опущенные глаза, мерцающие скрытой страстью.

И всё это сливалось в его мыслях с только что разбужденными воспоминаниями о, навсегда им потерянной, Гаше.

3.

"Известно и ведомо да будет каждому, что Мы Ивана Пушешникова, который нам прапорщиком служил, за оказанную его в службе Нашей ревность и прилежание в Наши подпоручики тысяча восемьсот тринадцатого года апреля седьмого дня Всемилостивейше пожаловали и учредили..."

Дальше повелевалось всем верноподданным, его, Ивана Пушешникова, "за Нашего подпоручика признавать и почитать" и выражалась надежда на то, что он, со своей стороны, "так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму офицеру надлежит".

Именно это выражение высочайшей на него надежды производило на Пушешникова самое сильное действие.

"Да! — размышлял он, перечитывая еще раз полученный им патент на чин подпоручика. "Я должен быть верным и добрым офицером и, всегда им буду!

Все эти толки о "вольности", о республике, о всем другом, о чем пришлось немало слушать — вздор, измена присяге! Государь знает, что надо делать. Он обо всем думает, а наше дело служить и слушаться!".

Он сел за стол около окна, чтобы написать матушке в деревню о высочайшей милости.

Утро было прекрасное. После дождя и грозы было прохладно, дышалось легко. Во дворе синели лужи, кусты малины и крыжовника сверкали алмазными каплями.

В самом приятном и бодром расположении духа, Пушешников вынул из шкатулки походную чернильницу, медную песочницу, стопку голубоватой бумаги, старательно очинил гусиное перо.

Он живо представил себе, как его письмо, пройдя чужия земли, проделав сотни верст пути по русским дорогам, попадет, наконец, в Белёв, как там старый почтмейстер, известный ему с детских лет, в раздумьи повертит его в руках, нюхнет из табакерки, поставит какую-то печать и отдавая его в руки посланному за почтой старосте Акиму, скажет значительно:

— Кланяйся барыне, и отдай ей вот это письмо... Смотри, не потеряй: оно из чужих краев, от молодого барина, Ивана Алексеевича!

— Не извольте беспокоиться, ваше благородие!— чуть небрежно скажет Аким.

К Рождеству и к Пасхе, каждый год, он возит от барыни почтмейстеру всякую деревенскую живность. А потому, к нему, как и к другим уездным чиновникам, относится немного свысока.

Верно и Аким, возвращаясь, в своей ладной телеге, по "холодку", домой, и, переправляясь через Оку, сверкающую веселыми солнечными бликами, — вперемежку со своими домашними мыслями, будет думать и о нем, и о тех заморских краях, которые, наверно, представляются ему чудесными и необыкновенными.

Мать, конечно, очень взволнуется, получив письмо, созовет сестер, немного помедлит, прежде чем решится его распечатать.

— Сонечка! — скажет она сестре, — позови-ка и Михайловну, пускай и она послушает, что пишет Ванечка.

Михайловна — старая нянька, явившись к барыне, сразу же, еще до чтения письма, станет всхлипывать и утирать кончиком повойника свои старые глаза.

А какие восклицания, слезы, ахи и охи раздадутся, когда станет известно, что Ванечка произведен в подпоручики. Сколько будет разговоров в гостинных усадьб и за вечерними чаепитиями на балконах.

Верно, и Оленька Шамшина, узнав эту новость, вспыхнет как маков цвет, всплеснет руками.

"Вернусь домой, женюсь на ней — решил Пушешников. — Довольно дурачиться!".

За письмом, с такими мыслями, застал его неожиданно приехавший верхом, Лихарев.

Он был сумрачен, невесел и бледен.

Спустились вниз, заказали обед. Трактирщик засуетился, угадывая в Лихареве щедрого барина. Самолично принес бутылку старого вина, коим очень

гордился, осторожно, с некоторым благоговением, раскупорил ее, разлил по бокалам густую, отливавшуюся рубином, пахучую жидкость.

Старое вино успокаивало, веселило.

Пушешников настраивался благодушно, дружественно и к Лихареву, и к сидевшим невдалеке, завтракавшим офицерам, и к трактирному слуге, и, вообще, ко всему этому приятному миру.

Приятна была эта темноватая, прохладная зала, ее окна заросшие диким виноградом, — листья его ярко зеленели на горячем солнце. Приятные были эти обыденные звуки, доносившиеся со двора, кудахтанье кур, скрип колодезного колеса, голоса работников, складывавших на сеновал свежее, пахучее сено, запах его, любимый с детства.

Милая и мирная обыденность, простой, давно налаженный патриархальный строй жизни — окружали, ласкали, баюкали.

"Верно, мне показалось, что Лихарев переменился, стал другим, затаил ко мне недоброе чувство. Нет, он все такой же: благодушный, дружественный, простой, добрый малый!"

Однако, это было не так.

Лихарев был явно чем-то встревожен, обеспокоен, как будто какая-то мысль занимала и тяготила его.

Он потребовал еще одну бутылку вина, задымил трубкой, примолк.

Некоторое время длилось молчание. Пушешников не замечал его томительности, безпечно отдаваясь легким послеобеденным мыслям.

— Иван Алексеевич! — вдруг решительно сказал Лихарев, тяжелым взглядом прямо смотря на Пушешникова.

Пушешников встрепенулся.

— А я, ведь, — продолжал Лихарев, — привез пистолеты... Стреляться сейчас будем!..

Пушешников сразу не понял:

— Что ты говоришь? Как стреляться? Зачем?

— Зачем? Сам знаешь зачем! А может быть, ты предпочитаешь пистолетам саблю? — сказал он со злой усмешкой. — Ведь, поединок на пистолетах — вещь случайная. Храбрости и других высоких качеств души при пистолетах — обнаружить трудно. То ли дело сабля! Все зависит не от случая, а от ловкости и присутствия духа.

Говорил он насмешливо, как бы потешаясь над собеседником, над его недоумением, растерянностью и смущением.

— Отправимся сейчас же в рощу и сразимся, — сказал Лихарев, поднимаясь. — Пистолеты готовы! О сабле же я говорил шутя!..

— Но, как же секунданты? — растерянно спросил Пушешников.

— Секунданты? Зачем вовлекать других в наше личное дело? Не надо секундантов. Закон строг: они отвечают одинаково с дуэлянтами.

Что можно было сделать, что сказать?

Пушешников твердо знал одно, с детства усвоил, что от вызова дворянин отказываться не может под страхом прослыть трусом, презренным человеком.

В деревенской гостиной у них, висел портрет старшего брата дедушки, изображенного в светло-зеленом мундире с алыми отворотами и с серебряным аксельбантом у правого плеча.

С большим любопытством слушал, бывало, Пушешников о том, что дедушка этот, еще при царице Елизавете Петровне, "проткнул" шпагой на дуэли одного семеновца из-за какой-то любовной истории.

Помнил он и множество других дуэльных историй, о которых с большим жаром толковали в мужских собраниях.

Да, и теперь, постоянно приходится слышать о дуэлях, хотя они и карались — особенно во время войны — исключительно строго. Однако, до сих пор, всё это, при всей своей занимательности и романтичности, не касалось его, всё это — для него имело отвлеченный и далекий от него смысл.

И вдруг, теперь, вовсе неожиданно, под самым обычным, мирным, летним небом, он идет по тропинке, вслед за Лихаревым, в рощу, где так мирно, равнодушно и спокойно, как будто ничего не произошло, как будто ничего не случилось, щебечут птицы, трещат кузнечики, жужжат мухи.

Он вспомнил, что там, в каморке, на столе, у открытого окна, лежит недописанное письмо домой, к матери.

Ему стало не по себе; стало жалко и ее, и себя и эти облачка, и солнце, и беленькие цветочки, что

он мял, идя по еще нескошенной траве.

Лихарев положил пистолеты на траву, покрыл их своим мундиром.

— Выбирайте, — сухо сказал он. — Я отсчитаю двенадцать шагов!

— Дмитрий Сергеевич! Послушайте! По какому поводу затеяли мы эту нелепую дуэль? Бросим пистолеты, подадим друг другу руки!.. Разойдемся мирно. Я, ведь, вас ничем не оскорбил, не обидел...

— Об этом не может быть речи! Мы противники. Почему? Сами знаете!.. Никакие объяснения неуместны. Либо я, либо вы!

Пушешников поднял пистолет, прицелился. Перед ним, в нескольких шагах, освещенный горячим солнцем, в белоснежной рубахе с растегнутым воротом, обнажавшим волосатую грудь, — стоял Лихарев, бледный, злой, решительный.

— Убьет, наверно! — мелькнула мысль. Пушешников опустил пистолет.

— Нет, не могу!... Увольте!.. Стрелять не буду — крикнул он.

— Стреляйте!... Стреляйте же! Я жду!.. Ну же!

Два выстрела грянули одновременно. Пушешников пошатнулся и, медленно оседая, упал недвижимо.

Лихарев подбежал. Пачкая руки в крови, он пытался приподнять обмякшее тело Пушешникова.

Задорно и звонко в кустах кричала птица; муравей деловито обходил стебли травы, забрызганной кровью.

Со всей ясностью почувствовал Лихарев весь ужас и всю непоправимость случившегося.

. . . .

Он вбежал в зал гостиницы. Там уже было немало народа.

— Что с вами? Где ваш мундир?...

— Помогите мне перенести тело прапорщика Пушешникова. Я только что убил его на дуэли.

Он обезсиленно опустился на стул, положил руки на стол и спрятал в них свою кудрявую голову.

Она чуть вздрагивала от сдерживаемых рыданий.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1.

Жуковский вернулся домой.

Всё там по старому.

Тот же письменный стол, те же знакомые тетради с набросками стихов, как будто только вчера писанными, почти неразрезанная книжка "Вестника Европы"; синий халат на крючке у кровати; яркие полосы солнца, упорно пробивающиеся сквозь спущенные гардины; привычные, неизменные звуки за окном, птичий гомон, кудахтанье, бормотание индюка...

Прямо удивительно, как быстро улетучилось из памяти совсем недавнее!

Как будто не было бесконечных снежных полей, серосвинцового неба, страшных окоченелых трупов, торчащих из под снега скрюченных рук, обломанных колес, брошенных пушек.

Как будто, на пути к Вильне, он и не видел разбитую коляску, труп женщины в ней, с мертвенно желтым лицом, с пустыми глазами, судорожно сжимающей в своих объятиях мертвую девочку в голубом капоре.

Жизнь точно шла мимо него, его не задевая. Таково было свойство его души: проходить мимо, не

замечать всё страшное, неприятное, да и просто безразличное.

Вот, взять хотя бы впечатления ранней юности. О них он почти и не вспоминает.

Помнит только свои мечты, размышления, думы. А как он служил в Нарвском пехотном полку в Финляндии, в Кексгольмской крепости — он ясно и не представляет себе.

Самым ярким воспоминанием той поры было то, что однажды, когда он шел с разводом по подъемному мосту, ветер сорвал с него шляпу и она поплыла по воде.

Этот случай, пожалуй, произвел на него тогда большее впечатление, нежели лицезрение великой императрицы, в Петербурге, на великолепном празднестве в честь светлейшаго, или приезд в Кексгольм несравненного графа Суворова, встреченного пушечной пальбой со всех крепостных бастионов.

Впрочем, он никогда не рвался к бурной, безпокойной жизни, к славе, к пороховому дыму, к подвигам. Пышное, торжественное, героическое не влекло его к себе; просто не занимало.

Совсем иное — это свое, интимное, домашнее.

В Благородном Пансионе, бывало, между друзьями велись горячие разговоры и споры о будущем, о всяких героических делах, о чести и о славе. Кипели и горячились товарищи, особенно пылкий, с мужественной душой и горячим сердцем, Александр Тургенев.

Ласково смеясь, он бывало подтрунивал над Васенькой Жуковским, не хотевшим никаких подвигов,

приключений, никакой жизненной борьбы, а мечтавшим о спокойной и невинной жизни.

"Чтение, садоводство, и — если бы дал Бог — общество вернаго друга или верной жены — будет мне отдохновением", — говаривал он, не смущаясь улыбками товарищей.

Так оно и вышло. Ничего героического, мятежнаго, бурнаго в его судьбе не было. Жизнь пошла тихо, покойно, даже в какой-то дреме, в туманных мечтах и размышлениях о том, что надо возвысить, образовать свою душу и сделать всё, что возможно для других, для близких.

Иногда ему казалось, что такие туманные мечты уводят его от настоящего дела, от жизни, развивают в нем ту лень, с которой он всячески, но не всегда успешно, старался бороться.

"Постоянство и твердость могут быть достигнуты лишь тогда, когда всё наше время будет распределено так же точно, как в монастыре" — доказывал он. "Этому правилу я стараюсь следовать со всей точностью трудолюбивого немца. Часы мои разделены. Для каждого есть особенное непременное занятие".

Но, на деле, оказывалось иначе: лень, мечтательность, уныние, апатия — подтачивали часто его твердость, колебали трудолюбие, разрушали планы.

"Да и к чему всё это? — думал он в минуты уныния, — когда жизнь, собственно, не удалась, когда все надежды на спокойную и невинную жизнь — не сбылись, когда Маша никогда не станет моей!".

В Муратове он был встречен недоброжелательно, холодно, даже надменно. Не помогли, следовательно,

ни военные заслуги, хотя и скромные, ни литературная слава, принесенная "Певцом в стане русских воинов", ни благоволение Двора.

Под старой липой, у нестерпимо сверкающего на жарком солнце пруда — варится клубничное варенье. Порой всплеск прыгнувшей в воду лягушки; сверканье голубых стрекоз; ласточки, касающиеся крылом водной глади.

В медном тазу на чугунной жаровне — от нее еще жарче — кипит и булькает пахучая, розовая масса. Над тарелкой со снятыми пенками — кружатся осы.

Екатерина Афанасьевна в просторной блузе, в чепце, озабоченно наблюдает за кипящей жидкостью; тыльной частью руки вытирает пот.

В воздухе знойно, неподвижно.

Базиль читает вслух, лениво, без подъема. Иногда исподлобья взглянет на сестру, суровую, величественную, непреклонную.

"Нет! — думает он раздраженно — не найду, конечно, здесь христианской любви, пощады, кротости... Одно холодное жестокосердие, непоколебимое суеверие — смотрят из этих глаз."

Отводит глаза, искоса смотрит на Машу.

Как она прелестна в этом холстинковом платье, в этой шляпе с широкими полями, затеняющими голубой дымкой ее кроткие, невинные глаза! Капельки пота на носу, веснушки, рыжеватые завитки волос, вьющиеся из-под шляпы! Как все это безконечно мило, дорого, трогательно!

Нет! Не безплотный ангел, не отвлеченное и холодное олицетворение добродетели и невинности —

нужны ему! А нужна ему она, именно такая, простая, живая, с веснушками, с капельками пота, со всей ее слабостью, со всем ее непередаваемым девичьим очарованием.

Нужно, чтобы она всегда была с ним, чтобы она сидела рядом, на балконе, в гостиной, за чайным столом, — словом всегда и везде. Чтобы она смеялась, говорила самые простые, незамысловатые слова, толковала о всяком домашнем вздоре, чтобы она даже ссорилась и мирилась с ним. А звезды, мечты, вздохи, самоотречение, бесплотная дружба — всё это искусственно, нежизненно, ложно!

Недавно, в минуты уныния и примиренности с судьбой, он писал Маше: "... для меня теперь одно занятие. И это занятие будет троякое: читать — со бирать хорошие мысли и чувства; писать для славы и для пользы; делать всё то добро, которое будет в моей власти. Милый ангел, еще жить можно! Хорошо мыслить и чувствовать не есть ли быть всегда с моей Машей, становиться для нее лучшим? О! Я это часто, часто испытывал: при всякой высокой мысли, при всяком высоком чувстве, воспоминание о тебе оживает в моем сердце! Я становлюсь как-будто с тобой знакомее и дружнее. Где же разлука? Разве не от меня зависит всегда быть с тобою вместе? Слава имеет теперь для меня необыкновенную прелесть — какой может быть не имела прежде. Ты будешь обо мне слышать! Честь моего имени, купленная ценою чистою, будет принадлежать тебе! Ты будешь радоваться ею, и обещаю возвысить твое имя. Эта надежда меня радует. Приобрести общее уважение для меня

теперь дорого. О! как мне сладко думать, что сердце твое будет трогаться тем уважением, которое будут мне показывать...“

Вспоминая эти слова, он понимает сейчас, как они высокопарны, надуманны, противны природе. Просто — вздор!

Запыхавшись, прибегает босоногая, шустрая девчонка, Марфуша.

— Барыня! Купец из Болхова приехал лес торговать. В лакейской ждет. Пожалуйте!

Екатерина Афанасьевна облизывает сладкие пальцы, отдает ложку Маше.

— Смотри, не перевари! Будь внимательна!.. — Уходит, позвякивая ключами.

Звенят кузнечики, жужжат пчелы, мухи. Зной, тишина, сладкий аромат цветущего жасмина. Молчание. Да и о чем говорить, когда всё сказано, всё понятно...

— Маша! Ангел мой! — взволнованно шепчет Жуковский. — Тебя любить одна мне радость... Ты сердца жизнь! Ты жизни сладость!.. Люблю тебя, дышу тобой!

— Не надо, не надо, Васенька! Ради Бога не говори так! Маменька огорчится! — Глаза ее наливаются слезами.

Она твердо стоит на том, что ей успел внушить сам Жуковский. Она помирилась с тем, что они не будут никогда вместе.

Разве не он сам внушил ей нелепую мысль о том, что хорошо мыслить и чувствовать, это то же самое, что быть вместе? И она, в ответ на эти рассуждения,

писала: "Цель моя есть делаться лучше и достойнее тебя. Это разве не то же, что жить вместе?"

Да, это он сам внушил ей эти, хотя и возвышенные, но нелепые мысли!

Зачем он это сделал? Сделал по своей душевной вялости, по душевной лености, по восточному фатализму, которые он презирал в себе и с которыми напрасно боролся.

— Ах, эта маменька, маменька! — со злобой говорит он, бросая, с раздражением, книгу.

С тоской, с отчаянием, глядит он на всё это радостное, солнечное, сияющее, благодатное, что дарит щедрое русское лето.

Маша беззвучно плачет.

Екатерина Афанасьевна возвращается удовлетворенная: с купцом сторговалась успешно. Подозрительно смотрит на заплаканные глаза Маши, на сумрачного Васеньку. Говорит:

— А, варенье пригорело-таки! Говорила, ведь, смотри! Видно, голова не тем была занята!

— Да, новость есть! Купец рассказывал, — вспоминает она, успокоившись. — Ты Базиль, кажется, знаешь молодого Пушешникова. Так, вот, он — говорят — стрелялся с каким-то гусаром, из-за цыганки. Едва жив остался. Неизвестно еще, выходят ли его.

. . . .

Возвращаясь домой по затихающим полям, Жуковский вспоминал Пушешникова. Вспоминал занесенную снегом церковную сторожку, ночной разговор.

Тогда — еще были надежды, еще казалось не всё потерянным. И этот милый юноша подбадривал его, давал советы...

С ветхого балкона потом смотрел он на потухающую зарю.

Он любил этот час, когда душа смирялась и когда тихо текли спокойные вечерние мысли.

Думал он и о письме к милому, верному другу, Андрею Тургеневу, и о стихах, и о том, что деятельность писателя он поставляет единственным своим благом, и о том, наконец, что у него теперь есть всё, кроме счастья.

Вспоминал он и о том, как читал Пушешникову свое стихотворение "Вечер" и как тот удивил его, заметив, что стихи эти, по его мнению, как-то отвлеченны и условны.

Ему захотелось теперь попробовать сказать както иначе, по-новому, о том вечере, который как раз умирал на его глазах:

Но гаснет день... в тени склонился лист к водам;
Древа облечены вечерней темнотою;
Лишь пробирается по тихим их верхам
Заря багряной полосою...

Неслышными шагами, вошел старый слуга за письмами: завтра среда — почтовый день.

Он отвлек его от вольно текущей стихотворной струи.

Когда же слуга ушел, стихи опять потекли свободно:

Я на брегу один... окрестность вся молчит...
Как привидение в тумане предо мною
Семья младых берез недвижимо стоит
Над усыпленною водою...

И в этих стихах была прежняя ласкающая легкость и приятность. Но, — чувствовал он — в них, попрежнему, не было той силы, воли к жизни и к борьбе, которые отличают, например, того гусара, что прострелил Пушешникова.

2.

Светское воспитание Гаши шло своим чередом.

Марья Епифановна, женщина настойчивая, въедливая, упорная — отдалась этому делу с жаром.

Сначала делала она это из соображений выгоды.

— Ну, тетушка, — сказал ей Лихарев, уезжая на войну — сделаете из Гаши барыню — озолочу, ничего не пожалею! Да вам это и не так трудно. Ведь, при дворе бывали; все тонкости знаете. Знаю, что с самим наследником менуэт танцевали.

Слушать такие слова было очень лестно. Да, к тому же, к Мите питала она большую слабость. Красив, доброй души, щедр. Да и то, что женился он на Гаше, казалось ей очень романтичным. — Ничего не скажешь! Ведь, подлинная красавица!

Конечно, на первых порах, корысть сыграла известную роль, но потом Марья Епифановна делом своей чести посчитала добиться своей цели: показать всем, как она сумела отшлифовать дикий самородок и сделать из него бесценный, ослепительный бриллиант. Просто, уже сама увлеклась этим делом.

А дело было нелегкое! Гаша была непокорна, норовиста, зла. Тем больше бывала довольна воспитательница ее успехами.

Как истинный художник, любовалась иногда Марья Епифановна делом рук своих.

Трудно бывало отвести глаза от Гаши, когда она, перед зеркалом, скользила по паркету, гибкая, стройная, легкая, повторяя заданный ей танцевальный урок.

Скрипач, крепостной музыкант, призываемый на уроки, — он знал, конечно, кем была раньше Гаша, — преданно смотрел на новую Психею.

А она сама, ловя свое отражение в громадном зеркале, чуть улыбалась: да, скоро уже она покажет всем, какова она, та "мужичка", о которой неустанно судачат соседки-помещицы и которой восхищаются буквально все мужчины во всем уезде.

Но сколько было обид, слез, крика, когда Марья Епифановна, едко и язвительно, — а она это умела делать! — учила ее есть, ходить, говорить.

— Это вам, сударыня, — говаривала она, поджимая губы, — не изба, не людская. Держите вилку, как вас учили, локти не отставляйте, не чмокайте!

Гаша готова была разорваться от злости. Но делать было нечего: Марья Епифановна — была права.

Впрочем, мало по малу, ссорясь и злясь, они,

почти не сознавая этого, стали по-своему любить друг друга.

...В прохладной угловой гостиной, — окна заплетены густым плющем, солнечные зайчики играют на паркете, из овальной рамы смотрит красавица с лебединой шеей, — по утрам шли занятия письмом и чтением.

Гаша читала уже довольно бойко. Уже не водила по строке спицей Марья Епифановна; она, отрываясь от вышивания, только искоса иногда поглядывала на строчки.

Сперва прочли "Бедную Лизу". Впечатление было потрясающее.

Впервые Гаша испытала властное обаяние художественного вымысла. Он показался ей чудесным: совсем новый мир открылся перед ней

Простая история о том, как скромная цветочница — крестьянка, Лиза, обольщенная и оставленная разочарованным барином Эрастом, утопилась в пруду, — произвела на нее необыкновенное действие. Она — крутая по природе, даже, иногда, жестокая — плакала над судьбой бедной Лизы, рассказанной с такой пленительной чувствительностью. Впрочем, и суховатая Марья Епифановна тоже утирала слезу.

"Да, ведь, это я", — думала Гаша, сравнивая себя с Лизой, хотя с ней у нее не было ни малейшего сходства. "А Эраст — это Ванечка, меня тогда бросивший на произвол судьбы. Такой же черствый и бессердечный".

Воспоминания эти трогали ее так же, как все эти жалостливые, ласковые, баюкающие слова, которые

повествовали о печальной судьбе Лизы.

После "Бедной Лизы", сосед помещик привез книжку "Вестника Европы", в коей была напечатана повесть неизвестного сочинителя Жуковского, "Марьина Роща".

Конечно, этой повести было далеко до "Бедной Лизы", но и в ней было немало того, что волновало и вызывало слезы.

"Ах, Мария! — сказал наконец Услад, — люблю тебя более своей жизни. Помнишь ли ту минуту, в которую мы встретились на берегу светлого источника? Ты пришла зачерпнуть в кувшин свежей воды, заслушалась соловья и стояла в задумчивости под развесистой березою, я возвращался из Новгорода, был утомлен путем и зноем; ты утолила мою жажду и посмотрела на меня таким ласковым взглядом, что сердце мое наполнилось в ту минуту неизъяснимой сладостью",

Гаша остановилась. После такой длинной фразы надо было перевести дух. Фразу эту она прочла хотя и с запинками, но почти без ошибок, и всё в ней поняла.

"Как прекрасно написано, — подумала она, — как это не похоже не всё, что она видела раньше. Не похоже ни на ее девичью жизнь, ни на отца, ни на Афоньку, ни на соседок на волжском берегу".

"Ах! — продолжала она читать, — с той минуты я перестал владеть своей душой; с той минуты единственное мое счастье быть с тобою или о тебе думать. Тобою прекрасный Божий мир сделался для меня еще прекрасней. Во всем, что радует мою душу, нахожу я

твой милый образ...“

Она прослезилась. Слова эти были похожи на те, что не раз говорил ей Митя. Где-то он? Что делает? Помнит ли? Ну, конечно, помнит! Должен помнить! Должен любить!

. . . .

Приметив, что Гаша заскучала и затомилась, Марья Епифановна решила свезти ее в "губернию“, в Орел.

Хоть лето еще в разгаре и в городе скучно, всё же можно походить по гостинному двору, побывать в лавках, порыться в лентах, в кружевах, в "тряпках“; можно покрасоваться перед зеркалом, примеряя модные шляпки у мадам Жиро; можно ввести Гашу к кому либо из знакомых, посмотреть на нее: какова она на людях.

Запряженная четверкой, большая дорожная карета заколыхалась по проселкам и большакам. Крестьянские телеги, давая дорогу, торопливо сворачивают, прямо в рожь; мужики, ломая шапки, с любопытством смотрят вслед богатой карете.

Да, да, это явь! Гаша теперь настоящая, и даже как бы природная, барыня!

Ехать очень приятно. Недавний ливень — еще синеют лужи — прибил дорожную пыль. Листья, трава — блестят дождевыми каплями. Ветер ласкает лицо, несет с собой лесные запахи, теплый дух поспевающей ржи.

Из открытых окон кареты виднеются березовые и осиновые рощи, луга, ветлы над тихими речками,

соломенные крыши деревень, коноплянники, липы помещичьих усадьб, белые колонны барских домов.

— А, это Лаврики, Лаврецкого, Петра Андреича. Богатый: целый полк ратников одел в прошлом году. Сам нравный, строптивый, но отходчивый, добрый, — разсказывает в пути Марья Епифановна.

Она здесь всё знает, для нее здесь всё свое, родное: везде родня, старинные знакомые, все свои, орловские, исконные дворянские фамилии.

Подробно и с явным удовольствием разсказывает она о том, что сын Петра Андреича, Иван Петрович — вольтерьянец и фармазон — слюбился с материнской горничной Меланьей. Хорошая была девушка.

Отец сильно разгневался, приказал сослать Меланью в дальнюю деревню, но Иван Петровичь отбил ее в дороге, домчал в ближний город и там с ней перевенчался.

С большим интересом слушает Гаша эту историю; она близко касается ее.

— Что же случилось дальше? — любопытствует она.

— Простил потом старик сына, невестку даже полюбил, а во внуке, Феде, — шесть лет ему сейчас, крепыш, увалень, настоящий крестьянский сын — души не чает. Меланья Сергеевна умерла недавно. Царствие ей небесное! Много натерпелась от мужниной сестрицы, Глафиры Петровны, а та, горбунья, злюка, умница, — всё в свои руки забрала; Федю от матери отобрала, его и сейчас растит.

"Ну, нет — думает Гаша, — я вам не Меланья, в руки никому не дамся!".

— А, вот, эта деревушка, — продолжает Марья Епифановна, — Дмитрия Тимофеевича Пестова. Беден: и пятнадцати дворов не наберется. Вон его господский домишко под соломой. Хоть бедны Пестовы, да благородны, горды, ведут себя так, как будто тысячами ворочают. Марфа Тимофеевна, сестра Пестова, никого не боится, никому не кланяется, всем в глаза правду скажет. Вот не побоялась пойти против богатого, да сильного Лаврецкого: приютила, на первых порах, Ивана Петровича с женой. Федя в их доме родился. Марфа Тимофеевна его нянчила, выхаживала. Сейчас, верно, гостить в Орле у племянницы, что замужем за губернским прокурором, Калитиным. Может быть, там ее и повидаем.

В Орел приехали к вечеру. Во всех церквах звонили ко всенощной. Закат золотил пыль, подымаемую экипажами на булыжных мостовых.

Ока — за лето обмелела, везде перекаты, отмели. От Срлика, переехав деревянный мост, поднимались в гору по Болховской к гостинице.

Губернские франты, в серых цилиндрах и в панталонах в обтяжку, прихорашиваясь, заглядывались на Гашу.

В гостинице разместились просторно, без стеснений, как дома. Заметались горничные, раскладывая вещи, развешивая платья, стеля постели. Из трактира, снизу, понесли судки и блюда.

. . . .

В тот же вечер в Орел приехал и Жуковский.

Ему надо было, по поручению Екатерины Афанасьевна, по ее делу, побывать у губернского прокурора Калитина.

Рано утром Жуковский отправился в присутствие.

Там, затрапезный, небритый чиновник, с гусиным пером за ухом и с пальцами запачканными чернилами, пряча в карман монету, подобострастно доложил, что прокурора в присутствии нет: он, по делам службы, в отъезде. А, впрочем — услужливо добавил он — может быть его еще можно застать дома.

За углом, древний Борисоглебский собор, а дальше за ним, за бесконечным забором, в тени древних лип, раскинулась громадная усадьба графа Каменского. Огромный серый дом, а дальше за ним многие службы и театр, известный всей губернии.

"Неслыханный тиран", как отзывались о нем все орловские обитатели, фельдмаршал Михаил Федорович, не так давно, в 1809 году, был убит своими крепостными за жестокость. Теперь же властвовал сын его, Сергей Михайлович. "Яблоко от яблони — недалеко падает" — говорили Жуковскому орловские старожилы, рассказывая о тиранстве и этого Каменского.

Жуковский шел по Верхне-Дворянской. Улица пустынная, пыльная, с серыми дощатыми заборами, с домиками, разукрашенными затейливыми, резными ставнями, наличниками, всякой резьбой.

Ленивый, неподвижный июльский зной. Бледное, горячее небо с остановившимися перистыми облачками. Кудахчат куры; водовоз лениво плетется со

своей бочкой, останавливается по порядку у ворот, черпаком льет воду в ведра разбитных хозяек, смеется, зубоскалит с ними.

Дом Калитиных в самом конце улицы; он тонет в гуще обширного, старого сада. Дальше крутой спуск, к, вконец обмелевшему, Орлику. Прибрежные сероватые ивы, кусты, овраги, тропинки, сбегающие к речке. По ней, высоко засучив драные штаны, бродят белобрысые мальчишки, выискивая под камнями раков.

Нерушимый покой, безлюдье. Вовсе не похоже на город. Самая настоящая деревня!

Вот это то и нравится хозяйке калитинского дома, Марье Дмитриевне, очень миловидной, светлорусой, пышной жене губернского прокурора.

Она немного жеманна, романтична и чувствительна, любит "сельское уединение", которое здесь, на окраине Орла, удобно сочетается с каждодневными визитами знакомых, с дамскими разговорами и пересудами о том, да о сём.

— Очень жаль, очень жаль — говорит Марья Дмитриевна Жуковскому — муж только вчера уехал по делам службы в Кромы.

Гость, любезный, учтивый, романтической наружностью — нравится ей.

И, когда Жуковский хотел было откланяться, она, с любезной настойчивостью, отобрав у него цилиндр, перчатки и трость, говорила:

— Помилуйте, куда вам идти в такое пекло. Отдохните, посидите с нами. У нас, как раз и гости. Может быть, вы знаете Лихареву? Верно слышали о ней.

О, ее история такая романтическая! Ведь, она женщина самого низкого звания. Говорят, дочь самого простого волжского рыбака. А, вот, пойдите, пленила нашего помещика Лихарева, богача, гусара; женился он на ней. Впрочем, она и впрямь прелестна. Вот, увидите сами.

Через просторные, затемненные шторами, приятно прохладные комнаты — прошли на балкон. Перед ним цветник, посыпанные песком дорожки, запах резеды, левкоя, петуньи. А, дальше густая тень очень запущенного сада. А еще дальше — поле, замкнутое веселой рощицей,—дрожащие осинки, молодые дубки, березки.

Жуковский был представлен дамам.

"Действительно, необыкновенно прелестна! — восхищался он, искоса наблюдая за Гашей. Какая совершенная красота. Сколько в ней грацни, достоинства! Как себя держит."

Если бы это не было неучтиво, он бы смотрел на нее не отрываясь и любовался бы ею безпрестанно.

Белое кружевное платье, широкая, белая же шляпа, бросающая синюю тень на ее глубокие глаза; черная бархатная лента, подвязанная бантом под ее кассическим подбородком — все это несказанно красило ее, всё это было ей к лицу, всё было необыкновенно гармонично, изящно.

"Жуковский, Жуковский! — старается вспомнить Марья Епифановна. Она-то слышала о нем что-то, что было связано с Протасовыми. А, вот, решительно не может вспомнить, что именно. Вылетело из головы!"

Впрочем, помнит, что "Марьина роща", как будто, была подписана этим именем.

— А, не вы ли, позвольте спросить, тот сочинитель, что написал "Марьину рощу"? Мы, ведь, ею очень восхищались: писано так изящно, так трогательно!

И Гаша оживляется: в первый раз видит живого сочинителя, да еще такого приятного и любезного.

Из дальнейшего разговора выясняется, что писатель не коренной орловец, а туляк, из белёвского уезда.

Марья Епифановна белёвский уезд знает не плохо. Вспоминает теперь, что слышала что-то и о Жуковском и о Буниных, и о Протасовых.

— А не знаете ли вы — спрашивает она Жуковского, — Софью Николаевну Пушешникову. Моя трюродная; дочку ее я крестила.

— Софью Николаевну не имею чести знать, а, вот, случилось познакомиться с сыном ее, Иваном Алексеевичем. Встретились зимой в пути. Ехал он тогда из Костромы, где лечился от раны. Очень приятный и милый человек.

Гаша насторожилась, выпрямилась, чуть заметно побледнела.

— Да, жаль, — продолжал Жуковский, — слышал, что опять ранен тяжело на дуэли каким-то гусаром. Будто бы поссорились из-за цыганки.

Обомлела Гаша, все силы собрала, чтобы себя не выдать.

И хозяйке, и тетке ее, быстроглазой, черноволосой, маленькой и востроносой, Марье Тимофеевне, о

которой так похвально говорила в дороге Марья Епифановна, да, и ей самой — не терпелось пошушукаться, посудачить о многом, а, особенно, конечно, о Гаше,

Под благовидном предлогом они ушли в комнаты. Гаша и Жуковский одни остались на балконе.

Разговор не вязался; разсеянно, вяло и коротко отвечала Гаша на слова Жуковского. Было видно, что мысли ее заняты совсем не городскими новостями, а чем-то другим, для нее очень важным.

— А можно ли мне сказать вам дело одно — вдруг, перебивая его на полуслове, сказала она.

Жуковский удивительно посмотрел на нее: глаза ее смотрят пытливо, строго и решительно.

— О Иване Алексеевиче, намедни, вы сказывали. Ужель правда, что сызнова его поранили? Да еще на дуэли!

— А, вы, сударыня, давно знаете его?

— Давно, — не давно, а вот, знаю... Вот, говорили вы с ним, в пути встретившись... А не рассказывал ли он вам чего о Костроме? Не вспоминал ли кого? Может о ком скучал? Может кого жалел?..

Жуковский насторожился. Какие-то туманные, неясные догадки стали роиться в мозгу.

Вспомнил ночной разговор в церковной сторожке, пенье метели, белокурого офицера. Вспомнил только что услышанные слова Марьи Дмитриевны о дочке волжского рыбака.

"Нет, это немыслимо, чересчур фантастично, сказочно!.. Неужто это она, та, о которой так горячо говорил Пушешников?"

— Говорил, говорил — медленно, как бы вспоми-

ная что-то очень далекое, сказал он. — Рассказывал о красавице одной, многое вспоминал, тосковал, видно. Вот не помню имени ее. Не то Паша, не то Даша...

— Гаша! — сказала она, побледнев, выпрямившись, как стрела.

— Так, это вы? Возможно ли? Боже мой!.. Значит вы и есть Гаша?..

— Да, да! Это я — та самая Гаша, — говорила она сильно волнуясь.

Она перевела дух. — Так, говорите вы, говорил обо мне, вспоминал, не забыл, значит. А я и не воображала, иное думала...

Слезы сверкали на ее длинных ресницах.

. . . .

Слухи о дуэли широко распространились по городу. Говорили по-разному, но уже выяснилось наверно, что гусар, ранивший Пушешникова на поединке, никто иной, как Лихарев.

Узнав об этом, Гаша и Марья Епифановна взволновались в самой сильной степени. Решили немедля возвращаться домой; бежать от пересудов, распросов, намеков. Под вечер, ни с кем не простясь, выехали.

В ночном безмолвии, ровно и споро, катилась карета. Мерно стучали копыта. Луна сверкала в стеклах кареты; черные, ломающиеся тени неотступно бежали рядом с ней.

Утомленная Марья Епифановна спала, склонив голову на гашино плечо. Но сама Гаша — спать не могла. Покоя не было.

Упорно, не переставая, думала она всё об одном. Как же всё это случилось? По какой причине они стрелялись? Говорят, какая-то цыганка! Нет! Не может этого быть! Нет, нет! Из-за меня стрелялись. Встретились, верно, повздорили. Оба горячие, задорные, как петухи молодые!

И вот, теперь ноет сердце, покоя не находит. Стонет от тревоги. О ком? Кто из двух милей ей, роднее?

Ясно представила осенний, теплый день, красные клены. Сидели они тогда с Ванечкой на берегу, на опрокинутой лодке. Волга набегала волной на берег, шуршала голышами на песке.

Был тогда Ванечка худой, желтый, с костылем, рука на перевязи; едва, едва ковылял, на ее плечо опирался. Ах, как любила она его тогда!

И вот, теперь, он лежит где-то один, забытый всеми, заброшенный, без ласки, без души родной. Подумать страшно!

Нет, себя не обманешь: о нем, о Ванечке болит сердце. О нем оно тоскует.

Всё бросить бы, полететь к нему, утешить, приласкать. Ведь, деньгами — говорят — души не выкупишь. К чему это богатство? Льются и через золото слезы!

Пристально, не отрываясь, глядела она в окно кареты.

Какая тишина, какой покой!

Во всём: в безмолвных полях, тонущих в лунной дымке, в таинственно молчащих лесах, в огне далекого костра, мерцающем на речном берегу, Гаша чув-

ствовала, глубоко мятущейся душой, вечную печаль о всём несбыточном, о всём ускользающем, бегущем, что вечно томит человеческое сердце.

— Господи, Господи! Как же я несчастна! — сказала она вслух.

Марья Епифановна проснулась, огляделась.

— Что с тобой, Гаша? — спросила она с непривычной теплотой. — Плачешь, что ли? Не плачь! Всё минет, всё пройдет!

На востоке стало светлеть. Посвежело. Близился рассвет.

3.

Следствие о дуэли штабс-ротмистра Дмитрия Лихарева и подпоручика Ивана Пушешникова затянулось почти на год потому что тяжело раненый Пушешников не был в состоянии дать показания об обстоятельствах дела и явиться в военно-судную комиссию.

За то время, пока Пушешников мучился и скитался по лазаретам, а Лихарев сидел в крепости, ожидая решения своей участи, — произошли великие события.

Союзники одержали полную победу над Наполеоном, и Император Александр торжествующе, во главе непобедимых своих войск, вступил во французскую столицу.

Только в середине апреля 1814 года, Пушешников, совершенно обессиленный перенесенной болезнью, желтый, худой, как скелет, мрачный и желчный, — впервые дал показания присланному к нему в лазарет, маленькому, рыжему, вкрадчивому аудитору 13-го класса, Лазареву.

Раньше, в своем рапорте о случившемся, — он донес по начальству, что ранение его произошло случайно, при заряжении пистолета, когда они, с штабс-ротмистром Лихаревым, в роще, у трактира "Белый Олень", собирались упражняться в стрельбе.

Такие заявления были в обыкновении почти у всех дуэлянтов, а в обыкновении начальства было вовсе им не верить. Оба дуэлянта были преданы суду.

Лихарев очень тяжело переживал происшедшее. После того, как ему показалось, что он убил противника, он сразу, как бы, отрезвел, избавился от того странного наваждения, которое владело им так долго.

Мучился он сильно, как-то сразу сдал, осунулся и седые волосы засеребрились в его буйных кудрях.

Только тогда, когда у лекарей явилась надежда на то, что Пушешников останется жить, — а это выяснилось не скоро, — он повеселел и жизнь стала казаться ему не столь безнадежной и мрачной, какой она была сразу после поединка.

Содержание на гауптвахте, в общем, не было строгим: было и вино, и карты, веселые разговоры, песни.

Но сознавать, что великие события проходят мимо, что ты лишен возможности разделять славу российского победоносного воинства, внимать востор-

женным кликам и принимать восхищение в качестве победителя, — было непереносимо.

И для него, и для Пушешникова — путь к славе оказался закрытым.

Мало того, впереди их обоих ждало очень тяжелое наказание: верно, разжалуют в солдаты, а то сошлют еще в ссылку, в какую-нибудь дыру, в Сибирь или на Кавказ, и ушлют на долгие годы.

Не пройдет даром и то, что он женился на Гаше без ведома и разрешения начальства. Конечно, надеяться на то, что удастся остаться в полку — совершенно невозможно.

А ежели ушлют куда-нибудь, куда Макар телят не гонял, тогда, прощай Гаша! Она же, в мечтах его представлялась несравненной, прекрасной, за которую было не жалко и жизнь отдать!

Он вспоминал ее такой, какая была она при их первой встрече в костромской гостинице: в короткой шубке, в синем платке с яркими розанами, с морозным румянцем на щеках, со строгими, глубокими глазами. Вспоминал он и то, как привез ее в "Лисий Лог", как водил по дому, по усадьбе, показывал постройки, конюшни, оранжерею, парк. — Всё это — твое! — говорил он тогда и глаза ее блистали, как звезды от радости и счастья.

Была и другая Гаша — печальная, поникшая, в бедненьком платьице, когда она прощалась с ним, отправлявшимся на войну. Она тогда повисла у него на шее, обмочила его щеку своими слезами.

И, что же? Неужели, теперь не будет ее видеть, не будет ею любоваться, а должен погибать где-то

в кавказской глуши?

— Нет, нет! Лучше пуля в лоб! — говорил он, как всегда, хватая "через край" и преувеличивая всё до предела.

Первый вопрос, заданный аудитором, был прост: "Как вас зовут? Сколько отроду лет, какой веры, и, ежели христианин, то на исповеди и у Святого Причастия бывали ли ежегодно?"

Легко было сразу написать: "Зовут меня Дмитрий Сергеев Лихарев, отроду 27 лет, веры грекороссийской, на исповеди и у Св. Причастия ежегодно бываю".

Дальше дело шло труднее. Военно- судная комиссия спрашивала: "В письме вашем к господину полковому командиру о произведенной вами с подпоручиком Пушешниковым дуэли, всё ли справедливо объяснено и утверждаете ли то письмо в полной силе, ныне в присутствии комиссии Военного Суда?"

В письме же командиру полка писалось о том, что причиной дуэли послужил неодобрительный отзыв Пушешникова о некоей особе и нежелание его взять этот отзыв обратно.

Это была неправда! Он хорошо понимал, что никакого объяснения перед дуэлью — не было. Вызов на дуэль был безпричинен. И, просто напросто говоря, он заставил Пушешникова драться на пистолетах.

По справедливости, следовало бы обо всем этом так и показать. Надо было сказать правду, и, тем самым, облегчить участь ни в чем неповинного Пушешникова.

Однако, у него на это не хватало мужества. Иначе вся тяжесть ответственности падет на него, а тогда — сохранит ли он Гашу?

"Пушешников вызов принял — размышлял он, стараясь убедить самого себя в своей правоте. — Значит, по закону, всё равно будет отвечать: пойдет в солдаты. Хуже ему не будет, а мне, может быть, будет легче."

Он чувствовал всю сомнительность подобных разсуждений, однако, вздохнув, написал: "В письме моем о дуэли я всё изъяснил справедливо, содержание коего утверждаю в полной силе в присутствии военно-судной комиссии".

Дальше стало еще трудней: надо было отвечать на прямые вопросы, касающиеся самой сущности дела.

Комиссия спрашивала: "...по каким обстоятельствам и какого рода объяснения потребовали вы у подпоручика Пушешникова; в каких словах потребовали вы такое объяснение и в чем выразнлся его колкий ответ на ваше требование; в каком смысле заключалась и та его колкость, касающаяся известной вам особы, на которую вы ему возражали; слышал ли кто-либо из бывших в гостинице лиц о таком вашем разговоре с Пушешниковым, равно о вызове его и о том условии, по коему вы с ним произвели помянутую дуэль; были ли с вашей стороны при этом поединке секунданты и почему вы учинили эту дуэль, зная, что она особливо противозаконна в виду неприятеля?"

После долгих размышлений, обдумываний и ко-

лебаний, Лихарев написал: "...колкости его и мои в разговоре заключались в следующем смысле: я сказал, что никому не позволю повторять сплетни об известной мне особе, и что я запрещаю ему упоминать о ней. Он же отвечал, что выговоров и запрещений он принимать не собирается и считает мое поведение смешным и дерзким. О нашем разговоре и о вызове никто не слыхал, сколько мне известно, равно и об условиях наших. А далее происходило то самое, что я показывал в вышеупомянутом письме. Секундантов при нашем поединке вовсе не было, дабы не вовлекать в запрещенное законом дело других лиц, могущих быть полезными для военных действий. Особливая противозаконность дуэлей в военное время мне была известна, и, в этом смысле, я особо раскаиваюсь в содеянном".

Столь же уклончивы и неопределенны были ответы Пушешникова на вопросы, предложенные ему военно-судной комиссией.

Отвечал он неохотно и угрюмо, что производило невыгодное для него впечатление на членов комиссии, которым более понравился молодцеватый Лихарев.

Уклончивые ответы подсудимых, а главное отсутствие свидетелей, — не дали возможности комиссии составить отчетливое представление о происшедшем.

Комиссия посчитала обоих подсудимых виновными в равной степени.

Но, так как Пушешникову было вменено в вину то, что он своими "колкими суждениями" о некоей особе и нежеланием дать объяснения Лихареву выну-

дил последнего на дуэль, и, получив вызов, его принял, — как то выходило так, что вина Пушешникова, как будто, больше, чем вина Лихарева, защищавшего женскую честь.

Отягчающим вину обстоятельством для обоих подсудимых было то, что поединок был учинен во время войны, в виду неприятеля.

"За сии противозаконные поступки, Генерал-Аудиториат, руководствуясь книгой первой, артикулы 392 и 393, Свода военных постановлоний, полагает штабс-ротмистра Дмитрия Сергеева Лихарева и подпоручика Ивана Алексеева Пушешникова, лишив чинов, орденов и дворянского звания, подвергнуть смертной казни через повешение.

Но, принимая во внимание и уважение, засвидетельствованное начальством, усердие их к службе, повергнуть участь подсудимых на Всемилостивейшее Его Императорского Величества воззрение, всеподданнейше ходатайствуя о смягчении определенного им по закону наказания, тем, чтобы зачтя штабс-ротмистру Лихареву десятимесячное содержание под арестом, и с выдержанием его еще под оным в крепости и на гаубвахте два месяца, исключить его вовсе из военной службы, не лишая его чина. Что же касается до подпоручика Пушешникова, то, не лишая его дворянского звания, написать в рядовые и предписать определить на службу по распоряжению инспекторского департамента".

Определение Генерал-Аудиториата — было Высочайше утверждено.

Лихарев, отсидев в крепости еще два месяца, был

уволен вовсе от службы, сохранив чин и дворянское звание.

Пушешников же, по распоряжению инспекторского департамента, должен был быть отправлен рядовым на Кавказ, до отличной выслуги в делах против неприятеля.

Мать его, Софья Николаевна, ездила в Петербург, много хлопотала, нашла влиятельных лиц, побывала даже у самого Аракчеева. Она добилась того, что написание в рядовые Ванечки было отменено, а отправление его на Кавказ было отложено до полного его выздоровления.

Почти полтора года прожил он, под материнским крылышком, в своей усадьбе.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Жизнь в деревне, неторопливая, спокойная, немного скучная, не тяготила Пушешникова. Наоборот, в его состоянии духа, она его покоила, умиротворяла, понемногу залечивала те душевные раны, которые, в таком неожиданном изобилии, были нанесены ему жизнью.

Он любил, в пору покоса, сидеть где-нибудь на лесной опушке и прислушиваться к тому, как буйно и весело шумит ветер в густых шапках берез, как он рвет и мечет длинные их ветви.

Любил наблюдать, как бабы и девки в ярких сарафанах, задорные и веселые — покос считался делом легким — неумолчно тараторя, деревянными, отполированными до блеска, граблями, собирали в копны пахучее сено, как навивали его на возы, а те ползли по накатанной дороге, чуть покачиваясь.

Любил он остановить какого-нибудь степенного бородатого Фрола, так хорошо, по-деревенски пахнущего хлебом, махоркой, потом и потолковать с ним о всяких деревенских делах.

Мужики знают, что барчук, хоть и молод, а оборонял русскую землю, кровь пролил.

"Война — говорят они — кровь любит. Четверо из наших богдановских не вернулись, кто убит, а кто помер от ран. Три вдовы, три солдатки. Солдат воюет, а дома детки горюют".

Вернулся в деревню служивый, Васька Фокин. Чистую ему дали — пришел без руки; пустой рукав болтается.

Хорошо барин определил его сторожем на барском дворе, а то, что бы делал?

Фокин — солдат разбитной, веселый, своего солдатского обличья не теряет: стоит в церкви не шелохнется, в мундире, с медалью. Шапку держит по форме, отвечает весело, по-солдатски.

Позже, под осень, когда дни прозрачны, прохладны и тихи, — любил Пушешников сидеть под старой яблоней, слушать, как рядом сестра, милая хохотушка Софочка, напевает старинную песенку.

Солнце нежаркое, ласковое. Тишина глубокая, слышно только иногда, как большие, янтарные антоновки падают, глухо ударяясь о сухую землю.

А совсем поздно, когда уже выкопана картошка, — в глухие осенние сумерки — он выходил, с ружьем, в пустынное, заброшенное поле, шел по межам, прислушиваясь к тому, как ветер поет в дуле его ружья и как где-то далеко звенит разбитый колокольчик проезжающей тройки.

Он выходил на пустынную большую дорогу, всю изрезанную колеями и теряющуюся вдали там, где клубились и нависали свинцово-лиловые тучи, снизу позолоченные кровавым закатом.

Вечная печаль живет в этих опустевших полях,

в притихших лесах и рощах.

Странно думать, что где-то там, далеко, где он был еще совсем недавно, идет своя, особая жизнь, столь непохожая на жизнь этих унылых равнин.

А когда густели сумерки, в избах зажигали лучины и замолкали голоса в деревне, он, притихший и примиренный, возвращался домой.

Там уже топили печи, меланхолично звучали клавиши фортепиано под быстрыми пальцами сестер; там его ждал тревожный, всепонимающий взгляд печальных материнских глаз.

Он снимал забрызганные дорожной грязью сапоги, надевал мягкие туфли и, закуривая трубку, садился у печки.

Иногда оживлялся, начинал рассказывать о том, что видел и пережил в чужих краях, о том, что особенно его поразило и ему запомнилось. Не любил только вспоминать недавнее, что еще не улеглось и не перегорело; не любил говорить и о будущем.

Мать и сестры от души радовались, когда оживлялся Ванечка. Ахали, охали, торопили, распрашивали.

Потрескивала свеча в медном шандале, в углу трещал сверчок, звонко стучал маятник. В окно смотрела непроглядная ночь и слышно было, как заливались псы, чуя бродящего зверя.

Но большею частью Пушешников был невеселый, неразговорчивый, необщительный. Душевная тяжкая усталость владела им. Не мог он, как прежде, легко и весело принимать жизнь.

Ему было всего навсего двадцать три года. Но

ему казалось, что он уже прожил длинную и тяжелую жизнь, настрадался довольно, узнал людскую несправедливость, измену друзей, непостоянство женщин, изведал горькие обиды.

Думал он о том, что жизнь, как бы в насмешку, возведя его на некие вершины, вдруг сбросила его с них, захлопнула перед ним двери к радости и успехам.

Тоска, поздние сожаления, старые обиды — непрестанно оживали, мучили его.

Вспоминал он тогда долгие, тоскливые ночи, проведенные на лазаретных койках, прокисший запах непроветренных больничных палат, ворчливых соседей, грубых лекарей и фельдшеров. Потом эти беспрестанные вызовы в военно-судную комиссию, вопросы хитроумных аудиторов, оскорбительное недоверие к его словам, обидное пренебрежение судей ко всему, что он показывал.

А Лихарев? Ведь он, с помощью своей влиятельной петербургской родни, отделался пустяками, вышел сухим из воды. А его, ни в чем неповинного, запятил в кавказскую глушь, где, как говорят, люди мрут, как мухи, от лихорадки, где месяцами не увидишь женского лица и где на каждом шагу подстерегают пуля, плен, раны, а то и смерть.

Он, Лихарев, сломал его жизнь, ее исковеркал, лишил его заслуженных наград. Из-за него он не увидел Франции, Парижа, может быть, потерял интересные встречи, приключения, женские улыбки.

Злоба душила, отравляла его.

Обиды, между тем, умножались. Пересуды и толки

вокруг того, что приключилось с ним, множились, доходили до него, его раздражали и злили.

Однажды матушка вернулась из Бабынина от Шамшиных в крайне расстроенных чувствах. Не раздеваясь, присев на стул, она взволнованно и возмущенно стала рассказывать:

— Нет, ты представь себе, эта безмозглая дура, Варвара Ивановна, имела наглость мне заявить: "А, знаете, Оленька не может ждать, пока ваш Ванечка вернется с Кавказа. Что там еще будет, а годы пройдут — ей, ведь, уже восемнадцать! Мы, дескать, можем найти и получше партию, а не выходить за разжалованного и ждать его Бог знает сколько!"

Софья Николаевна пылала гневом.

— Я уже давно замечаю, что к ним повадился Слепцов из Козельска, этот неуч, недоросль и лодырь. Охаживает Оленьку, подмасливает старуху.

Пушешников огорчился. Правда, в Оленьку влюблен он не был, нравилась она ему своей свежестью, наивностью, простодушием. Жена из нее — думал он — могла бы быть неплохая. Были бы дети, соленья, варенья, наливки, праздники, именины. Может быть, было бы и скучновато, но зато спокойно — никаких бурь. Надоели эти бури!

Как-то, после обедни, в церковной ограде, где старые, полуразрушенные плиты и кресты, ласточки, вьющиеся над старой колокольней, — он встретил Оленьку. В соломенной шляпке с розовыми лентами, сама розовая, она была очень мила. Вспыхнула и закраснелась, увидя его.

— Что же, Оленька, не хочешь выходить за меня

замуж? Не хочешь ждать, как я вернусь с Кавказа?

— Зачем, Ваня, ты так говоришь, — огорчилась она; слезинка покатилась из глаз. — Маменька так решила... Что мне делать?..

Варвара Ивановна во-время заметила; метнулась к беседующим, прекратила объяснение.

"А как бы хорошо было — думал Пушешников, возвращаясь домой — остаться здесь, зажить спокойной, привольной жизнью, служить по выборам, ездить к соседям, пировать, охотиться, играть в карты. А тут, висит над головою этот неведомый, пугающий Кавказ. Может быть там не так и плохо, но, кажется, довольно уже и повоевал и поездил и повидал. Что придумать, что сделать, чтобы пустили в отставку, освободили бы от службы?

Дибич, конечно, его не помнит; Клаузевиц уже давно на прусской службе, даже генерал. Кайсаровых потерялся след, да один из них — не знаю только кто? — убит под Ганау в кампании тринадцатого года. Вот разве Жуковский! Говорят, он круто пошел в гору, заслужил благоволение вдовствующей императрицы, получил какую-то придворную должность.

Но, помнит ли он его? Верно забыл, загордился.

Новости о Жуковском в Богдановку привез сосед-помещик, присяжный вестовщик, непрестанно разъезжающий по всем усадьбам.

Он, еще в самом начале лета, привез потрясающую весть о том, что Бонапарт бежал с острова Эльбы и с триумфом вернулся во Францию. Опять перевернул всё вверх дном.

Рассказывал всё это в великой ажитации, прямо-

таки захлебывался от удовольствия: еще бы — такая необыкновенная весть, и он ее первый привез!

Поднялись всякие толки, всяк судил об этом по своему. Говорили, что опять войны не миновать, что будет новый рекрутский набор, а то и ополчение, как в двенадцатом году, собирать будут.

Взволновался и Пушешников. Неужто война, неужто опять доведется увидеть чужие края? А, ведь, неплохо было бы опять пережить то веселое, бодрое, что пережил он весной тринадцатого года... Вспомнил Бауцен, Люцен, зеленые берега Эльбы, встречу с Ермоловым, жгучую плясунью в деревенской гостинице.

Да, весело, хорошо было тогда, и всё Лихарев испортил, всё перевернул, всё изгадил!..

Однако, в скором времени, тот же сосед привез известие о том, что Наполеон разбит англичанами и пруссаками где-то в Голландии. Скоро газеты подтвердили это и сообщили, что Бонапарт заточен на какой-то маленький остров, где-то посреди океана.

Сообщение это вызвало большое волнение, все радовались.

Пушешникову же, почему-то, стало печально: ведь он сражался против этого великого человека. Его собственная судьба была как-то связана с ним!

Вслед за новостями об европейских делах, вестовщик помещик перешел и на местные темы.

— Екатерина Афанасьевна Протасьева, изволите ли видеть, выдала свою старшую, Александру, за кого-то профессора Воейкова. Говорят — урод, грубиян, пьяница... Чуть ли не бьет и жену, и тещу.

Все они уехали в Дерпт — там какой-то университет и там Воейков будет чему-то учить студентов. Туда же потащился и Жуковский. Зачем? Да все думает, что за него отдадут меньшую, Машу... Деревню свою орловскую продал; деньги отдал в приданое за Александрой. Полагаю, что и это ему не поможет.

— Ну, а теперь как?

— Теперь-то ему счастье привалило. Позвали прямо в Петербург, в царской дворец, к царице Марии Федоровне. Его она обласкала. Очень любит его стихи. Вот вам и стихи! Как будто герунда, а вот подите! Жуковский и будет теперь при дворе. Вишь, какое счастье выпало! А ведь, рождение-то его сомнительно, сами знаете, — покосился разсказчик на опустивших глаза сестер.

— А с Машей как же?

— Да никак! Ничего у Жуковского не выйдет. Мать собирается ее замуж отдавать. Говорят, за какого-то немца, профессора...

2.

В Дерпте Жуковский был очень несчастен. Маша окончательно уходила от него. Никаких уже надежд, собственно, не оставалось.

И, все-таки, никак не мог он оставить свое унизительное и жалкое положение человека, едва терпимого в чужом доме.

Было очень трудно, мучительно. А бросить всё,

оставить — сил не хватало!

К этому времени было написано им торжественное послание Императору Александру Павловичу:

Когда летящие отвсюду шумны клики,
В один сливаясь глас, тебя зовут: великий!
Что скажет мерою незнаемый певец?
Дерзнет ли свой листок он в тот вплести венец,
Который для тебя вселенная сплетает?..

. . . .

При дворе послание понравилось: Императрица Мария Федоровна, знавшая о Жуковском еще со времен "Певца", — пожелала его видеть.

Собственно, и послание, и стихи "Мой слабый дар Царица одобряет" — писались им в тайной надежде милостью двора смягчить непреклонное сердце сестры.

Напрасные мечты, тщетные, смешные усилия! — сознавал он сам.

В мае 1815 года поехал он в Петербург.

Волнений и забот было немало. Ведь, совсем было непросто из тульской и орловской глуши, из незатейливых помещичьих усадьб средней руки, от ничтожных интересов, неурядиц, семейных дрязг — пьяный Воейков, его брань, грубость, враждебная сестра — перенестись почти в сказочный, недоступный мир, где дыхание славы, гордое величие, безграничная власть.

В воскресенье 11 июня, ему было приказано явиться ко двору.

После обедни в дворцовой церкви, состоялась

парадная аудиенция. Как всегда проходила она с точным соблюдением всего ритуала, предписанного придворным этикетом, с некоторой торжественной медлительностью и плавностью.

Вдовствующая императрица очень любила блеск, пышность, торжественность. Любила все эти выходы, приемы, парады, всякие церемонии.

Наслаждалась ими от души; держала себя величаво, милостиво, с благосклонной улыбкой, образующей на ее, еще свежих щеках, очень приятные ямки.

Она любила честь, любила и власть, хотя долго об этом и не знала.

Ведь, еще тогда, когда отец ее не был герцогом Вюртембергским, а состоял на прусской службе и семья его жила жизнью очень скромной,—она, тогда добронравная и наивная девушка, записала в свою тетрадь: "Нехорошо по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость — вот в чем должны состоять ее учение и философия".

Однако, на деле, ни такое "учение", ни такая "философия" — ей в жизни не пригодились.

Воспитывать детей "в добрых нравах" — она не могла, ибо старших сразу же отобрала от нее свекровь, императрица Екатерина, да и нравы при ее дворе трудно было назвать" добрыми", ведение же хозяйства, наблюдение за прислугой, а главное, бережливость при это дворе были вовсе не у места и даже смешны.

Но, главное заключалось в том, что в пьянящей обстановке силы, величия и власти, которыми дышало всё в петербургском дворца, — в душе юной великой княгини Марии Федоровны, постепенно стало созревать нечто, что влекло ее не к семейным добродетелям, а к государарственной деятельности крупного размаха, и, — глубоко тайно — даже к власти.

Говорили позже, что в некий трагический миг, когда решалась судьба династии, она, якобы, выразила желание царствовать сама.

А почему бы и нет! — Царствовала же Екатерина, такая же бедная и незаметная принцесса, какой была и она.

И когда она думала так, в ее синих глазах зажигались те самые ледяные искры, которые позже горели в глазах ее сына, Николая Павловича.

Впрочем мечты о власти — если они и были — были летучи и непрочны. Но жажда деятельности была у нее в натуре. Она не могла сидеть без дела, сложив руки; любила движение, шум, оживление, суету, любило общество, особенно молодое и веселое, любила развлечения, смех.

Большой, благотворительной и просветительной деятельности она отдалась с кипучей энергией. Институты, приюты, богадельни, воспитательные дома — были вызваны ею к жизни.

Была она очень деловита, проявляла большое понимание и знание дела, умела находить и выбирать людей. Никакой министр не мог состязаться с ней в деятельности.

И, вместе с тем, она была склонна к изящному, к поэзии, к искуству.

...Жуковского было приказано провести в кабинет государыни для приватной аудиенции.

Ждать пришлось долго. Мундир, который с трудом удалось достать у одного доброго приятеля, — был не по нем, жал под мышками, стеснял движения.

В лосинах, мягко позвякивая шпорами, мимо прошли великих князья: строгий красавец с синими холодными глазами, Николай и рыжий, нескладный, Михаил.

Они, с любопытством, мельком, оглядели, склонившегося в низком поклоне, Жуковского.

Мимо проходили придворные дамы, сановники, важные военные, в голубых и красных муаровых лентах, в орденах и звездах, в золоте и серебре расшитых мундиров, — все барственные, холеные, благоухающие, знающие себе цену.

Жуковский, готовясь к приему, заранее затвердил то, что хотел сказать государыне: "Не умею изъяснить, Ваше Императорское Величество, свою благодарность за все Ваши милости ко мне"

Однако, когда настало время, он смешался, покраснел, не мог ничего сказать, только кланялся.

Императрица сидела за маленьким письменным столом, подписывая какие-то бумаги.

Ей недавно минуло пятьдесят шесть лет, но она выглядела совсем еще молодой, свежей. Хотя и седая, но румяная и крепкая, пышная, туго затянутая в темное, шелком шуршащее, платье.

Не без любопытства, вскинула она на Жуковского

свои большие, синие глаза.

— О, я вас хорошо знаю — сказала она милостиво, по-русски, с чуть заметным немецким акцентом.

Она взглянула на серебряную, на владимирской ленте, медаль двенадцатого года — всевидящее око в сиянии — в петлице мундире Жуковского. — Да, — сказала она — медаль эта благородный знак участия вашего в великом деле. Помню, помню ваши стихи, что писались под Бородином. Они, тогда, вдохнули бодрость в многие сердца. О, какое тогда было страшное время!

Глаза ее затиманились легкой, привычной и быстропроходящей слезой.

Она хорошо помнила тогдашние свои колебания, страхи, даже готовность отдаться на милость победителя.

Теперь то, в душе, она стыдилась своего малодушия и ей неприятно было вспоминать мужество и твердость, проявленные тогда ее невесткой, императрицей Елизаветой Алексеевной.

Как бы не замечая робости и смущения Жуковского, императрица с увлечением стала говорить о счастливых событиях недавнего прошлого, о недавнем вступлении императора в Париж. Восторг был необычайный. Сам государь говорил, что люди обнимали его колени, целовали у него руки, хватались за стремена.

И, когда она говорила о необыкновенной славе своего сына, победившего Бонапарта, легкие слезы опять увлажнили ее глаза.

Она очень похвалила торжественное послание им-

ператору, написанное Жуковским, говоря, что оно достойно пера самого Державина.

Аудиенция длилась около часа. Жуковский чувствовал себя очень стесненно и неловко. Было нелегко вести беседу, давать ответы, помня все время о стеснительных требованиях этикета. Он знал, что не должен сам задавать вопросы государыне, что должен уходя и раскланившись, умело отступать, не поварачиваясь спиной к ней.

Большое облегчение испытывал он, когда государыня отпустила его,ласково сказав на прощание: "Мы еще с вами увидимся и поговорим обо всем и о стихих тоже..."

Синяя Нева гордо несла волны, нежно зеленели сады, белые облачка плыли на мягко голубом небе. Северная, пленительная весна утешала сердце.

Но, всё же, оно ныло мучительно.

3.

В начале сентября Жуковский был вновь зван к государыне, на этот раз уже в Павловск, в ее дворец.

Там, в Павловске, все чудесно, по-царски.

В осеннем золоте дивный парк. Синеют студеные пруды. Лебеди, величавые, царственные, неслышно скользят, подплывают к тихим берегам.

На этих берегах березы роняют желтые листья в холодные струи:

Как приведения в тумане предо мною
Семья младых берез недвижимо стоит
Над усыпленною водою...

И везде, как бы, разлита та самая, приятно нежащая, ласковая меланхолия, что была всегда сродни душе Жуковского, а в данных обстоятельствах — Маша! — особенно.

В Павловском дворце не так холодно-торжественно, как в Петербурге. Конечно, во всем: в колоннадах, в картинах, в тяжести золоченых люстр и во всем другом — все то же величие, торжественность, но как-то интимнее, теплее, по-домашнему.

Каждый день Жуковский завтракал и обедал с государыней и даже как-то, когда золотилось вечернее небо, гулял с ней по берегу Славянки. Стал понемногу привыкать к ней, смелел, делался проща, естественный.

И ей, государыне, он очень нравился. Настоящий поэт — вьющиеся кудри; глаза задумчивые, томные Она находила, что стихи его, с их легкостью, с какой-то грустной сладостью, — необыкновенно полно соответствуют облику самого поэта.

Жил он в комнатах Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого.

Тот не только тайный советник, сенатор, статс-секретарь покойного государя, почтенный опекун Воспитального Дома и кавалер, но и поэт.

Стихи его чувствительные, нежные, исполненные непритворным чувством. Они очень хорошо отражают доброе и мягкое сердце самого поэта.

Он добродушен, остроумен, доброжелателен, ве-

сел. Все его любят и кажется, что у него не может быть врагов. Друзья ж его — цвет русской поэзии: Херасков, Дмитриев, Карамзин.

Возвратившись от императрицы, поздно, уже к полуночи, Жуковский и его гостеприимный хозяин, сидели, сняв фраки и распустив галстуки, в глубоких кожаных креслах, в библиотечной комнате.

Книжные полки, блистающие золотыми обрезами и цветными корешками; мраморные бюсты, темные картины. Тихо, уютно. За окном шумит ветер, дующий с моря.

В хрустальных бокалах, в золотистом свете свечей, густым, темным рубиным краснеет вино. Разговор идет о российской словесности.

— Покойная государыня — сама писательница и ценительница искусств — старалась привить обществу вкус к театру, к словесности, к поэзии. Писала комедии, сатиры, стихи в улыбательном роде — разсказывает Нелединский. — Тогда была мода на песенки в народном роде. Не скрою, горжусь, что песенка моя: "выйду ль я на реченьку, выйду я на быструю, — унеси ты мое горе, быстра реченька с собой..." — пришлось всем по вкусу. Ее певали и красавицы высшего общества и поселянки среди полевых трудов... — А теперь государыня Мария Федоровна старается делать то же. Она приблизила к себе Карамзина, Дмитриева, Крылова, меня грешного. Смею вас уверить, что сама она хорошо понимает поэзию. Хотя — улыбнулся он тонко — она, может быть, любить больше общество поэтов и писателей, нежели их творения.

— О, нет, нет! — добавил он поспешно. Я шучу, конечно. Она действительно любит отечественную словесность и знает цену умственной деятельности. Ее собрания не служат только для поверхностного развлечения.

Слова эти подвинули Жуковского на то, чтобы высказать свое непритворное восхищение императрицей Марии Федоровной. Ее умные и тонкие суждения, ее сердечность, обходительность, благожелательство к людям — все это чарует и восхищает — говорил он.

—Полагаю—сказал он не совсем уверенно — что ей, с ее открытостью и с влечением к обществу, было нелегко переносить крутой и вспыльчивый нрав покойного государя Павла Петровича.

Нелединский молчал некоторое время, задумчиво глядя на веселое пламя камина. Ему как будто не хотелось касаться этого предмета.

— Да, — поколебавшись, в нерешительном раздумьи, сказал он — жизнь государыни не была легка. Возможно, вы осведомлены о некоторых печальных обстоятельствах скоропостижной смерти государя Павла Петровича. Знаете ли вы, как страшна и жестока была его судьба? Об этом нельзя говорить, но это все знают.

Нехотя, как бы принуждая себя к откровенности, Нелединский-Мелецкий поведал Жуковскому ужасные обстоятельства, происшедшие пятнадцать лет тому назад, в зловещую мартовскую ночь, 1801 года.

Жуковский был потрясен.

Правда, и в белёвскую глушь проникали какие-то

смутные и странные слухи об обстоятельствах неожиданной смерти государя. Но, всё это было очень далеко от того, что он сейчас узнал.

По новому, с каким то мистическим любопытством, смотрел Жуковский на портрет покойного государя.

В зеленом, с красными отворотами, мундире, в голубой ленте и с остороконечным, белым мальтийским крестиком, в пудренном парике, с косичкой, завязанной черным бантом, — смотрело на него, с какой-то грустной, насмешливой полуулыбкой, курносое, с большими затуманными глазами — лицо императора.

Художник сумел внести в его изображение что то туманно-мечтательное, какие то черты той самой романтической грусти, которая, как казалось Жуковскому, была разлита везде в Павловске.

Зыбкое пламя камина бросало на портрет императора колеблющиеся пятна света.

Свет и тени, чередуясь пробегали по лицу портрета, как бы меняя его очертания, делая его подвижным, почти живым.

Иногда казалось, что живые искры вспыхивали в затуманенных, печальных глазах, смотревших вдаль, как казалось, — с немым укором.

За окнами бушевало осеннее ненастье. Крупные дождевые капли порывами барабанили по стеклам. Глухо шумели громадные деревья парка.

Иногда молния синей стрелой вонзалась в нагроможденные тучи, и гром запоздалой осенней грозы, с

грохотом обрушивался на Павловск и его окрестности.

Как бы отгоняя от себя тяжелые видения прошлого, Нелединский-Меленский, встрепенулся, прервал молчание и заговорил обычным тоном.

— Государыня тогда пережила очень тяжкие дни. Но, у нее счастливая натура. Грустить и печалиться она не любит, да и не умеет. Великие потери, понесенные ею — не убили в ней страстной жажды жизни. Она, конечно, чтит память покойного, грустит о нем порой, вздыхает, льет слезы. Но, верьте, для нее все это уже далекое прошлое, как далекая грозовая туча. Так и после кончины великой княжны Анны Павловны—ее императрица нежно любила—она, конечно, горевала глубоко и искренне. Но, уже через месяц, она уже была занята туалетами и развлечениями своего общества.

. . . .

Два вечера подряд у гесударыни, в малом, избранном обществе, читались стихи Жуковскего.

Сам Жуковский, преодолевая смущение, прочел, постепенно разгораясь, "Певца". Затем Нелединским читалось "Послание". Длинное, тяжеловатое по форме, написанное в старой манере, оно, естественно, не могло увлечь и зажечь слушателей. Они выслушали его с должным вниманием и почтением, которых оно заслуживало по самой своей теме.

Зато исключительный успех имела "Эолова арфа"

По желанию императрицы, всеми поддержанному, Нелединский прочел ее дважды, вызывая каждый раз

неподдельный восторг слушателей.

Жуковский был глубоко растроган и доволен выше всякой меры.

"Милый Юрий Александрович — растроганно думал он с наслаждением, вслушиваясь в свои собственные слова — как он, этот красивый, сидеющий, с таким изящным придворным лоском, человек, — еще молод душой. А ведь, ему уже шестьдесят. Как, кажется, просто, но с каким глубоким чувством читает он. Как он всему хорошему дать самое сильное выражение.

В самом деле растроганность чтеца передавалась слушателям и искренне их трогало.

Да, и сама по себе тема поэмы — "запрещенная любовь", находила себе самый живой отклик в их сердцах.

Кое-то знал, а некоторые догадывались, что тема эта имеет отношение к самому автору.

Шептались: "Знаете, ведь, мать его пленная турчанка. Как это романтично! Сам же он не может женица на девушке, которую любит из-за родства с ней".

"Эолова арфа" растрогала всех своим исключительном сюжетом.

По незначительности своего происхождения, Арминий, певец, который любит Минвану, дочь рыцаря Ордала, — не может расчитывать на ее руку. Она тоже любит его, но оба они бессильны против обстоятельств.

"Горькой рукою ей руку пожал и, тихой стопою, от нее удалился, как призрак пропал".

Его арфа осталась висеть на ветвях дерева,

как залог "прекрасных минувших дней".

В один из дней, когда Минвана уныло и одиноко сидела у этого дерева, что-то незримое тронуло струны арфы. Они зазвучали: — "то друга привет, свершилось, свершилось! земля опустела и милаго нет!"

С той поры Минвана каждый день стала приходить на холм и внимать печальному звучанию арфы. "О, милые, милые струны, играйте, играйте... мой час недалек..."

Она умирает в тоске:

И нет уж Минваны...
Когда от потоков, холмов и полей
Восходят туманы
И светит, как в дыме, луна без лучей, —
Две видятся тени,
Слиявшись, летят
К знакомой им сени...
И дуб шевелится, и струны звучат.

В тени старых дубов, на берегу Славянки, императрицей Марией Федоровной был воздвигнут памятник покойному государю Павлу Петровичу.

На пирамиде — медальон с его профилем: вздернутый нос, высокий лоб, выдвинутый подбородок. Перед пирамидой — гробовая урна, к которой, в глубокой скорби, преклонив колена, склоняется женщина в короне и царской порфире.

Вся эта группа, изваянная знаменитым Мартосом, — необыкновенно хороша своей классической четкостью, благородством линий, изяществом очертаний, художественной простотой.

Идея памятника ее автором выражена так: в об-

лаке, изображенном на пьедестале, видны две тени — одна летит на небеса, другая спускается с небес навстречу первой.

А, ведь, это то же самое, о чем поэт так трогательно рассказал в своей замечательной поэме: "Две видятся тени, слиявшись, летят к знакомой им сени..."

И не так ли, в минуты сладкой печали, когда она, императрица, склоняется к подножию памятника своего супруга — те же самые чувства, что волновали Мидвану, ожидавшую возвращения своего друга, волнуют и ее?

В эти таинственные мгновения, когда ощущается неслышное касание иного мира, над ней шепчутся таинственно и глухо вершины дубов и в сердце звучат тайные струны печали.

"Как хорошо, как верно и трогательно всё это понято и передано Жуковским в его поэме" — умиленно думала царица.

"Эолова арфа" — решила судьбу Жуковского. Государыня окончательно решила ввести его в свой дворец, как своего чтеца.

... Уезжая из Павловска, Жуковский очень сердечно простился с Нелединским-Мелецким; благодарил его за всё.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1.

Сырой, холодный и унылый день начала октября. Тянутся низкие тучи. Голые ракиты и березы никнут, роняют дождевые капли.

На дворе, в лужах плещутся утки; босоногая девчонка, в коричневом армячишке, покрывшись дерюжкой, хворостиной гонит корову; в людскую плетется старик Пармен. Всё скучно, уныло.

Дома тихо. Софья Николаевна с дочерьми уехала в Белёв. Должна вернуться только к вечеру.

В дедовском кабинете, в кресле, Пушешников листает только вчера полученную книгу. Он ее давно ждал и теперь, ее получив, испытывает немалое удовольствие.

Сам он не распускается в деревне: чисто выбрит, тщательно причесан; старый, без эполет, сюртук заботливо вычищен, разглажен.

"Победы графа Петра Христиановича Витгенштейна или жизнь, свойства и военные деяния его в Польше, Римской Империи, Турции, Пруссии, Финляндии и в достопримечательную войну России с Францией в 1812 и 1813 годах, с историческими анекдотами и кратким обозрением всех действий настоящей вой-

ны“. Таково обстоятельное и подробное заглавие полученной книги. Твердый переплет, желтая кожа корешка с четким золотым тиснением; бумага зеленовато-голубая, шрифт приятный, буква ”т“, как перевернутое ”ш“.

Пушешников, сам не зная почему, стал любить книги. Он получает необыкновенное удовольствие держать их в руках, листать, пробегать каждую страницу. Да, книги — это большое утешение!

Эта издана ”В Санктпетербурге. В Морской типографии“ в 1813 году, т. е. еще тогда, когда он сам был прикосновенен к деяниям, в ней описанным.

Приложен портрет Витгенштейна. Лицо его — думает Пушешников — мало примечательно — это не Кутузов и не Ермолов. Чуть закрученные усики придают генералу какой-то обер-офицерский вид!

Очень нравится эпиграф: ”Нет! Царство Русское не рушится врагами, доколь ограждено столь верными сынами“. Слова эти из драмы ”Пожарский“. Кто написал ее — не сказано. Не Озеров ли?

И эпиграф и дальше идущее посвящение настраивают на торжественный лад. Пушешников очень любит возвышающие душу, облагораживающие слова:

”Всепресветлейшему, Державнейшему, Великому Государю Императору Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому Государю всемилостивейшему“ — с некоторым внутренним трепетом читает Пушешников, вспоминая высокого, стройного человека в преображенском мундире, в лосинах и в голубой ленте, который, в Бунцлау, выходил из дома, где умирал светлейший.

Это было совсем мимолетно, но след оставило неизгладимый.

Конечно, теперь, в кавказской глуши, ему уже не придется видеть государя и всё блестящее, пышное, гордое, что неразрывно связано с ним.

Читает дальше: "Всемилостивейший Государь! Герой, восторжествовавший над многочисленностью и ухищрениями врагов, противников Августейшего ВАШЕГО престола, заслуживает признательности и удивления своих соотечественников; почему приняв перо для описания его подвигов, я дерзнул украсить сей слабый, но усердный труд мой Священным Именем Вашего Императорского Величества."

"Удостойте, Всемилостивейший Государь, сие приношение Монаршего ВАШЕГО воззрения. Вашего Императорского Величества верноподданный Семен Ушаков".

"Очень хорошо написал Семен Ушаков! Кто он такой? Верно и награду получил: перстень или что-нибудь иное в этом роде".

"Должно непрестанно напоминать соотечественникам о российской славе — в тон Ушакову думает Пушешников, откинувшись на спинку дедовского кресла. — Что говорить: война страшное, тяжелое дело. Но, всё равно, несет она с собой всё благородное: знамена, высокие слова, ордена..."

Подымает глаза: под скрещенными клинками, висит их, Пушешниковых, родовой герб: на лазоревом поле серебряная пушка, с золотым одноглавым орлом, на ней сидящим. Шлем увенчан дворянской ко-

роной, осенен перьями золотым, серебряным, голубым.

Рядом дедовский портрет — дед строгий, горбоносый, в зеленом мундире с серебряным аксельбантом на левом плече.

Да! всё это — свое, родное, дворянское, неотделимое от российской славы.

А вот и она, глава, касающаяся его непосредственно: "Предприятие графа Витгенштейна на корпус Макдональда".

Читает жадно, но описание разочаровывает: очень краткое, суховатое, слишком официальное.

Конечно, оно не передает и сотой доли того, что было тогда пережито: ни бедственного положения русских, ни прусской заносчивости, ни собственных волнений во время переговоров с упрямым Иорком.

О Дибиче писано тоже мало и сухо. А, между тем, этот суетливый, неряшливый генерал с всклокоченными рыжими волосами, сыграл тогда решительную роль.

Говорят, и теперь, под Кульмом, он вел собя превосходно, и когда войска графа Остермана-Толстого изнемогали в неравном бою против маршала Вандома, — он решительно двинул конно-гренадер в атаку и этим решил судьбу сражения. Сейчас он генерал-адъютант и еще ближе стал к особе государя.

Да, многого, очень многого, лишил его Лихарев.

И Кульм, и Лейпциг, и всё, что было дальше, — прошло мимо него. А, между тем, полк его участвовал почти во всех сражениях этой кампании. Конечно, очень много офицеров и солдат пало на поле чести,

но оставшиеся осыпаны почестями и наградами.

В волнении он подошел к окну.

Моросил дождь; оголенный сад, мокрый огород, цветники — всё было затянуто серым туманом.

Тоскливые мысли об испорченной жизни, о Кавказе, о своей собственной приниженности — опять овладели им.

Между тем, всё усиливаясь, приближалось звяканье колокольцов и бряканье бубенчиков.

Кто-то ехал, приближаясь к усадьбе. Скоро стало видно, как поверх забора и кустов сирени замелькала дуга, лошадиные головы.

"Кто же это? — недоумевал Пушешников. — Кто-то, видно, незнакомый".

В ворота, между тем, ныряя в лужах, въезжала богатая, забрызганная грязью, коляска. От холеных, темно-гнедых лошадей — шел пар. Хвосты их были подвязаны.

Верх коляски поднят — не видно, кто в ней.

Кто-то чужой, приехавший издалека!

— Степка! — крикнул Пушешников в лакейскую, — отворяй парадное, проси в гостиную!

Сам не зная отчего, стал волноваться. Будто какое-то тайное предчувствие чего-то неожиданного овладело им.

Из гостиной слышно, как Степка открывает парадную дворь, чьи-то шаги, звяканье дверного колокольчика. Приглушенно гудит чей-то голос. Слышно, как Степка докладывает: "Барыня, Софья Николаевна уехамши, а Иван Алексеевич дома-с! Просят в горницу!"

Пушешников оперся на спинку кресла, стоит, ожидает.

"Лихарев! Боже мой! Тот самый Лихарев, который недавно, в гусарских шароварах, в рубашке и в галстуке, стоял против него с пистолетом. Как сейчас, помнит он крик задорной птицы в кустах, помнит всю благодать того ясного и свежего утра, когда они дрались."

Лихарев — все тот же ловкий, стройный, еще в гусарском одеянии. Стоит, видно, в большом волнении — бледен, губы дрожат.

"Зачем он здесь? Что ему надо?" Сердце стучит невыносимо. "Что делать? Что сказать?"

— Иван Алексеевич, — тихо, почти шопотом, говорит Лихарев. Видно, как бьется жилка на виске, как выступил на лбу пот. — Ради Бога, прости!... Можешь ли простить? Прошу, умоляю. Всё сделаю, что хочешь!

Тяжелое, гнетущее молчание. Пушешников помнит злобный, тяжелый взгляд, помнит злую насмешку, разговор о преимуществе сабли над пистолетом. Помнит мрачную, безысходную пору своих скитаний по лазаретам и по гауптвахтам. Молчит...

— Не хочешь простить? Знать, напрасно ехал к тебе за двести верст. Знаю, знаю... Обидел тебя смертельно... Предал бесчестно, погубил. И, всё равно, прости!.. Хочешь, поеду в Петербург, всё расскажу, все пороги обобью, вымолю тебе прощение. Ну, прости же!... На коленях прошу!

Вдруг он, большой, громоздкий, со всего размаха, падает на колени, кланяется земно. Глаза пол-

ны слез, черные, пышные кудри разметались в беспорядке.

Дрогнуло сердце, слеза поползла по щеке. Пушешников рванулся вперед, неловко стал подымать Лихарева.

— Ну, что ты, что ты, — бормотал бессвязно. — — Бог простит!.. Встань, встань скорей, ну, ради Бога, встань!.. Всё прощу, всё забуду!

Лихарев тяжело поднялся. Отвернулся, пряча слезы. Молча смотрит в окно на дымный от дождя сад.

— Ну, дай руку! Обнимемся!

Было неловко, разговор не клеился. Пушешников оставлял отдохнуть, отобедать, переночевать.

— Нет, нет! Об этом речи быть не может. Лошади накормлены, отдохнули. Сейчас и назад. На постоялом в Будках — переночую...

Стоя на пороге и держась за ручку двери, Лихарев обернулся и, как бы принуждая себя, сказал:

— Жена тебе велела кланяться низко, пренизко!

Дождь перестал, сквозь разорванные тучи засветило больное солнце. Пушешников вышел на крыльцо.

— Иди, иди, простынешь, — крикнул Лихарев, влезая в коляску.

Отдохнувшая тройка бодро зазвякала бубенцами. Пристяжные завились змеями. Прогремев по мостику, тройка вылетела со двора.

Долго стоял Пушешников, глядя ей вслед. Противоречивые и сложные мысли — волновали его.

...К вечеру из Белёва вернулась Софья Николаевна.

Раздевая ее, Михайловна шопотом доложила:

— Был барин, молодой, красивый. Так хорош, что люб!.. С Ванечкой о чем-то долго спорили, шумели. Пошумел, да уехал, нашего хлеба-соли не отведав.

Мать пошла к сыну. Тот сидел в темноте. Теплилась только лампада в углу у образа. Был он грустен, задумчив, видно, не хотел говорить.

— Кто-нибудь приезжал?

— Приезжал.

— Кто же?

Молчание. Слышно только, как в гостиной смеются сестры.

— Ну, скажи же, голубчик, кто был?

— Кто?.. А, вот кто — Лихарев!

— Как! Лихарев? Тот самый?

— Да, тот самый!.. Приезжал прощения просить. Плакал, в ноги кланялся.

Софья Николаевна ошеломлена — не может собраться с мыслями.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал? — в тревоге допытывается она.

Опять молчание. Села рядом, придвинулась к нему, положила свою ладонь на руку сына.

— Да, ну же, скажи, что было!

— Было что?.. А было то, что простил я его... Вот что! — голос его дрогнул, в нем слышались слезы.

Софья Николаевна заплакала. Молчала, долго не могла справиться с волнением.

— Ну, слава Богу! Слава Богу, — закрестилась она. — Ведь, сказано: "яко же и мы оставляем должником нашим"... В Оптину поедем. Там хорошо — ти-

хо. Лес сосновый, Жиздра течет, быстрая, веселая. На пароме надо переправляться. Поговеем, душу очистим. Не след злобу в сердце носить! Ведь, прошлого не воротишь!

2.

Появлению в Богдановке Лихарева предшествовало следующее.

Исключенный из службы и отсидевший в крепости все свои двенадцать месяцев, он, возвращаясь домой, в Лисий Лог, очень опасался, что дома ждут его нелегкие разговоры и тяжкие объяснения.

Было стыдно признаться самому себе в том, что он робел в предвидении встречи с женой.

На последней почтовой станции, для бодрости, он распил с каким-то толстым помещиком несколько бутылок вина и слегка подбодрился.

Торопясь и волнуясь, взбежал он по широкой лестнице наверх. Его встретила одна Марья Епифановна; Гаши не было.

— А Гаша? — Здорова?..

— Здорова-то, здорова, да в гневе на тебя великом — не без злорадства сообщила тетушка; она тоже сердилась на него за те волнения и неприятности, которые пришлись и на ее долю.

Ну, а где же она?

— Она? В голубой гостиной. Еще с утра там засела.

Голубая гостиная — это та, особенно полюбив-

шаяся Гаше, комната, где шли классные занятия, где читалась "Бедная Лиза", где портрет красавицы с лебединой шеей и где так много было передумано за последнее время.

— Гаша!.. — бросился Лихарев к ней, протягивая обе руки.

Она остановила его ледяным, неприступным взглядом.

Сидит в кресле в полуоборот, закинув голову, прямая, строгая. Придерживает обеими руками шаль, закрывая ею шею. Как всегда, великолепная, обольстительная.

— Что же, вы, сударь, Дмитрий Сергеевич, натворили? Обо мне думали, аль нет? Ославили, осрамили на целый свет. Вот, небось, говорят везде: какова баба, такова и слава.

Молчит Лихарев, опустил голову в большом смущении: что скажешь, как всё объяснишь? Какими словами описать, передать, что пережил, что выстрадал?

— Всё знаю, всё понимаю, — продолжает Гаша, очень волнуясь и не глядя на него. Голос дрожит.

Поднялась, подошла к окну, пристально смотрит в него: падают листья, усыпают ступени балкона.

Помолчала немного, а потом сказала глухо:

— А, ведь, насилу — не быть милу. Напрасно, напрасно стреляли в Ивана Алексеевича. Пулей прошлого не убьешь! — усмехнулась она уголками губ.

Слушая это, Лихарев страдает мучительно.

— Обидели вы меня, Дмитрий Сергеевич! Ох, как обидели!.. Нет, нет! Не подходите, не подходите, оставьте!..

. . . .

Гаша заперлась у себя, даже к столу не выходит.

Бродит Лихарев, потерянный, незнающий, что делать, что сказать. Ходит по пустым залам, по парку, по усадьбе. Заходит на конский завод. Там для него выводят любимых лошадей.

Какое было раньше наслаждение любоваться этими вороными, серыми и гнедыми красавцами, когда конюха, вися на поводах, выводили их из денников, когда они, пугливые, злые, косили глазом, грызли удила и звонко, на всю окрестность, ржали, стуча точеными копытами по деревянному настилу.

Любовался ими Лихарев, гладил шелковистые шеи и крупы, кормил сахаром. Но, без Гаши — всё это теряло свой смысл, делалось скучным, незанимательным.

Выходил в поле, смотрел рассеянными глазами на пустые нивы, на оголенную, сквозную рощу, на синеющую реченку, текущую под горой, на крестьянские дворы, дымящие ранними дымами.

Ничего не веселило, ничто не радовало: тоска томила сердце.

Возвращаясь как-то с одной из своих прогулок, он нежданно увидел Гашу. Замкнутая, печальная, — она шла по липовой аллее, теряющей последние листья.

Сухая листва шуршала под ногами бегущей впереди, мягко и эластично, сухой, изящной, змеевидной борзой.

Во всем этом осеннем: во всей этой слабости, хрупчатой синеве воздуха, во всей этой слабости, хрупкости, призрачности — было то особое обаяние, которое мягчит сердце, настраивает на грустные, но

сладкие мысли, на воспоминания, ласкающие и утешающие.

На этом блеклом, дымчатом, туманном фоне, в золоте и пурпуре осени — высокая, стройная и гордая Гаша, с породистой собакой, бегущей рядом, — показалась Лихареву каким-то очень изящным, пленительным видением, как будто где-то им уже виданным.

— Да, вспомнил он — это та самая дама на английской, чуть подкрашенной, гравюре, которой я любовался еще в ранних своих годах. Да, да! Такая же тонкая, изящная, породистая, аристократичная. Вот, поди ж! — думал он, любуясь ее легкой походкой, гордой поступью, изяществом движений, — кто скажет, что это простая костромская мещанка, а не природная барыня. Да, она лучше любой барыни!

Покорно, виновато, подошел он к ней.

Взял руку, поднес к губам. Руки она не отняла. "Не натягивай струны!" — вспомнила она совет Марьи Епифановны.

— Гаша, родная, голубка, прости!.. Виноват, виноват, сам знаю. И все-таки, прости: повинную голову, ведь, и меч не сечет. А сделал всё из-за тебя, голову потерял совсем, обезумел, не понимал, что делал...

Прямо и твердо посмотрела она ему в глаза.

Сама печальная, тихая. Помолчала, вздохнула, положила руку ему на плечо:

— Ах, Митя, Митя! — сказала она мягко. Что ты наделал? Зачем, зачем? Ведь, человека чуть не убил. А за что? За что жизнь ему испортил?.. Поезжай, прошу тебя, поезжай немедля к Пушешникову. Упро-

си, умоли его: пусть простит, пусть забудет... А, коль он простит, — прощу и я. А не простит, не знаю, что и будет. Скажи ему, что и я прошу, кланяюсь ему низко, низко.

На следующий день Лихарев отправился в далекий путь.

С ночи лил дождь, дороги развезло, ехали трудно, медленно, не раз останавливались на постоял дворах, кормили лошадей, отдыхали.

Во время долгого пути, Лихарев много думал над тем, что произошло за последние дни, думал и над словами Гаши.

"Конечно, правду она говорит. Надо снять бремя с совести, надо хоть как-то исправить сделанное зло. Приеду к Пушешникову, покаюсь, добьюсь прощения".

Было приятно думать о том, что Пушешников простит его. В этом он был уверен — и тогда всё разрешится и всё уладится. Но, сейчас же начинали одолевать его другие мысли. Во всех словах и во всех поступках Гаши, в ее отношении к нему, было что-то неясное, недоговоренное, смущающее.

" Верно, — сокрушался он, — прошлое живет в ее сердце. Оно, одно время, почти совсем заглохло, почти вовсе умерло. А это я своим безрассудством, своим ненужным, нелепым выстрелом, разбудил, оживил его. Немало, наверно, пройдет времени, пока опять всё сгладится, затянется".

По своей природе, он не мог долго отдаваться унынию, он верил, что всё утихнет, всё пройдет и опять потекут для него счастливые дни.

Когда он возвратился от Пушешникова успокоен-

ным и прощенным, — действительно, казалось, что жизнь потекла по-старому гладко, спокойной чередой обычных дней.

Но, под покровом этой обычности, было что-то скрытое, утаиваемое друг от друга, какая-то едва заметная червоточинка.

Лихарев чувствовал, что будто что-то подломилось. Всё, как будто бы, было, как раньше. А, вот, поди ж ты: то да не то! И ласкова, и приветлива, а, нет, нет, и задумается о чем-то чужом, далеком. И так порой задумается, что не сразу очнется, чтобы ответить на вопрос.

Надо признаться самому себе, что большую — очень большую — власть приобрела Гаша над ним. Правда, так и раньше было — с самого начала. Ну, а теперь, и говорить нечего: раб, подлинный раб! Готов на всё, со всем готов мириться, лишь бы не гнала, дарила улыбкой, лаской, добрым словом.

А Гаша, и вправду, стала часто задумываться. Стала вспоминать недавнее. Вспомнила и Жуковского, разговор с ним, свое смятение, когда от него услышала о Ванечке.

Упорно гнала от себя эти мысли, эти воспоминания. Хорошо понимала, что всё это надо затушить в сердце, выбросить, забыть.

Но это не удавалось. Всё время мысль возвращалась к Жуковскому, к тому, что он сказал ей о Ванечке, о своем разговоре с ним.

Захотелось тогда узнать побольше об этом, таком милом и приятном барине, с таким приветливым взором, с такой ласковой речью. Очень жалела его, когда узнала об его горе, с Машей, взволновалась,

чуть ли не решила ехать к Протасовой, говорить с ней.

Приказала достать себе стихи Жуковского. Ей привезли книжку, недавно изданную, как ей сказали, по желанию самой царицы.

Она заперлась в голубой гостиной, принялась читать стихотворение за стихотворением, стремясь понять каждое, проникнуть в душу поэта, их писавшего.

Еще очень многое оставалось для нее непонятным и недоступным. "Знать, еще мало выучилась", — сокрушалась она.

Илион, Ахилл, Приам, всякие там рыцари, замки, зефиры, фимиамы, всё иноземное — было непонятным, мешало вникнуть в смысл стихов, рождало досаду.

Однако, кое-что, не очень "умное", трогало ее, волновало, отвечая ее тайным чувствам.

Так, весьма понравилось ей стихотворение "Утешение в слезах". Его она поняла полностью и даже заучила:

Скажи, что так задумчив ты?
Всё весело вокруг;
В твоих глазах, печали след;
Ты, верно, плакал, друг?
"О чем грущу, то в сердце мне
"Запало глубоко;
"А слезы... слезы в сладость нам;
"От них душе легко".

Это показалось Гаше очень верным: разве сама она мало поплакала на своем веку, разве после слез не становилось и ей легко на душе? Очень хорошо,

очень душевно написал Жуковский. Хороший сочинитель, доброй души человек!

Понемногу, привыкая к стихам, вчитываясь в них, она всё больше и больше увлекалась ими, начинала понимать их, чувствовать их сладость.

— Послушай, Митя! — говорила она иногда Лихареву. — Как хорошо написано, как чувствительно, как жалостно. Прочитай эти стихи!

Лихареву было приятно и лестно, что у него такая образованная жена, но сам он стихов не читал, да и, вообще, книги наводили на него скуку.

3.

В самый разгар святок, на четвертый день Рождества, в Лисьем Логу, впервые праздновались именины Гаши.

Марья Епифановна посчитала, что уже наступило время вывесть Гашу в свет, показать ее людям. Она считала, что воспитание Гаши почти закончено. Гордилась тем, что, в конце концов, добилась своего: отшлифовала этот бесценный самородок.

Еще-бы, Гаша, раньше дикая, неотесанная, теперь и книги читает, толкует о них со знанием и с умом, стихи полюбила, и, даже по-французски начинает говорить.

И, всё же, Марья Епифановна волновалась.

"Всё может случиться — с тревогой думала она иногда. — Ведь приходится считаться с завистью, с

злопыхательством женским. Они, эти дамы уездные, готовы Гашу в ложке воды утопить“.

Сама же, Марья Епифановна, к Гаше очень привязалась, просто полюбила ее. Дивилась ее уму, ее уменью всё сообразить, поставить, как надо, сделать всё по своему.

Но, всё же, порой, между ними происходили жестокие перепалки, и тогда в воздухе летели и бились вдребезги чашки, тарелки, вазы, флаконы духов.

— Ну, и зелье же! Вот, зелье-то! — говорила тогда Марья Епифановна.

Зато, как довольны, спокойны и благожелательны друг к другу были они обе, когда готовились к предстоящему балу. Обе думали об одном, обе одинаково были настроены.

Перед громадным зеркалом, отражавшим ее с головы до пят, любуясь собой, стояла ослепительная Гаша.

Портнихи и горничные хлопотали вокруг нее; ползали на коленях, что то прилаживали и пришпиливали к ее богатому бальному платью. Шелка, цветы, ленты, кружева, разбросанные по ковру, пестрели ярким ворохом.

— А, вот попробуй, пожалуй, хорошо будет вот эту розу прикрепить к корсажу. Как ты думаешь? — озабоченно спрашивала Марья Епифановна.

Она сидела в кресле, смотрела в зеркало и непритворно любовалась Гашей.

”И, впрямь, королева, красавица писанная. Откуда только такие берутся? Недаром же, Глафира Петровна, богатейшая, злющая и непомерно гордая, тетка

Мити, встретившись с Гашей, покоренная ею, сложила гнев на милость и признала ее своей".

Загодя, по первопутку, Лихарев, вместе с приказчиком Васей, съездил в Орел за шампанским, за винами, за красной рыбой, икрой, сырами, конфетами, фруктами.

Подходящего подарка для Гаши в Орле не оказалось. Оставив Васю везти продукты домой, Лихарев поехал в Москву, где за баснословную цену купил жемчужное ожерелье и брильянтовые серьги.

Несмотря на сильнейшие морозы и мятели, бушевавшие всё Рождество, — на именины съехалось множество гостей отовсюду, даже из "губернии" и из самых дальних уездов.

Бал, о котором так давно и много думала Гаша, — показался ей сказочным, волшебным.

Эти, то вкрадчивые, то подмывающие звуки оркестра; это ровное и спокойное сияние горящих в люстрах свечей, придающее женским лицам, их обнаженным плечам и рукам, какую-то золотистую смуглость; это сдержанное волнение нарядной и благоухающей толпы, текущей непрерывным красочным потоком женских нарядов, цветов, мундиров, фраков, а главное, это, ощущаемое всем существом, текущее к ней со всех сторон, общее восхищение ею, — всё это окрыляло ее, пьянило, делало несказанно счастливой.

Глубокой ночью вернулась она наверх в свою спальню.

Бал кончился. За морозными окнами было слышно, как скрипят полозья саней, как фыркают лошади

и брякают бубенцы. Это уезжают близко живущие гости. Дальние уже разошлись по своим комнатам.

Гаша утомленно, без сил, опустилась на кресло перед туалетным зеркалом.

Снимая брильянты — они вспыхнули, засверкали в матовом свете свечей — она пристально вглядывалась в свое побледневшее лицо, в глубокие, темные глаза, оттенные синими тенями.

Глаза эти как-будто говорили: "Да, да! Я счастлива, счастлива безмерно. Сегодня осуществились все мои давние, заветные мечты".

Всё было именно так, как она представляла себе раньше: ослепительно, блестяще.

В белом атласном платье, с розой у пояса, в белых перчатках до локтей — она, как будто совершенно спокойная, уверенная в себе, а, на самом деле, сердце трепетно билось — в польском плыла в паре с барственным, учтивым и любезным предводителем дворянства. А, потом, с бригадным генералом она танцевала мазурку.

Седоусый, молодецкий, туго затянутый в уланский мундир, красуясь и горячась, он вел ее уверенно и искусно, изобретая, на ходу, в увлечении, самые замысловатые фигуры.

Как бы наперед зная его намерения, Гаша послушно и согласно, гордо, как победительница, подняв свою голову, скользила, мелькая золоченными туфельками, по паркету, отражавшему ее белую, туманную тень.

И, когда, генерал, опьяненный молодостью и красотой своей дамы, в молодецком порыве, скользнув

на одно колено и высоко подняв над своей головой ее пальцы, стал обводить ее вокруг себя, — все глаза в восхищении, обратились к Гаше.

О! Какое это было острое, пьянящее наслаждение; какое необыкновенное счастье, какое, веселящее сердце, ощущение победного торжества!

Дальше, за ужином, когда пили за ее здоровье, когда чуть слышно звенели хрустальные бокалы и шампанское золотом искрилось в них, — вокруг нее теснились очарованные ею мужчины, целовали ее руки, а она подняв голову, чуть-чуть улыбалась своей всегдашней, загадочной, дразнящей улыбкой.

Да, для всего этого стоило жить! Именно такая — пышная, богатая, блистательная жизнь—достойна ее красоты, ее ума, ее настойчивой воли.

Жить всегда в атмосфере всеобщего обожания, преклонения и восхищения — вот ее удел, ее судьба, ее призвание!

Ну, а тоска, томление, грустные воспоминания, вздохи и слезы, коим она отдавалась совсем недавно — всё это вздор, недостойная, и ей ненужная временная слабость!

...Очень усталый, но и очень довольный, вошел Лихарев.

В полном изнеможении он упал в глубокое кресло; с видимым облегчением вытянул ноги, и, вытирая душистым платком влажный лоб, сказал:

— Ног под собой не чую. Страшно устал... Но, как будто, всё было как следует... Боялся, что вина не достанет. Однако, хватило. Придется, пожалуй, завтра послать Василия в город за подкреплением.

Он зевнул, помолчал. Взглянул на Гашу, глаза их встретились.

— А, ты — сказал он, бледнея — была просто изумительна. Скажи же, дорогая, довольна ли ты?

— Довольна? — повторила она задумчиво. — Нет, довольна — это не то слово! Я счастлива, очень счастлива — сказала она сияя. — Подойди же ко мне, я тебя расцелую.

С радостью убедился Лихарев, что туча пронеслась и что жизнь вновь вошла в свою привольную и счастливую полосу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I.

Сколько Ванечка себя помнил, — в классной комнате богдановского дома, с незапамятных времен, как привычное украшение, уже почти незамечаемое, — висела старая, пожелтевшая, обтрепанная на сгибах и на углах, ландкарта, еще екатерининских времен.

На ней уже значились те великие приобретения, которые были сделаны великой императрицей после первой войны с турками, когда, по Кучук-Кайнарджийскому миру, России был возвращен Азов с побережьем, а российская граница была продвинута до Кубани.

Всё пространство на юг от Курска и Воронежа, на карте, было представлено обширной зеленой пустыней, с редкими кружками, затерянных по Дону и его притокам, казачьих станиц.

В этих станицах — так представлял себе Ванечка — земляные валы, сторожевые вышки, медные пушки, постоянно, в ожидании вражеского набега, оседланные

лошади, и смелые, удалые, ничего не страшащиеся казаки, с пиками и кривыми шашками.

Кавказ же, на карте, рисовался широким, в синей рамке двух морей, зеленым перешейком, на котором неуверенной рукой, предположительно, были нанесены: густо коричневые горные хребты и синие извилистые змеи мощных кавказских рек с сетью их притоков.

Что было в этой загадочной стране, Ванечка и представить себе не мог.

Знал только, что там снежные горы, подымающиеся к самому небу, что там живут какие-то хищные татары, ведущие непрерывную войну с казаками и с драгунами Таганрогского полка, в котором давным давно служил папенька.

В зимние вечера, на широком диване в гостиной, отец, увлекаясь, рассказывал ему немало всяких занимательных историй о кавказской службе. В отцовском кабинете, на стене, висели драгунская шашка и большой кавказский кинжал. Они притягивали к себе, возбуждали большой интерес, рождали какие-то приятные мечтания.

Грамоте, арифметике и другому отец сам учил Ванечку педантично и терпеливо. Увлекался во время урока математики, которую очень любил.

И бывало, во время скучных классных занятий, он иногда, как бы невзначай, рассеянно подходил к карте, останавливался перед ней и, глядя на нее чуть-чуть улыбался, видно вспоминая что-то приятное и далекое.

Ванечка знал, что папенька в эти минуты вспоми-

нает старину, видит на карте безграничную зеленую степь, простирающуюся перед бастионами Александровской крепости, синеющую вдали гряду кавказских гор и, как бы парящие над ними, серебряные вершины Эльбруса, поднимающегося из тумана, окутывающего его подножье.

Наверно, вспоминалось ему, как нежно зеленела трава на земляных крепостных валах, как лепестки вишень и абрикосов залетали в открытое окно его домика, и весенний ветер шевелил его волосы.

Вспоминал он и военные тревоги, набеги чеченцев, предводительствуемых знаменитым Шах-Мансуром.

Тогда он, юный и пылкий, в драгунской каске, в алых шароварах с золотыми зубчатыми лампасами, — мчался в драгунских рядах в погоне за дерзкими хищниками.

Потом был долгий и нелегкий поход на Анапу, штурм этой неприступной крепости, победа.

Вражеские трупы, прибиваемые бурной морской волной к песчаному берегу, продымленные башни и крепостные стены, — всё чужое, незнакомое, волнующее.

Обратный путь к своей крепости, биваки на крутых речных берегах, огни костров, звон молота в походной кузне, звуки вечерней молитвы.

Вспоминались прохладные ночи, высокие звезды, всё торжественное и величавое, что заставляло сжиматься сладкой печалью его, тогда молодое, сердце.

Тогда он, в глубокой задумчивости, останавливался у окна, чуть слышно отбивал дробь по стеклу

и начинал вполголоса, приятным баском, напевать торжественный гимн тех времен, прославлявший великую Екатерину:

Гром победы раздавайся,
Веселися, славный росс,
Звучной славой украшайся,
Магомета ты потрес!

Воды быстрые Дуная
Уж в руках теперь у нас,
Храбрых россов почитая,
Тавр под нами и Кавказ.

. . . .

Отец боготворил покойную императрицу. Да и сам Ванечка любил останавливаться перед ее парадным портретом, висевшим в гостиной.

Она, величавая и милостивая, с ямочками на щеках, с чарующей улыбкой, змеящейся на тонких губах, со скипетром в руке, в муаровых лентах, — казалась ему недостижимо прекрасной.

Ванечка знал, что отец, после лицезрения старой ландкарты и после слов: "Славься сим, Екатерина! Славься, нежная к нам мать!", как бы венчавших хвалебный гимн императрице, — некоторое время находился в особо размягченных и растроганных чувствах.

— Ну, ступай, ступай!.. — говорил он обычно Ванечке. — Довольно на сегодня. Спрячь тетради. Иди, играй!

Своей сухой рукой, приятно пахнущей духами и каким-то душистым мылом, он ласково теребил не-

покорные вихры белокурых волос Ванечки.

Тот растроганно целовал отцовскую руку, срывался с места и мчался на двор играть в бабки с дворовыми мальчишками. Тепло отцовской ласки еще долго согревало его.

. . . .

Удаляясь от родных мест и углубляясь в бескрайние южные степи, — Пушешников всё больше и больше подпадал под мощное обаяние этого необыкновенного края.

"Не так уж людно и у нас в нашем уездном захолустье — размышлял он, трясясь в дорожном тарантасе — и пустынно, и глухо, и диковато. Недаром кое-где и разбойнички пошаливают.

Ну, а тут уже настоящая пустыня. Но, зато, какая ширь, какой живительный простор, какое необыкновенное, бодрящее ощущение приволья и радости жизни."

Была ранняя весна, зеленая степь цвела алыми, желтыми, белыми тюльпанами; у степных озер, речек, болот, хлопотали птичьи стаи; солнце грело почти по-летнему.

В туманной дали, разлившегося как море, Дона, подымались неясные очертания древних громоздких соборов старой донской столицы, Черкасска.

А там, на высоком, глинистом, изрезанном оврагами, донском берегу — крепость святого Дмитрия Ростовского.

Теперь она уже отслужила свое: ногайцы еще Суворовым переселены на Волгу, а кавказские горцы

оттеснены за Кубань. Крепость захирела: бастионы и шанцы обветшали.

Но, зато, бурливой жизнью кипят, выросшие у крепостных укреплений, посёлки и слободки, заселенные торговыми людьми, пришлым из России людом, удалым, бесшабашным, вольным.

Шумят день и ночь питейные дома и шинки, бурлит в них вольница; гомон, толкотня, песни, потасовки, драки, летят табуретки, сверкают ножи, звенит разбиваемая посуда.

Здесь же гулящие, хмельные девки — есть и красивые — поют, пляшут, сидят в обнимку с подгулявшими завсегдатаями.

Нет и следа привычного подобострастия: никто не ломает шапки перед барином и офицером. Все равны здесь.

Терпкое донское вино неслышно пьянит, туманит голову, делает всё легким, возможным, позволенным.

Рано утром очнулся Пушешников в незнакомой, убогой каморке, с тяжелой головой, с чувством непроходимого стыда, жгучего раскаяния. Смутно вспоминал чьи-то лица, звуки песен, звон стаканов, женский шопот, чьи-то горячие руки.

... Дальше, за Доном, степь становится всё глуше, всё девственнее, безлюднее.

Путь идет по старой моздокско-азовской линии: по нему движутся полки, идущие на пополнение грузинского корпуса, идет почта, ползут обозы, едут проезжие офицеры по казенной и собственной надобности.

Через каждые десять-пятнадцать верст редут: сторожевая вышка, землянки, коновязи.

Как-то в пути захватил ливень. Набежали тучи, степь посинела, заполыхала молния, весело загрохотал гром. Запахло прибитой пылью, травой, степной свежестью.

Укрылись в ближайшем редуте.

В землянке привычные солдатские запахи: шинелями, махоркой, ржаными сухарями. Солдаты рады заезжим; изныли, стосковались в безлюдьи.

— Поверьте, ваше благородие, вовсе пропадаем здесь, — говорит заслуженный унтер. — Ведь за сорок верст ближний хутор. Бабы? Да где ж их взять, пропадаем без них. Некому рубаху постирать.

Он суетится, не знает, чем угостить офицера.

— Не угодно ли винца отведать. Цимлянское, первый сорт!..

— Ну, а как татары?

— Татары? Да, бывает, налетают. С полгода, как в соседнем хуторе стадо угнали. Да теперь много тише стало. Много войска сейчас идет на Кавказ. Валом валит, видно теперь по-другому пойдет: Ермолов Алексей Петрович прибывши... Проезжал здесь. Орел!.. Знаем его, под Кульмом воевали с ним вместе...

Близились кавказские горы и одновременно, вместе с этим, росла молва о непобедимом, властном и грозном Ермолове. Что-то новое, бодрящее и гордое входило в боевую кавказскую жизнь.

2.

На Северном Кавкаэе — осень прекрасная, теплая, сухая. Долго, иногда чуть ли не до декабря, стоят ясные дни.

Воздух удивительно прозрачен, и далекие, синие горы рисуются на горизонте с необыкновенной четкостью. Кажется тогда, что до них рукой подать, а на самом деле, за три дня до них не доскачешь.

Степь выгорела, побурела, лишь в речных долинах ржавеют и краснеют кусты, оживляя унылые дали.

Георгиевск — губернский город Кавкаэской губернии. Но пока губернского еще в нем мало.

Несколько каменных домов: штаб корпуса, присутственные места, собрание, выстроенные солдатскими руками. А вокруг лепятся неказистые домишки, крытые камышом, плетни, садики, огороды.

Горная речка Подкумок, обмелевшая за лето, ленивым ручьем струится между камнями.

На высоком берегу недавно насажен общественный парк. Там, по вечерам, иногда играет полковая музыка, и местное общество прогуливается точно так, как где-нибудь в Костроме, или в Калуге.

И всё же, это уже Кавказ! Для Пушешникова всё здесь непривычно и любопытно. Он ко всему присматривается, прислушивается.

Здесь, приехавшие, по делам службы, офицеры с линии, загорелые, отвыкшие от сюртуков, эполет и белых перчаток, в которых они сейчас неловко щеголяют.

В башлыках, в бурках, стройные — ходят не-

слышно, пружинисто, как барсы, — замкнутые в себя, молчаливые горцы, казаки, воинские команды, и здесь же, вдруг, мелькнет шляпка, зонтик — это полковничья или майорская жена, в казенном экипаже, подымающем облако пыли, едет в лавки за покупками.

В собрании суета, шумные разговоры, приветствия, объятия.

Только и слышно: "Алексей Петрович — сказал; Алексей Петрович — приказал!.." Только о нем и говорят.

— Не успел приехать, — рассказывают с восторгом, — а уже показал себя. Майор грузинского полка, Шевцов, ехавший в отпуск из Шемахи, — был схвачен чеченцами. Сидел месяцами в какой-то вонючей яме, в колодках. Чеченцы потребовали за него выкуп — какую-то невероятную, баснословную сумму. Вся Россия начала собирать на выкуп деньги. А вот, Алексей Петрович, узнав об этом, приказал вызвать всех кумыкских князей, по земле которых везли Шевцова, посадил их в Кизляре в крепость и объявил...

Рассказчик приостанавливается и торжествующе смотрит на слушателей.

— Знаете, что он им объявил?

— Что же, что?

А вот что: ежели через десять дней Шевцов не будет на свободе — все восемнадцать кумыкских князей будут повешены на крепостном бастионе. И вот, Шевцов на свободе! О, Ермолов себя покажет!..

. . . .

— Я никогда бы не поверил, что ты можешь желать назначения на Кавказ, однако меня убедили Волконский и Аракчеев, — говорил государь Ермолову, когда решался вопрос о назначении его главнокомандующим в Грузию и чрезвычайным посланником в Персию.

Император Александр Павлович питал слабость к независимому и смелому Ермолову.

Он снисходительно относился к язвительным остротам и к красным словечкам, до которых Ермолов был очень падок и которые создали ему немало недоброжелателей.

Среди них был и сам Аракчеев.

Его, с крайне неказистой внешностью — тусклые, оловянные глаза, красный нос, сутуловатая фигура — прямо-таки физически раздражал молодцеватый, блестящий вид этого молодого генерала: гордая посадка головы, уверенность движений, смелый взгляд, не говоря уже об его вольномыслии и строптивости.

И, однако, когда возник вопрос о замещении должности военного министра, он, преодолевая свою неприязнь, ворчливо сказал государю:

"Правда, назначение Ермолова военным министром будет для многих неприятным. Он начнет с того, что погрызется со всеми. Но деятельность, ум, твердость характера, бескорыстность и бережливость его вполне оправдают впоследствии."

К общему удивлению, Ермолов отказался от министерского поста, а испросил себе назначение на Кавказ.

Награды, почести, близость к двору, да и само

дело, при всей кажущейся его обширности, сложности и интересе — не привлекали его.

Всё это было не по его гордости, не по его жажде власти, не по его страстному стремлению к независимости и самостоятельности.

Императором Павлом Петровичем, в свое время, он был послан в ссылку, в Кострому.

Там он усердно учился у местного протопопа латинскому языку. Научился в подлинниках читать римских классиков. Очень полюбил чеканный строй латинской речи, ее твердость и звучность.

Испытывал необыкновенное наслаждение, читая записки Юлия Цезаря о галльских войнах. Завидовал этому необыкновенному человеку — полководцу, устроителю государства, политику, дипломату, писателю.

Часто воображал его в походном шатре, в дремучих лесах Галлии: костры, римские орлы, бряцанье медных доспехов, разгром и разорение диких племен, оттесняемых куда-то в лесные дебри непобедимыми легионами.

И вот, теперь, наяву, ему назначено судьбой повторить подвиги Юлия Цезаря. Он станет "проконсулом Кавказа“, который, подобно великому римскому императору, принесет силой русского меча и силой русского имени диким племенам, в их лесные и горные дебри, начала государственности, права и порядка.

Править, почти самостоятельно, громадным и воинственным краем, самому решать вопросы первостепенной важности, держать в своих руках судьбы

племен и народов — вот увлекательнейшая задача, отвечающая его тайным стремлениям, давним желаниям и мечтам.

Конечно, роль, полусвязанного в своих решениях и действиях военного министра, никак не могла равняться тому, что его ожидало на Кавказе.

Раньше он никогда не действовал как дипломат. И теперь, принимая назначение в Персию в качестве чрезвычайного посланника русского императора, он не был вполне уверен в успехе своей миссии.

Но, как бывалый охотник, увидевший нового, ранее им невиданного зверя, он уже загорелся охотничьим пылом, наперед обдумывая все хитросплетения будущей охоты.

— Не с равным удовольствием принимаю я назначение меня послом в Персию, — говорил он, уезжая из Петербурга. — Меня устрашают дела, по роду своему совершенно незнакомые. Я слышал о хитрости и коварстве персиян и отчаиваюсь исполнить с успехом поручение государя. Ничто так не оскорбляет самолюбие, как быть обманутым, а я никак не надеюсь избежать этого.

Говорил он так далеко не искренне, ибо в глубине души был совершенно убежден, что обманут не будет.

Он наперед наслаждался мыслью, как ему удастся сломить хитрых и коварных персиян и как он заставит их почувствовать русскую мощь.

. . . .

Узнав, что Ермолов сейчас в Георгиевске, Пу-

шешников загорелся: ему страшно захотелось увидеть его.

— Нет ничего легче, — сказали ему. — Каждое утро генерал, очень рано, отправляется на утреннюю прогулку, на берег Подкумка.

Утром, далеко до начала присутствия, возле штаба собрались кучкой офицеры. Сидели в садике, попыхивали короткими кавказскими трубочками, ждали.

В старом сюртуке, без эполет, с дубинкой в руках — в дверях показался Ермолов.

Безобразный бульдог терся у его ног. Рядом шел полковник Вельяминов, начальник штаба, сумрачный, некрасивый. Говорили про него, что он холоден душой, равнодушен, никогда о потерях не жалеет, но способен и талантлив в сильной степени.

Офицеры вскочили, окружили Ермолова. Тот подружески, ласково заговорил, расспрашивал.

Был он такой же, каким видел его Пушешников в тринадцатом году.

Тот же смелый взгляд из-под сдвинутых бровей, та же складка между ними. Такой же могучий.

Он снял фуражку и было видно, что в его буйных волосах появилась седина. Усы, которых раньше не было, придавали ему еще более суровый, и более мужественный вид.

Он заговорил. Пушешников помнил его энергичную манеру говорить, его меткий, образный язык, редкое красноречие.

С жадностью слушал он слова Ермолова.

Ермолову очень заманчиво было, в виду кавказ-

ских гор, сказать что-то значительное, что произвело бы впечатление, что запомнилось бы, распространилось бы в войсках, стало бы темой разговоров у бивачных костров, в офицерских землянках, в глухих укреплениях.

— Кавказ! — сказал он Вельяминову, но так, чтобы слышали все, — это громадная крепость, которой мы должны овладеть! Взять ее штурмом мы не можем, у нас нет для этого сил. А раз так, то обложим ее, возьмем правильной осадой, заставим сдаться!

Остановившись на речном берегу, он смотрел пристально вдаль, туда, где гордо подымались неприступные горы и скалы — стены той самой крепости, которая непременно должна пасть под ударами русского оружия.

— Хочу, — сказал он властно, — чтобы имя мое стерегло страхом наши границы крепче цепей и укреплений, чтобы слово мое было для азиатцев законом, вернее неизбежной смерти! Больше никогда Россия не будет данницей дагестанских ханов и чеченских старшин!

"Как хорошо, как умно и верно говорит он" — восхищался Пушешников.

Да, видно, и не один он. Искоса он видел, как седоусый капитан жадно ловил слова Ермолова, одобрительно кивал головой, что-то мычал про себя, и, волнуясь, кусал свои усы.

— До сих пор эти разбойники своими набегами вынуждали Россию платить им дань — продолжал уже спокойно Ермолов, прямо обращаясь к офицерам. — Теперь этому конец. Пусть выбирают любое

— покорность или истребление ужасное!

Вероятно, ему и в голову не приходило, что племена и народы, о которых он говорил и которых намеревался привести к покорности или истребить, — хотят жить по-своему, так, как жили их предки и что они имеют на это право. Об этом он никогда не задумывался. Он считал естественным их подчинение России.

В его устах слова: "Я россиянин!" звучали так же горделиво, как в устах Юлия Цезаря звучало: "Я — римский гражданин". Само собой подразумевалось, что в том и другом случае, — все другие должны трепетать и покоряться.

— До свиданья, господа! — сказал Ермолов, расставаясь с офицерами. — Я отправляюсь в Персию, буду вести переговоры с этими мошенниками: с шахом Фет-Али и его наследником Аббас-Мирзой. Последний — продувная бестия. С вами же скоро встречусь, когда пойдем в самую глубь Кавказа.

Он очень учтиво и приветливо раскланялся.

Пушешников долго смотрел ему вслед. Опираясь на дубинку, держа фуражку в руке и разговаривая с Вельяминовым, — Ермолов, большой и громоздкий, не торопясь возвращался в штаб. Прикусив язык, за ним угрюмо трусил его любимый бульдог.

— А они чем-то похожи один на другого, хозяин и собака, — неожиданно подумал Пушешников. — У обоих — такая же свирепая крепость, упорство, непреклонность. Наверно и хватка такая же — раз вцепятся, то уж не выпустят.

От этой мысли ему стало весело. Да, вообще,

эта встреча оживила и укрепила его. Он почти уже не жалел, что судьба забросила его на Кавказ.

"Служить под начальством такого необыкновенного человека, как Ермолов, — почетно и завидно, — размышлял Пушешников. — Я еще молод. Еще не время зарываться и киснуть в белёвской глуши. Рано бежать от жизни. Надо взять от нее всё светлое и темное, радостное и горестное, славное и низменное!"

3.

В бодром и веселом настроении духа, отправился Пушешников на службу в Чечню. Службу нести был он назначен в передовом укреплении, в месте первобытном и диком.

Пробраться туда было очень трудным и опасным делом. На каждом шагу, за каждым поворотом извилистой, кремнистой тропы, за каждым кустом, свисающимся с горной кручи, — таилась опасность.

Двигались с "оказией" медленно и осторожно. Дымилась медная пушка, позвякивая колесами; солдаты вольно, без строя, шли спереди и сзади, спокойно дымя трубками, переговариваясь и пересмеиваясь. Однако, смотрели по сторонам с привычным вниманием и настороженностью.

Не скоро добрался Пушешников до места своего назначения, до горного укрепления, угнездившегося на скале у берега, вечно ревущей горной речки.

И, вот, теперь, тот самый Кавказ, неведомый, сказочный, связанный в памяти с отцом, стоящим в классной комнате перед старой ландкартой, — здесь,

перед ним!

Даже не верится, что всё это грандиозное, непостижимое, — здесь перед его глазами.

А, между тем, это несомненно так!

Бешенно ревет белой пеной и сверкающими брызгами, прыгая по мокрым и скользким камням, горная река.

Дымчатое ущелье — нагромождение голых скал и нависших над пропастью каменных глыб — курится разорванными клочьями, ползущего из пропасти, тумана.

Поднимающееся высоко над горой, солнце гонит тени, съедает туманные клочья.

В долине серебряной нитью вьется речка, а по ее берегам лепятся плоские крыши ближнего аула и возвышаются первобытные, дикого камня, боевые башни и могильники.

И, над всем этим — недостижимые горные вершины чудесной чистоты.

Снега ослепительной белизны, голубые тени ледниковых трещин и провалов, глубокая и густая синева неба.

Всё чудесно, чисто, холодно и бесстрастно в своей вечной красоте!

А поздно ночью, торжественная, нерушимая тишина.

Рев горного потока, далекий лай шакалов, грохот катящегося где-то камня — только углубляют, только подчеркивают это таинственное безмолвие.

Часто, проверив караулы, Пушешников садился на крепостном валу в углу бастиона.

Он прислушивался к ночным шорохам и шопотам, смотрел как над ближней горой подымается туманная луна, как легкое облачко скользит по светлеющему небу.

И тогда, в виду этой торжественности, величия и неизмеримой мощи, — он начинал чувствовать себя безмерно одиноким, заброшенным, ничтожным.

И, вместе с тем, в душе росло сознание того, что и он, маленький и слабый, — живая частица этого прекрасного мира и что душа его отражение той божественной сущности, что одухотворяет этот грозный и величавый мир!

. . . .

Что я? Ничто! Но Ты во мне сияешь
Величеством своих доброт.
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.

Вновь вспоминал он отца.

Ведь, это он, восхищаясь мощной и дерзновенной музой Державина, приучил его повторять в минуты восторга, те замечательные слова, глубокую сущность которых тогда он только чувствовал:

Я царь, я раб, я червь, я Бог!

Теперь же, перед этими наглядными проявлениями могущества и славы Господней: перед неприступными горами, ревущими потоками, бурями, грозами и звездами —он в полной мере постиг глубокий смысл державинских стихов.

На первых порах, когда еще не ослабело могучее обаяние Кавказа, Пушешников долго не мог привыкнуть к тому, что местный люд, давно живущий

здесь, так равнодушно, с такой скукой проходит мимо всего того, что так поражало и чаровало его.

Своим поведением, своими привычками, своей скучной повседневностью, они — как казалось Пушешникову — как будто говорили: "Пусть вздымаются эти величавые громады, пусть они сияют своей вечной белизной, пусть грозно мчатся и воют горные реки. Какое нам дело до них? Мы, всё равно, как всегда, будем играть в карты, пить плохую водку, ссориться, браниться, завидовать друг другу."

Это возмущало Пушешникова.

Немало времени прошло, прежде чем он раскусил как следует этих незаметных людей и узнал, что, в минуты опасности, в бою, в бедах и лишениях, они, по-настоящему мужественны, героичны и даже велики в своем простодушии, в своей скромности и простоте.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1.

Успешно завершив посольство в Персии, Ермолов говорил: "Иначе и быть не могло: трудно умничать, когда государя слава велика и Мать-Россия могущественна..."

На самом же деле, "умничать" пришлось немало и успех дался не так легко, как можно было заключить из слов Ермолова.

Говорил же он так нарочно для того, чтобы, преуменьшая свои заслуги, сильнее оттенить всю важность им сделанного.

Не трудно было догадаться, что сказанное им — только прикрытие великого довольства самим собой и того острого честолюбия, которое сам Ермолов считал "первым своим злодеем".

Сложные хитросплетения, которые он изобретал и применял в переговорах с лукавыми персиянами, доставляли ему истинное удовольствие.

Каждый удачный шаг, каждое удачное и острое

слово, помогавшие ему подчинять своей воле противника, — несказанно тешили его самолюбие.

Все средства для успеха были пущены им в ход.

"Я уверял персиян — рассказывал он, — что предки мои татары, а сам я потомок никого иного, как Чингис-Хана. Когда же у меня недоставало убедительных доказательств, — я действовал зверской рожей, огромной фигурой своей, которая производила ужасное действие, да еще широкой глоткой. В самом деле, они думали — не может же человек так сильно кричать, не имея справедливых и основательных причин для этого".

Но, конечно, самое главное, что действовало на воображение и волю азиатов, — было ощущение необыкновенной силы, великолепия и пышности, которые несло с собой русское посольство, возглавляемое Ермоловым.

Лучшего посла для Азии, нежели он, придумать было трудно.

21 мая 1817 года, Ермолов, в Тавризе, следовал на прием к персидскому наследному принцу Аббас-Мирзе.

Утро было очень сухое и знойное, зеленые шапки окрестных гор мерцали в разгоряченном воздухе; копыта лошадей подымали сухую пыль.

Переносить зной было очень трудно. Мучили тугие, расшитые золотом воротники, застегнутые на все пуговицы, затянутые в талиях, толстого сукна, мундиры, треуголки, перчатки. Однако, ради славы России — все тяготы и неудобства надо было перетерпеть.

Посольство было обставлено с великой пышностью. Сам Ермолов ехал на великолепном коне, которого ему прислал наследник персидского престола.

Русские музыканты, сверкая ослепительной медью труб, играли воинственные марши. Взвод гренадер и казачий конвой в красных мундирах — умножали ощущение русской силы и непобедимости.

Проходили по узким, кривым и грязным улицам, по базарным площадям, мимо лавок, мастерских, кофеен, цирулен, караван-сараев. Гам, галдеж, суета, резкие крики ослов, рев верблюдов, выкрики торговцев, разносчиков, водоносов — всё в движении, в непрерывном шуме.

Расступаясь и теснясь, толпа с жадным любопытством глядит на иноземцев. Грязные, в лохмотьях, всклокоченные дервиши, со спутанными, свалявшимися бородами и со сверкающими злобой глазами, выкрикивают что-то вслед русским, плюются, грозя кулаками.

Но, всё равно, посланник русского падишаха, богатырь, надменный и грозный — производит на толпу сильнейшее действие. Молва о нем бежит, ширится растет, приобретая фантастические, гигантские размеры.

Даже и на Аббас-Мирзу, человека очень умного, хитрого, злого и коварного, — Ермолов производил сильное действие: он, этот восточный властелин, привыкший к всеобщему раболепству, не то что робел перед Ермоловым, но как-то терялся, лишался обычной уверенности в себе, не находил опоры ни в своем уме, ни в своей восточной изворотливости.

— Надменные персияне ожидают от меня низких угождений, — говорил Ермолов своим дипломатическим советникам Негри и Соколову. — Их они не дождутся. Русский не упадет ниц перед троном шаха! Мы не пойдем к нему без обуви, в красных чулках, как делал это посол Наполеона генерал Гардан и как делал английский посол, искавший умалить наше влияние в Персии. Мы, прибывшие сюда не с чувствами наполеоновского шпиона, и не с жадными расчетами купечествующей нации, — не пойдем на унижение, памятуя, что представляем здесь особу государя и Россию. Сидеть я буду не на земле, а рядом с шахом, как равный с равным.

Всё и вышло так, как говорил Ермолов.

Не говоря уже о красных чулках, которые были отвергнуты самым решительным образом, Ермолов наотрез отказался войти в покои принца без свиты, которая рассматривалась персами как челядь и, по их мнению, должна была оставаться на дворе.

Однако, делать было нечего, и Аббас-Мирза, не допускавший мысли о том, чтобы кто-либо дерзал попирать его ковры сапогами, решил принять всё посольство не во дворце, а на его пороге.

Сначала русские были проведены через большой пустынный двор, затем прошли через маленький и темноватый дворик со сводчатыми переходами, с решетками по стенам, за которыми угадывались многие любопытные глаза.

И, наконец, третий двор, залитой солнцем, веселый и живописный, точно взятый из сказок Шехеразады. Стены украшены яркими, искусными узорами;

на мраморные плиты, коими вымощен двор, ложатся густые голубые тени; звонко журчат фонтаны, рассыпающие дымные облака освежающих брызг; горят, как живые рубины, пахучие розы; тополя, чинары бросают приятную тень.

Всё это, веселое, убаюкивающее, ласкающее, говорит о ленивой неге, о полусне под говор фонтанов, о любовных песнях, о сладких стихах персидских поэтов, о бездумных утехах, покойно текущей жизни.

Да, это подлинный восток, настоящая восточная сказка!

Да и люди здесь холеные, изнеженные, привыкшие к приятной лени, к сладкому безделью, к нерушимому покою.

Под навесом ярко зеленого шелка, пронизанного солнцем — Аббас-Мирза. Тонкий, высокий, горбоносый, глаза умные и пронзительные; холеная черная борода. Он очень властолюбив, умен и умеет искусно владеть собою. Русских ненавидит, но очень любезен, приятен в обхождении. На нем высокая заостренная шапка, а за красным шалевым поясом сверкает бесценными алмазами кривой кинжал.

Рядом три мальчика: брат, сын и племянник; томные, черноглазые, в золотых с синью парчевых одеждах.

На ярком солнце вся эта группа горит яркими красками, золотится, сияет, слепит глаза.

— Где же его высочество? — спрашивает Ермолов.

В отместку за прием на дворе, он делает вид, что не узнает наследного принца. Ему, с удивлением, гла-

зами, указывают на Аббас-Мирзу.

Ермолов снимает треуголку, клонит только голову, и то не низко.

Аббас-Мирза делает три шага вперед, протягивает ему руку; принимает царскую грамоту, подносит ее, закрывая глаза, ко лбу в знак глубокого почтения.

В таком же духе всё пошло и дальше.

Шах Фет-Али принял Ермолова в летнем своем стане Султаниэ.

Он был уступчивее, сговорчивее и мягче, нежели Аббас-Мирза. Был умен, но, — казалось Ермолову, — изнеженный и пресыщенный, с головой ушедший в утехи гаремной жизни, он мало интересовался государственными вопросами.

"Оставьте меня в покое, не надоедайте мне. Не всё ли равно, в конце концов, где пройдет пограничная черта в Карабагском ханстве", — казалось, говорили его влажные, томные глаза, когда он со скукой на своем красивом, смуглом и горбоносом лице прислушивался к разговорам о границах и лениво накручивал на палец, украшенный бесценным камнем, черно-смоляной завиток своей пышной и искусно завитой бороды.

Этот, одетый в сверкающие одежды, в парчу и шелка, сверкающий самоцветными камнями, украшенный звездами — восточный деспот, "тень Аллаха на земле", как именовал он сам себя, — подобно наследному принцу, но, пожалуй, еще легче, незаметно поддавался властному влиянию Ермолова, этого великолепного великана, несгибаемую внутреннюю силу ко-

торого он живо чувствовал.

— Шах, — рассказывал Ермолов, — гордился вниманием моим к нему. И даже то, что я, отказавшись от красных чулок, позволял, при входе во дворец, обтирать пыль с моих сапог — считалось им за одолжение с моей стороны. Больше же всего нравилась шаху лесть, отраву которой я приуготовлял на европейский манер. Азиатская лесть — грубая и неискусная — ему уже приелась. Моя же была для него в новом роде.

Немалое значение имели и подарки, привезенные шаху от государя и от обеих императриц.

Его, конечно, трудно было удивить чем-нибудь: к роскоши, переливающей через край, он привык от рождения.

Но всё же, глаза его сверкнули жадным блеском, когда он увидел брильянтовое с сапфирами перо, отягощенное жемчужными кистями, и, особенно поразившие его, бронзовые часы ввиде слона в самоцветных каменьях и хрустальный, оправленный в золото, кальян.

Недоверчивые и подозрительные персияне, были совершенно обворожены и покорены Ермоловым.

Ни одна, приобретенная "кровью нашей", область, отошедшая к России по гюлистанскому договору, — не была принесена в дань персам. Карабагское, Шекинское, Ганджинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское, Талышинское ханства — все целиком остались под властью России.

Счастливый и довольный, Ермолов, спеша, — пребывание в Персии затянулось до октября, — возвра-

щался в Тифлис. С удовольствием оставлял он эту страну, ее выжженные палящим солнцем равнины, белоснежную громаду легендарного Арарата, возвышающуюся над цепью гор, у подошв которых белели башни, купола и плоские кровли Тегерана.

Впервые довелось ему вплотную прикоснуться к самому настоящему, классическому Востоку, к стране седой древности, связанной в памяти с великим именем Александра Македонского и со многим другим, что уже давно сделалось легендарным, сказочным.

Когда-то могущественное и славное царство, Персия, ныне переживало время глубокого упадка: оно, как бы, устало, одряхлело, потеряло способность к действию.

Жизнь ее шла в ленивой дреме, в духоте гаремов, в размышлениях под журчанье фонтанов, за кальянами, за сластями, за жирными блюдами.

В то же самое время, простой народ прозябал в безнадежном рабстве, в нищете, в полном бесправии: жизнь и всё имущество каждого персиянина всецело зависели от шаха и от его корыстных и продажных царедворцев.

Ермолов воочию убедился в ничтожестве и слабости Персии. Всё, что он увидел в ней, рождало в душе его презрение, отвращение и даже ненависть.

Он писал позже: "Тебе, Персия, не дерзающая расторгнуть оковы поноснейшего рабства, которое налагает ненасытная власть, никаких пределов не признающая; где подлые свойства народа уничтожают достоинство человека и отъемлют познание прав его;

где обязанности каждого истолковываются угождением властителю; где самая вера научает злодеяниям и дела добрые не получают возмездия: тебе посвящаю я ненависть мою и, отягчая проклятием, порицаю падение твое.“

И раньше, он много раз думал о том, что России ”предлежит Азия“, что это для нее не плохая добыча, и, что здесь русские найдут то, чего не достигнут в Европе: ”Там, — говорил он, — нам не дадут шагу без боя, а в Азии целые царства к нашим услугам“.

Утомленный бесконечными церемониями, празднествами и пирами, — Ермолов, с великим облегчением снял с себя парадные одежды, облачился в свой любимый, старый сюртук без эполет и, оставив позади свою свиту, нетерпеливо помчался в Тифлис.

Он спешил приступить к осуществлению планов, касающихся покорения Кавказа. Разделавшись с Персией, он, наконец, мог всецело отдаться этому заветному делу.

”Как счастливо сделал я, отпросившись сюда, в Грузию, — думал он в пути. — Именно здесь, в ”теплой Сибири“, как называет Грузию сам государь, без соглядатаев, без соперников, своей собственной волею, самовластно, я достигну великих целей“.

Он вспоминал Петербург, интриги, соперничество, заискивание перед сильными, низкую лесть.

”Горжусь, — думал он, любуясь сам собой, своим умом, своей независимостью, прозорливостью и твердостью — что никогда не был известен в экзерцирхаузах и был чужд смоленскому полю, бывшему школой многих ”знаменитых“ людей, особливо нем-

цев".

10 октября, к вечеру, он подъезжал к Тифлису.

Уже можно было различать, белеющую вдали, грузную громаду монастыря св. Давида, высившуюся на уступе крутой горы; беспорядочное скопление каменных строений с плоскими кровлями; камни, утесы, крутые берега Куры, купы чинар, темные пятна виноградников.

Огненный закат горел над горами.

Любуясь им, Ермолов вспоминал, давно запомнившиеся ему, переведенные Костровым, величавые слова Оссиана: "О, ты, катящееся над нами, лучезарное светило, круглое как щит отцов наших!"

Он всегда питал пристрастие к такого рода торжественным словам.

А, здесь они, ввиду всего грандиозного, титанического, что отличало Кавказ, — приобретали особое значение и особый смысл.

Такие слова отвечали и великой значительности того, поистине геркулесового дела, которое надлежит совершить ему здесь.

"Пожалуй, -- думал он, — покорение Кавказа стоит всех прославленных подвигов Геркулеса!"

2.

Иван Лукич Пономарев начал службу на Кавказе еще при князе Цицианове. Выслужившись из солдат, он к пятидесяти годам достиг штабс-капитанского чина, и теперь командовал ротой, стоявшей в небольшом укреплении на берегу Терека.

В послужном его списке значилось, что "кроме российски читать и писать никаких наук не знает".

Собственно, и читать и писать умел он с грехом пополам. Но природная сметка, трезвый и практический ум — хорошо помогали ему и в жизни и на службе.

Был он простой, здравомыслящий русский человек, хорошо знавший и понимавший солдат, которые к нему питали большое уважение и отдавали должное его справедливой строгости.

Своим солдатским происхождением Иван Лукич очень гордился, равно как гордился и своей кавказской службой. Никакой другой жизни, как жизнь "на линии" он не знал, да и знать не хотел. Ко всему некавказскому относился подозрительно, с пренебрежением.

Обычно, к вечеру, когда от гор начинало веять прохладой, он любил сиживать на порожке своего домика, покуривать трубку и, с явным удовольствием, философствовать.

— Не было примера, — говорил он Пушешникову, приходившему каждый вечер к коменданту, — чтобы настоящий солдат — не лентяй, не лежебока и не мямля, — хаял свою солдатскую жизнь. Напротив, настоящий солдат — век не нахвалится своей службой.. А отчего? Оттого, что в полку да в походах узнаешь, в чем нужда ходит и во что радость рядится; пройдешь огонь и воду, закалишься как булат, а там живи спустя рукава... В полку и дурак, что с дурью и в гроб пошел бы, и тот поумнеет. Касательно харчей, одежды, фатеры — всё тебе дадут, обо всем начальство подумает...

— Хорошо поешь, Иван Лукич, — говорит, вы-

глядывая из окна, Евдокия Степановна, дородная жена штабс-капитана, на которой он женился еще в прапорщичьем чине и которая побывала с ним во всех станицах, кордонах и укреплениях кавказской линии, в коих ему довелось служить. — А палки? Забыл что ль о них?

— Палки, говоришь? — отвечает Иван Лукич. — Ну, конечно, порой, действительно, спину посмотрят, вздуют так, что и не скажешься; да, ухо надобно держать востро... А, по правде сказать, и палки — беда небольшая: спина-то не купленная, своя, а за битого двух небитых дают. Ну, а зато после доброй передряги бывало услышишь, как на смотру крикнут: "Хорошо, ребята!“, а полковник с радости выкатит бочку зеленухи, — эх, всё как рукой снимет, горе всё забудешь, и станет совестно, что обабился и всплакнул после горячей бани...

— Теперь-то тебе, небось, в офицерском чине рассуждать легко — возражает Евдокия Степановна, очень гордящаяся своим офицерским положением. — Герой какой, подумаешь!..

Действительно, на героя Иван Лукич похож мало.

Коренастый, крепкий, с висячими усами и с крутым колючим ежиком седеющих волос, — он одет в старый, потрепанный бешмет в канаусовую рубаху, в широкие штаны, стянутые внизу шнурками, в мягкие ноговицы.

Ничего воинственного и геройского в нем не было. Трудно узнать в нем и коменданта. Вид его очень удивил Пушешникова, когда тот явился в крепость.

Позже он узнал, что на Кавказе это было вовсе

не удивительно. Солдат в киверах, в мундирах с фалдочками и в форменных шароварах на выпуск — на Кавказе встретить было трудно. Одеты были там все, кто во что горазд, лишь бы только было удобно, тепло, легко в походе. Да и смотрели здесь солдаты иначе, чем в России: свободно, вольно, без подобострастия.

— Да здесь иначе и нельзя, — объяснял Иван Лукич. — Служба боевая, тяжелая — всего хлебнешь... И офицеру и солдату — одна сладость. Вот, и фрунтовой службой мы им не докучаем; Алексей Петрович так распорядился... Здесь солдат — нам друг, товарищ.

— Эй, Акимыч, — кричит он фельдфебелю, — пора что ли зорю бить, секреты ставить? Распорядись там! Здесь, — продолжал штабс-капитан — начальство солдата не давит и он это чувствует.

Соседняя гора отбрасывает длинную тень на широкий крепостной двор; темнеет, слышнее шумит река. Фельдфебель производит перекличку; согласно и задумчиво звучит вечерняя молитва.

Всё в порядке! Все на местах, всё так, как делается изо дня в день в течение многих лет.

В шинелях, а кто и в полушубке — ночи холодные — кучками идут, отправляющиеся в секреты, солдаты. Впереди бегут и ластятся к людям огромные лохматые собаки — они всю ночь будут рыскать вокруг крепости, лаем дадут знать об опасности, о прокравшихся "хищниках". Тогда подымется стрельба, Иван Лукич выйдет на крылечко, прислушается и, убедившись, что тревога напрасна, посмотрит на зве-

зды и, позевывая, пойдет досыпать остаток ночи.

Он любит своих сторожевых собак, относится к ним с той суровой нежностью, с которой русские люди относятся к домашним животным.

— Казенный провиант им полагается, наравне с людьми, — говорит он Пушешникову, трубкой указывая на собак. Да, — заключает он свои рассуждения, — неплоха солдатская доля!

— Неплоха, неплоха, — возражает Пушешников, ему интересно, что скажет штабс-капитан, — а беглые всё же имеются.

— Ну, это уж совсем другое дело, — неохотно говорит Пономарев. У него, как раз, в роте недавно сбежал солдат. — Это дело тонкое: того тоска заела, другой воли захотел, а тот проштрафился, да и без баб трудно. Вот и бегут забубенные головы, хоть знают, что за первый побег сто палок и за каждого беглого татарве по десяти целковых платят...

. . . .

На первых порах, жизнь в крепости, особенно пока стояло лето, — не тяготила Пушешникова. Живила и бодрила его тесная близость к мощной, первобытной природе; занимала новизна раньше невиданного быта, особый уклад жизни, особые нравы, понятия, взгляды.

Занимали его и люди: и те, с которыми он жил, и те, которые обитали за Тереком в предгорье и в горах и были опасными и ловкими врагами.

Когда в крепость мирные чеченцы привозили, на продажу или в обмен на соль, баранов, овощи, куку-

рузу, — он с любопытством вглядывался в эти сухие, горбоносые лица, ловил недоверчивые взгляды, в которых, едва уловимыми искорками, горели презрение и злоба.

В своих мохнатых папахах, в потрепанных черкесках, но с оружием дорогим и отборным, — горцы удивляли его своей врожденной грацией, мягкой и легкой поступью, вкрадчивостью движений.

Пушешников постоянно слышал о том, что эти "хищники", "мошенники", разбойничья "татарва", жадная и грубая, — жестоко обращается с пленными, держит их в скотских условиях, без всякого сожаления истребляет своих врагов в кровавой мести, кичится и гордится своими разбоями и убийствами.

И всё равно, в их жизни и быту, в их жизненном укладе, в их обычаях и верованиях, были какие-то притягательные черты, которые заставляли его относится к этим людям с трудно объяснимым восхищением.

Пока новизна и службы и жизни сохраняла свою свежесть и пока ему не надоела охота, которой он отдался с необыкновенным увлечением и даже со страстью, — он не скучал и не томился.

Старая жизнь, не кавказская, как бы отодвинулась в какую-то даль, представлялась ему далекой, мало интересной, пресной.

Особо острые ощущения давала охота. Острота ее усугублялась постоянной опасностью. Горцы неустанно следили за всем, что делалось в крепости и не пропускали ни малейшего удобного случая для нападения.

— Доходитесь вы, на эту охоту, — ворчал иногда Иван Лукич. — Либо аркан на шею, либо пулю в затылок получите. Без солдат не извольте охотиться. Берите с собой Ефимова — образцовый стрелок, заядлый охотник, каждую тропу здесь знает...

Действительно, черноусый унтер Ефимов, да еще несколько солдат, страстных охотников, были незаменимыми товарищами его в охотничьей забаве.

Особо хороша была охота осенью, когда кабаны, нагулявшие жир в осенних лесах, являлись заманчивой целью для охотников.

Необыкновенное наслаждение и волнение испытывал Пушешников в такие дни. Когда он стоял под столетним дубом и вдыхал в себя терпкий и острый запах осеннего леса, когда он вглядывался в ржавые отсветы, тронутой первыми заморозками, листвы дубов и кустарников и чутко прислушивался к приближающимся звукам охоты, — сердце его замирало от небывалой радости.

Вот, уже близко, близко, залаяли, завизжали собаки. Это они подняли кабана и гонятся за ним изо всех сил. А вот, в нескольких шагах от него, ломая кусты, хрюкая и храпя, проносится громадный кабан. Он уже устал, пена стекает из пасти, глазки горят неукротимой злобой — он могуч, отважен и страшен.

Громыхает выстрел, отдаваясь многократным эхо в горных ущельях.

Запах пороха, горелой щетины, крови. Охотники, оживленные, возбужденные, сбегаются, рассматривают громадную тушу. Собаки прыгают, визжат,

рвут кабана за ноги и брюхо, лакают сочащуюся кровь.

Но пошли дожди, настало ненастье, заклубились туманы, задули студеные ветры. Охота кончилась, да уже и прислась, больше не занимала.

Что же делать в эти ранние, тоскливые сумерки, в неприглядные, длинные ночи? Чем занять себя, чем прогнать скуку?

Во всей крепости кроме старого календаря 1807 года — нет ни одной книги. Привезенные с собой выучены почти наизусть. Пробовал писать стихи — ничего не вышло. Разговоры с Иваном Лукичем перестали занимать, ведь всё об одном и том же он говорит.

Выйдешь вечером за дверь — темь кромешная. За два шага ничего не видно; самое опасное время: в темноте, неслышно, переправляются чеченцы через реку, ползут по камням, скрываются в кустах, как кошки бросаются на часовых. Те тревожно перекликаются; лают вдали собаки, и жалобно, визгливо, в ответ им, подвывают шакалы.

Видно, как в домике коменданта светится огонек. Верно, Иван Лукич в расстегнутом, видевшем виды, сюртуке, шагает по горнице, мурлыкает старую солдатскую песню, подходит к окну, вглядывается в ночную темь.

Он давно привык к этим ночам, к тревожной перекличке часовых, к мерному топоту сменяющихся караулов. Он знает, что всё в порядке, что сделано всё, чего требует служба, знает, что дальнейшее от него уже не зависит и что на всё воля Божия.

И жена его, Евдокия Степановна, ко всему этому тоже давно привыкла. Ее вовсе не тревожит то, что волнует и беспокоит Пушешникова.

Волнует ее другое: Дуне, дочке, которая сейчас сидит у светца и прилежно вышивает ворот рубашки, пошел уже семнадцатый год.

Пора уже и о женихах подумать. А где их здесь, в такой глуши взять? Без умолку говорит она об этом Ивану Лукичу, ворчит на не него, упрекает.

Молчит, не возражает Иван Лукич. Придет время, будут и женихи — утешает себя он. Забыла, небось, Евдокия Степановна, когда-то румяная, золотоволосая поповна, как, когда-то встретились они и как сразу решилась ее собственная судьба.

Смотрит Пушешников со своего крыльца на огонек комендантского домика, на темное здание спящей казармы, на темную фигуру шагающего по бруствеpу часового. И до чего же всё это — размышляет он — ничтожно и слабо перед лицом этой молчащей, загадочной, полной тайны и опасности, громадной, враждебной страны.

Диву надо даваться удивительной человеческой беспечности, человеческой способности свыкаться с опасностью, ко всему привыкать, ко всему приспосабливаться.

Разве затерянные в горах, русские кордоны, посты и укрепления с малочисленными гарнизонами — не представляют собой дерзкого вызова судьбе? Разве они не напоминают тех беспечных селений, которые веками ютятся у подошв огнедышащих гор и на путях всё сметающих горных обвалов?

Но наступает утро, принося с собой обычные дневные заботы. Евдокия Степановна созывает с крыльца своих кур, развешивает для просушки белье; каптенармус копошится в дверях цейхгауза, на кухне дымится печь, строится команда, отправляемая за дровами.

Привычная повседневность, укоренившееся равнодушие к опасности, привычка к ней — гонят ночные страхи, утверждают неизменную силу самой простой, незамысловатой человеческой жизни.

3.

Дуне скоро семнадцать лет. Красавицей назвать ее нельзя: простое личико, белобрысенькая, веснушки осыпали широкий нос, круглые, румяные щеки. Глаза, под светлыми бровями и ресницами — голубые, простодушные, застенчивые, ласковые.

Вся ее прелесть в молодости и в свежести. Пройдет время и Дунечка, верно, раздастся, расползется, приобретет материнскую дородность.

Характером она скромна, тиха, послушлива.

Иван Лукич, между делом, научил ее кое-как разбираться по-печатному, умеет она написать свое имя: знает Отче Наш и Богородицу; затвердила таблицу умножения. Вот и всё ее образование. Но, зато, стряпать, варить варенье, солить огурцы, готовить пастилу, стирать, гладить, шить, вышивать — умеет она в совершенстве. Мать ее всему научила.

Жизни, конечно, кроме дома, да крепости, — она совсем не знает.

Года три назад ездила, как-то, с родителями в Георгиевск, на ярмарку, да раза два-три была в ближайшей станице на светлой заутрене. Вот и всё.

Однако, с недавних пор, стала скучать, стала думать о другой жизни: о больших городах, где, говорят, дома, лавки с красным товаром, наряды, собрания, музыка.

Сидит у окна с рукодельем, думает обо всем этом, вздыхает.

Видит всё те же горы, леса; часовой стоит у ворот; рыжебородый татарин, в мохнатой шапке, о чем-то говорит с отцом.

А вот и он, высокий, стройный, в длинном сюртуке и в белом картузе, белокурый, синеглазый, Иван Алексеевич! Ванюшка, как она, про себя, его величает. Как хорош! Глаз не оторвешь!

— Эх, мать! — слышит она, как говорит Иван Лукич жене, когда та заводит разговор об ее судьбе, о женихах, — дерево руби по себе! Смотри, разве Иван Алексеевич — барин, помещик — чета Дуне?. Почему он здесь? Только по несчастью. Не подерись на дуэли — и духа его здесь не было бы. Побудет здесь год, другой, да улетит в Россию. А нам здесь — век вековать!

Опять вздыхает Дунечка. Всё верно, что отец говорит. Не чета она Ванюше, что и говорить. А, всё равно, сердцу не закажешь. Тоскует оно, рвется к счастью.

Раз зашел Пущенников в комендантский домик. Ивана Лукича куда-то вызвали, Евдокия Степановна возилась на кухне. Оказался он с глазу на глаз с Ду-

ней. С ней раньше почти словом не обмолвился. Она от застенчивости на него и глаз не подымала, краснела, терялась, отвечала невпопад .Чтобы не смущать ее, он избегал с ней говорить.

Сейчас же молчать было неловко, что-то надо было сказать.

Еще ниже опустила она голову, когда он приблизился к ней, глаза прикрыла ресницами.

— А что же ты, вышиваешь, Дуня? — спросил он ласково. — Да, я вижу, ты великая мастерица. Вишь, как красиво!

Дунечка залилась ярким румянцем. Преодолевая свою робость, свою страшную застенчивость, она на миг подняла глаза на Пушешникова, посмотрела робко, преданно.

— А! Глазки-то, какие хорошие! — засмеялся Пушешников.

Вошла мать. Кончилась сладкая мука. Собственно ничего и не было и ничего не случилось, а вот, Дуня на всю жизнь запомнила эту минуту.

Собственно, и вспоминать-то было нечего, но, без конца, на все лады, думала Дуня о словах Пушешникова, о том, как ласково и нежно он их сказал, как посмотрел на нее, как улыбнулся.

Стала она тосковать, побледнела. Евдокия Степановна не раз слышала, как по ночам плакала она, уткнувшись в подушку. Терзалась мать, Иван Лукич хмурился.

Пушешников стал догадываться, почувствовал себя неловко. Приходилось уклоняться от встреч, реже, а то и совсем не ходить в комендантский дом. Ну, а

если туда не ходить, то куда же деваться, с кем говорить, что делать, как уйти от тоски?

Смотрит в окно: голые скалы; слышен глухой рев реки, едва приметно дрожит почва.

О, как он ждал почты, как жадно читал материнские письма, выучивая их почти наизусть. А почта приходила очень редко, только тогда, когда бывала "оказия".

Где-то, буквально за тридевять земель, идет она, настоящая, интересная, полная событий, жизнь — думал он. — А я здесь, заброшен, забыт, влачу скучное существование. Кончится ли оно когда-нибудь, или до конца дней своих обречен я на эту ссылку?

Писала мать о том, что Маша Протасова вышла замуж, или, вернее, была отдана матерью замуж за какого-то профессора Мейера, "рыжий немчура, в очках", — отозвалась о нем Софья Николаевна.

Значит, совершенное крушение потерпел бедный Василий Андреевич. Терзался, страдал, надеялся, и то и другое предпринимал, а всё же — ничего не добился.

"Жаль, очень жаль его! Такой милый, мягкий, дружественный и такие стихи прекрасные пишет! А, впрочем, не один он страдает. У каждого свое горе, свои печали. Жуковский, по крайней мере, живет в царском дворце, людей — да еще каких людей! — видит.

Пишет мать, что преподает он теперь русский язык великой княгине Александре Феодоровне, молодой жене великого князя Николая Павловича.

А мы-то, в своей глуши, даже и не знали, что

женился великий князь! Из письма видно, что Государь в Москве, а с ним и двор, и Жуковский с ним".

Да, трудно представить себе Москву, Кремль, императорский двор, великолепие, пышность!

Временами, ведь, кажется, что на свете нет ничего, кроме этих крепостных валов, дымящихся разорванными тучами гор, да тоскливого пения ветра.

Какая там Россия, какая там Москва!

"Написать что ли Жуковскому, попросить его, чтобы замолвил словечко, где надо. Может быть, пустят в отставку, в деревню?"

Долго колебался он, но, в один ия самых тоскливых вечеров, когда гудела буря и сухой снег бил по стеклам окон, он решился. Написал Жуковскому, напомнил о встрече с ним, описал в самых невеселых тонах все свои злоключения, просил помочь.

Запечатал письмо именной печатью, и пошло оно, вместе с казенными пакетами, от одного укрепления в другое, через Георгиевск, через донские степи, в Россию, искать Жуковского.

...Незадолго до Рождества, с транспортом провианта, в крепость прибыл новый офицер, только что произведенный прапорщик, совсем юный, Павел Васильевич Хлопов.

Поселили его вместе с Пушешниковым. Стало не так одиноко, веселей.

Хлопов — коренастый крепыш, с очень приятным, открытым, хотя и некрасивым лицом.

Он очень покладист, доброжелателен, неприхотлив и нетребователен. Довольствуется малым, никаких мечтаний, никаких философий — обеими ногами

стоит на земле, и от этого с ним всем было легко и приятно.

Он тоже туляк, только не белёвского, а крапивенского уезда. Там, у его матери, Марьи Ивановны, сорок десятин земли, да восемнадцать душ крестьян.

— Жить на это трудновато, — простодушно говорит Пашенька, так его стали звать в крепости. — Надо и матери послать, и сестре помочь, а потому-то я на Кавказ и просился. Для нашего брата, бедного человека, двойное жалованье много значит.

Пришелся он ко двору и в доме Ивана Лукича. Евдокия Степановна ожила: новые планы стали роиться в ее голове.

— Этот, кажись, попроще, — делилась она своими мыслями с мужем, — кто знает? Может быть, тут дело и сладится. Помогла бы Царица Небесная!

Иван Лукич помалкивает, не вступает в споры, а про себя подумывает: "Чего ты, старая, тарантишь, девке и семнадцати нет, — еще найдет свою судьбу!"

Однако, не возражал, когда Евдокия Степановна стала каждое воскресенье печь пирог и приглашать молодых офицеров.

Пашеньке Хлопову, по-новинке, очень приятно чувствовать себя на равной ноге с этими заслуженными, боевыми офицерами.

Особенно нравился ему Пушешников. Он, хоть и молод, но уже повоевал достаточно, многое повидал, общался с людьми непростыми. С завистью поглядывал на красный анненский темляк, что свисал с эфеса, висевшей в бездействии на стене, сабли. Оказывается, она здесь вовсе не нужна. Все офицеры носят здесь

азиатскую шашку на тонком ремне через плечо. "Надо и себе такую достать!" — думает он.

За пирогом, разговоры идут самые незамысловатые. Иван Лукич либо, по обыкновению, хвалит солдатское житье и жизнь "на линии", либо толкует о том, сколько прапорщик может съэкономить из своего жалованья.

— Вот, вы, Павел Васильевич, — говорит он Хлопову, с интересом его слушающему, — будете получать, по своему чину, сто сорок четыре рубля 25 копеек в треть. Квартира, дрова — казенные. Мундира, шаровар — хватит вам надолго. И ежели в карты играть не будете, и ежели вино потреблять будете умеренно — то и денег некуда будет девать. Складывайте их в кубышку — и всё дело!

— Эх, что ты говоришь, Иван Лукич, — возражает Евдокия Степановна, — а чай, а сахар? За фунт сахара заплатишь здесь полтора рублика, да еще не всегда достанешь.

— А мы и без сахара и без чая, матушка, Евдокия Степановна, обойдемся. Мало мёду что ли здесь. Да какой мёд, пахучий, слаще всякого сахара!..

— Ну. у холостого офицера и других расходов не мало. Другое дело, коль женат: жена ему всё сбережет, сохранит и денежек прикопит...

Дуня сидит тихо, прислушивается к разговорам и искоса посматривает на обоих офицеров. "Ну, куда же, — думает она, — Пушешников милее, виднее Пашеньки. Простоват тот, воображения в нем нет. Разговором, повадкой похож на папеньку, да на наших линейных офицеров. Этот сердца не зажжет!"

А, между тем, Хлопов всё чаще и чаще стал заходить в комендантский дом, каждый вечер сиживать там, покуривая и разговаривая понемногу.

Дуня его не стеснялась, с ним говорила охотно, вела себя непринужденно, свободно.

Как-то, уже к весне, Пашенька вернулся домой молчаливый, скучный. Лег на кровать, лежал молча, в глубокой задумчивости, заложив руки под голову.

— Что с вами, Пашенька? О чем грустите? — спросил Пушешников.

Хлопов посмотрел на него печально, как будто с укором. Помолчал, а потом, как бы решившись, сказал:

— Не любит она меня! Вас любит. Так мне и сказала. Ведь я с ней сегодня объяснился, руки просил. Наотрез отказалась. Знать, не судьба мне!

Замолчал, отвернулся к стенке и так лежал долго, долго, видимо, трудно и мучительно борясь со своим горем.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

С возвращением Ермолова из Персии, в Тифлисе, во дворце главноначальствующаго, жизнь закипела ключем.

Дворец — громадное здание: классические колонны, двуглавый орел распростер над ними свои мощные крылья; гулкие залы, чугунные решетки, щиты, шлемы, мечи, увитые лаврами — все четкое, сухое, с холодком, чуждое востоку, как бы олицетворяющее спокойную силу севера, непреклонный дух российской державы.

— Равнодушие к службе — разврат! — с раздражением говорит Ермолов собравшимся в приемном зале представителям местной гражданской администрации. О хищениях и противозаконных действиях этой администрации он наслышался много.

Из под насупленных густых бровей, глаза его зас-

веркали грозно; складка между ними углубилась, стала резче.

Громоздкий, могучий, в военном сюртуке с красным воротником, с белым Георгием в петлице — все знают, что крестик этот к груди Ермолова, после штурма Праги, прикрепил сам Суворов, — он производит на всех необыкновенное действие: все трепещут.

— Прошу помнить твердо, — продолжал он, — что в правилах моих нет снисхождения к нерадивым!

Он часто употреблял слова эти в служебном быту. И они, никогда не расходясь с делом, создали Ермолову репутацию "начальника, известного своей строгостью", коей он не мало гордился.

Долг и святость службы — не были для него пустыми словами. Еще в дни Благороднаго Пансиона, когда в отцовской орловской деревеньке Лукъяничи, за столом, обсуждалась будущность юнаго Ермолова, отец его, служивший когда-то правителем канцелярии генерал-прокурора графа Самойлова, говаривал ему: "Государю и отечеству служи не щадя живота. Служи не ожидая награды, ибо обязанность наша только служить!".

В этих поучениях была, конечно, доля некоторой риторики, некая дань величавому штилю того времени, — но в глубокой своей основе слова эти были правдивы. Ермолов ими руководствовался. Пусть не был он равнодушен к наградам, пусть честь и власть влекли его неодолимо, но казалось ему, что и без наград и без почестей, он, все равно, службу свою отправлял бы "не щадя живота".

И на самом деле, служить он умел и умел требовать службу и от других.

Сердито смотрел Ермолов на притихшую чиновничью толпу. Он как бы угадывал тревоги, опасения и тайные мысли этих людей.

Распущенные, разленившиеся, развращенные угождениями, подарками, угощениями, празднествами и лестью своих кавказских "кунаков" — все эти надворные, коллежские, статские и другие советники, видимо, приуныли, почувствовав наступление новых неприятных, хлопотливых и требовательных времен.

— В самом скором времени, — объявил напоследок Ермолов,—должность грузинского гражданского губернатора займет, известный мне с самой лучшей стороны, генерал-майор Роман Иванович Ховен. Распущенности, лени и взяток — он не потерпит!

Чиновники были отпущены.

Их сменили представители грузинскаго дворянства.

Тонкаго сукна, щедро украшенные галунами, белые черкески, неслышная сафьяновая обувь, безценное, в золоте и серебре, оружие, тончайшей работы серебряные кольчуги.

Изнеженные беспечной, легкой, призничной жизнью, гордые своей многовековой знатностью, красивые, гибкие, породистые, грузинские дворяне держат себя независимо, гордо, заносчиво.

Вот, в вольной, свободной, небрежной, даже несколько дерзкой позе, стоит красивый, тонконосый, седоусый старик, князь. Кисть его тонкой руки, в перстнях, покоится на рукоятке безценной, дивной работы,

шашки. Гордая посадка характерной, горбоносой головы.

Он как будто и не скрывает своего превосходства над главноначальствующим. "В самом деле — вероятно думает он, покусывая ус, — кто собственно он, этот грубый солдат, стремящийся навязать нам какие-то новые порядки, привезенные им из дикой, снежной России? Кто дал ему право вторгаться в наш грузинский мир, мир веселого разгула, шумных празднеств, веселых песен и плясок? Кто, наконец, дает ему право распоряжаться во владениях, принадлежащих, моему княжескому роду, ведущему свое начало чуть ли не с библейских времен?"

Закавказские князья, пользуясь слабостью грузинских царей, уже давно сделались почти независимыми. Своей независимостью, своим самовластием — дорожили и гордились они в самой высокой степени.

Теперь, не без оснований, опасались они, что Ермолов положит конец их вольности.

Почти в каждой княжеской семье есть сейчас кто-нибудь, бежавший либо в Турцию, либо в Персию. Даже некоторые члены грузинского царского дома бежали из Грузии, вступив в сношения с врагами России.

Царевич Александр, например, то скрывается где-то в горах, то уходит в Персию, находя ласковый и почетный прием у Аббас-Мирзы, у этого умного, хитраго льстеца, холеная борода котораго и умные, черные и влажные глаза — прочно запомнились Ермолову.

—Кахетия забунтовала! — говорит он, обращаясь

к князьям. — Но, господа, прошу вас помнить, что при мне может быть только один, последний, бунт, а потом тишина — на сто лет!

В громадной зале мертвая тишина, ни звука; все глаза внимательно и настороженно обращены к Ермолову.

— Бунтующия селения, — продолжает он громовым голосом, — будут разорены и сожжены, сады и виноградники вырублены до корня... И через многие годы не прийдут изменники в первобытное состояние. Нищета крайняя будет им казнью!.. Должен предостеречь вас, господа, от вредной мысли: вы не союзники российского императора, как полагаете, а подданные российскаго престола!

Во всех сложных и запутанных хитросплетениях местной политики, в противоречиях, интригах, в запутанных родовых взаимоотношениях, — Ермолов разобрался очень скоро. Он совершенно ясно и отчетливо, как на ладони, видел все обстоятельства и все условия местной жизни.

И пусть эти беспечные и разнеженные люди не хотят видеть висящей над ними угрозы, не хотят думать о будущем, — всё равно, даже вопреки их воле, они будут спасены от гибели сильной русской рукой.

Подобно тому, как некогда, вооруженные полномочиями римского народа, проконсулы римской империи несли на крыльях римских орлов начала римской государственности, так и он, Ермолов, проконсул Кавказа, внедрит в эту беспорядочную, своевольную, беспечную жизнь, начала российской государственности, идеи закона, порядка и твердой власти.

Постоянно, то верхом, то в коляске, объезжал Ермолов кривые, узкие и грязные улицы Тифлиса, бывал на базарах, останавливался на площадях, входил в дома, в духаны.

Каждый же день, рано утром, он отправлялся на прогулку, останавливал прохожих, вступал с ними в разговоры. Его любимец бульдог Бирка угрюмо, вывалив язык, следовал за ним, семеня своими кривыми ногами.

Пытливо вглядывался Ермолов в кипение яркой, живописной, шумной толпы, вслушивался в громкие гортанные звуки разнопленных голосов, пытался уловить, понять и постичь то главное, что движет этой толпой, чем она живет и чего хочет.

Казалось ему, что, в общем, не враждебен России весь этот пестрый, шумливый, горячий, простой люд, что, в диком реве ослов и верблюдов, в криках торговцев, в завываних азиатской музыки, кипит и волнуется на базарах, в кофейных, в духанах, нежится в банях, в горячей серной воде.

И эти воинственные горцы в бурках и башлыках, прибывшие из ближайших селений, и мирные горожане: армяне торговцы, ремесленники, водоносы, носильщики, провожая его глазами, смотрят на него спокойно, без злобы и ненависти.

Наоборот, во взглядах, в улыбках, в приветствиях, в беглых разговорах с этими людьми, он улавливал знаки расположения и доверия к нему.

Ведь, верно, все они еще хорошо помнят ужасный 1795 год, когда персидский шах Ага-Магомет-Хан превратил Тифлис в груду дымящихся развалин, ис-

требил множество жителей, а многих угнал в плен.

Знают они и то, что с тех пор, как русский генерал Лазарев занял Тифлис и укрепил в нем русскую власть, больше не повторялись эти ужасные вражеские набеги.

Грузия отдыхает, цветет под властью русского царя. Пожалуй, ей можно больше не опасаться врагов, коль по улицам Тифлиса гарцуют русские драгуны, звучат русские солдатские песни и погромыхивают орудия, отправляясь куда-то в поход.

Ермолов совершал свою обычную утреннюю прогулку.

Какая-то, закутанная в темную шаль, остроносая, как взъерошенная птица, старая грузинка — как показалось ему — пристально следила за ним своими быстрыми глазами, как будто чего-то хотела от него.

— Верно и она, — разсеянно думал Ермолов, — повидав и пережив немало за свою жизнь, ценит мир, принесенный сюда русскими...

Бирка остановился вдруг, заворчал, оскалив свои клыки. Боязливо озираясь на пса, поспешно приближались к Ермолову две женщины.

Старая вытащила из под плаща, свернутую в свиток, какую-то бумагу. Что-то быстро, быстро, униженно и просительно, заговорила на непонятном языке, протягивая прошение.

Позади ее стоит совсем юная женщина. Из под круглой шапочки тяжело свисают две угольные косы; под опущенными, трепещущими, длинными, ресницами, мерцают громадные, томные и покорные глаза.

Эта была подлинная красавица, именно такая, о которой поют, играя на саазе, бродячие певцы, такая,

о которых в восточных сказках говорят с восторгом, сравнивают ее с газелью, ширазской розой, с солнечным лучом, со звездами.

Ермолов не был равнодушным к женской красоте. Скорее наоборот. Но он никогда не позволял себе поддаваться действию женских чар, особенно тогда, когда оне могли влиять на его решения, как начальника и правителя.

Любовь почти не играла роли в его жизни.

Только один раз, давно, еще в пору ранней молодости, когда он, молодым артиллерийским офицером, стоял в Польше в замке голубоглазой, ласковой и игривой польской графини, ему показалось, что любовь мимолетно коснулась его своим крылом.

Однажды, в зазолотившейся каштановой аллее, в пролете которой смутно белели статуи, украшавшие громадную террасу замка, — он чуть-чуть не произнес слова, которые могли бы в корне изменить его жизнь. К счастью — так думал он теперь — слов этих он не сказал. Удивление, упрек, обиду прочел он тогда в глазах разочарованной панны. Победить себя было тогда очень нелегко.

Это было давно. Теперь же он твердо решил, что его единственное призвание — быть солдатом, что любовь не солдатская доля, что женщина только мимолетная утеха, о которой не следует помнить долго.

Поэтому-то и сейчас он отвел свой взор от пленительного лица красавицы. Внутренне он боролся с собой.

"Что если взять ее с собой, — думал он, — приблизить, насладиться этой несказанной прелестью?"

Но взял себя в руки, нахмурился, отвернулся.

— Скажи им, — обратился он к переводчику, не спускавшему глаз с красавицы, — прошение беру и сделаю все, что могу. Но передай им, что приказываю в другой раз не попадаться мне на глаза; иначе вышлю из города!

В глубокой задумчивости и в какой-то странной, ему несвойственной печали, возвращался он во дворец.

"Да, хороша, хороша, истинно прелестна", — вспоминал он недавнюю встречу.

— Вот, прошение, — сказал он своему секретарю. — Прошу тебя дать по нему полнейшее удовлетворение, возможное по закону и по обстоятельствам. А затем, объяви просительнице, чтобы она избегала всякой встречи со мной!

Некоторое время легкое воспоминание о красавице волновало его воображение. Разсеявшись вовсе, воспоминание это оставило в душе какой-то смутный, ласкающий след, едва ощутимое сожаление о чем-то милом, навсегда утерянном.

2

В апреле 1819 года Ермолов из Тифлиса отбыл на линию.

Военно- Грузинская дорога — тяжелая, неустроенная. Она трудно проходима, завалена снегом, да и опасна — боялись обвалов.

То и дело приходилось продираться пешком через снега по узким тропам.

Казаки спешивались, вели лошадей за собой; артиллеристы, надрываясь, волокли пушки через сугробы, а

пехотные, с веселым гомоном и смехом, топтались и вязли в снегу.

Ермолов впереди — в бурке и мохнатой папахе. Наверно, не один враждебный взгляд следил за ним из-за скалы, откуда-нибудь, с обрывистой кручи.

Внизу, в равнинах уже весна, зеленеют поля, деревья, а здесь, в этом титаническом нагромождении громадных камней и голых скал — стоит еще зима.

Воздух чистый, разреженный, бодрящий.

Снег сверкает нестерпимо. Высоко, там, где в ласкающей глубокой синеве неба возвышается белая, белая, с голубыми морщинами, великолепная шапка Казбека, — парят орлы.

Разсеянно глядя на это суровое, сверкающее великолепие, Ермолов отдается своим привычным думам.

Он вспоминает свою последнюю аудиенцию у государя. Тот был усталый, невеселый, задумчивый. Казался старше своих лет. Чарующая его улыбка, как-то поблекла. Главное же, что смутило тогда Ермолова — это какие-то странные идеи и мысли, которые высказывал Государь. Они, эти идеи и мысли, своей туманностью, какой-то мистикой, были и чужды и непонятны ему.

Кавказа государь и не знает и не понимает. — Впрочем и никто другой в Петербурге не знает его. Государь против крутых мер. Он думает, что здесь можно действовать мерами кротости и убеждением.

Однако то, что Петербург не знает и не проявляет интереса к кавказским делам, — это даже лучше. Мы, здесь, сделаем всё, как надо: без мечтаний, без

чувствительности, без ложной жалостливости. Будем действовать, как говорят медики, "приятным ножом" — быстро и решительно. Так и надо поступать, коль России, да и самому Кавказу, потребно его покорение и умиротворение.

...Через деревянный мост — под ним бушует и пенится река — въехали в крепость. Владикавказ — очень важное укрепление: оно защищает вход в горную полосу Военно-Грузинской дороги, идущей от Моздока до Тифлиса.

В крепости уже давно ждут Ермолова. Молва о нем бежит впереди него. Все знают, что едет он дальше на линию; множатся слухи о том, что будут предприняты какие-то новые, решительные действия. Что-то новое, бодрящее входит незаметно в застоявшуюся кавказкую жизнь.

Во Владикавказе Ермолова встретил начальник штаба грузинского корпуса, генерал Иван Алексеевич Вельяминов. Он еще молод, ему нет и сорока — он почти ровесник Ермолову. Ровесник-то, ровесник, но и ему, и всем Ермолов кажется и старше, и важнее, и значительнее.

Вельяминов высоко ценит Ермолова, непритворно им восхищается, но, вместе с тем, и завидует ему немного.

Иногда кажется ему, что ежели бы ему повезло в свое время, если бы его оценили по заслугам, то и он мог бы достичь таких же высот, каких достиг Ермолов.

Ведь, у него самого немалые способности, храбрость, твердость, честолюбие. Он знает, что сам Ер-

молов отзывается очень лестно о нем, говорит: "Натура славная, непреклонная, талантливая".

И все же, если разсудить по совести, то нельзя не признаться самому себе, что у него нет того блеска, того обаяния, что влекут людей к Ермолову.

Нет, он не может так восхищать и увлекать людей. Его самого считают нелюдимым, холодным, угрюмым. Да и внешность у него не выигрышная: лицо в рябинах, хмурое.

У Ермолова же чарующее, удалое безстрашие, чисто солдатская простота жизни, быстрота ума, твердость слова. Никто другой не может сказать так красочно, живо и выразительно, как умеет сделать это Ермолов.

Да, наконец, и это ермоловское великодушие к врагу доблестному и неумолимая его суровость к врагу тайному и коварному, презрение к нарушителям клятвы и слова.

И, помимо всего этого, озаряющий его, намеркнущий ореол несравненнаго героя недавнего двенадцатого года!

...Оба Ермолов и Вельяминов, наклонились над старой потрепанной картой Кавказа. Внимательно и пристально изучают ее, подчеркивают что надо ставять крестики на местах будущих укреплений, проводят стрелки, указывающие направление будущих походов и экспедиций.

Карта не очень верная, многое на ней нанесено на глаз, приблизительно, гадательно. Зеленая краска бесконечных лесов подступает к самым вершинам коричневых горных хребтов.

Вот, в эти-то первобытные леса и должны, пролагая просеки, вгрызться русские войска, подобно тому, как некогда легионы Цезаря вгрызались в непроходимые леса Галлии.

Вот синей извилистой змеей, круто поворачивая, ниже Владикавказа, на равнину, — бежит Терек, а от него ответвляется узкая и короткая Сунжа. Леса подступают к ее берегам почти вплотную.

Издавна, по обоим берегам Терека, стояли казачьи станицы. Земляные валы, сторожевые вышки, дымящиеся фитили пушек, всегда оседланные кони.

Народ здесь — красивый, ловкий, ладный, независимый; казачки — гордые, неприступные красавицы.

Сейчас же казачьи станицы только на левом берегу, на правом же угнездились аулы, как будто мирные, а на самом деле — приюты разбойников, хищников, беглых.

— Казакам мы возвратим их древние затеречные земли. Аулы оттесним в самые горы. Новая линия пойдет теперь по Сунже.

Вельяминов понимает Ермолова с полслова. Хотя по привычке он и хмурится, грызет ногти, пыхтит трубкой, но явно доволен.

Ему отрадно видеть, наконец, осуществление собственных планов относительно покорения Кавказа, принимать участие в решении его судьбы.

— Ваше приказание, данное перед отьездом в Персию, нами выполнено, — докладывает он. — "Преградный стан" на Сунже поставлен. Лес против этого укрепления вырублен на много верст и вглубь и

вширь...

— Ну, а теперь мы воздвигнем на той же Сунже, вот в этом месте, новую крепость. Она запрет выход на равнину с гор...

— Прекрасно, прекрасно!... А как будет называться эта крепость?.

— Как? Да, хотя бы Грозная... Мошенники скоро поймут, что значит это название... Я уже донес всеподданнейше Государю, что с устройством новых крепостей я предложу, живущим между Тереком и Сунжей, злодеям, мирными именующимся, правила жизни и некоторые повинности, кои истолкуют им, что они подданные наши, а не союзники, как сего времени о том мечтают.

Это были те же самые слова, которые недавно были Ермоловым и грузинским дворянам. В словах этих заключен был смысл его действий на Кавказе.

В раздумьи, хмурясь по прывычке, смотрит Ермолов в окно.

Вот он, грозный Кавказ, — думает он, глядя на белоснежную громаду Казбек. Ему суждено сломить его гордую волю, привести в повиновение российской державе.

И все это будет сделано непременно и небольшим числом людей, но трудами и терпением "добрых наших солдат".

Вот они, эти самые добрые русские солдаты, кавказские ветераны. Собравшись в кучку под тополями, они раскуривают свои трубки, толкуют о своих делах, говорят, может быть, и даже наверно, и о нем самом.

Казаки у коновязей чему-то громко смеются, пе-

рекликаются с пехотницами.

Жизнь в крепости идет своей обычной чредой. Собирается "оказия" в Моздок и дальше. Строится полурота, назначенная ее сопровождать; груженные казенным добром фуры, тележки с домашним скарбом офицерских семей, следующих к новому месту службы, скрипучии арбы; толпятся и осетины, пришедшие из соседних аулов...

Солдаты знают, что Ермолов в крепости. Для него поют они старинную кавказскую песню:

Не орел гуляет в ясных небесах,
Богатырь наш потешается в лесах,
Он охотится с дружиной молодцов,
С крепким строем закавказских удальцов...

— Хорошая песня! — говорит Ермолов, вслушиваясь в слова.

— Ее еще при князе Цицианове сложили, — поясняет полковник, старый кавказец. — Князь и впрямь был богатырь, пылкий, неустрашимый. Я был еще молодым офицером, когда его подло убили на глазах у бакинскаго хана.

— Ну, теперь этих ханов мы скрутим в бараний рог, — отвечает Ермолов. А песня хороша! Очень хороша!...

— Это солдаты теперь про вас, Алексей Петрович, поют.

К обеду, к коменданту собираются офицеры. Сперва они, в присутствии самого высокого начальника и прославленнаго героя отечественной войны, стесняются, жмутся.

Ермолов всегда и с равными и с низшими любе-

зен, дружелюбен, очень прост, без всякого начальственного чванства.

Стеснение скоро проходит.

— Вы уже не взыщите, ваше высокопревосходительство, батюшка Алексей Петрович, — говорит комендант, представляя офицеров, — что не по форме мы одеты. Поистрепались мы здесь, поизносились, да от парадной формы, признаться, поотвыкли. В походах да в боях мундиры поистерлись немало!...

— Граф Александр Андреевич, — говорит на это Ермолов, — когда я как-то ему представлялся, строго сказал мне: "Вы, государь, одеты не по форме!". А я ему в ответ: "Позвольте усомниться, ваше сиятельство!*. Аркачеев вскипел. "Как это так?". А я доложил, что моей бригаде, по высочайшей воле, даны петлицы за боевое отличие. Граф этого еще не знал и был сконфужен чрезвычайно.

Денщики, готовившие обед, перестарались; тетерка оказалась пережаренной, котлеты подгорели.

— Вы, Алексей Петрович, — извините за нашу стряпню.

А, что за дело? Поверьте мне, ежели бы вы подали мне жареную ворону, либо кошку, я бы и не разобрал, смеялся Ермолов.

За столом речь зашла о грядущей компании. Ермолов заговорил увлекательно, понятно, образно. Каждому прапорщику становился ясен смысл намечаемых действий, их значение в борьбе за овладение кавказской твердыней.

Потом речь зашла об отношении русских к врагу. Сдвинув брови, решительно и энергично, Ермолов

сказал:

— Каждый нам сопротивляющийся будет наказан свыше своего ожидания... Ежели кто ослушается моего приказания, будь то князь или уздень, — представить его мне и это будет последним в его жизни неповиновением... Незащищающагося врага, а паче бросающаго оружие — щадить непременно! А при малейшей защите и непокорстве — истреблять безпощадно! Снисхождение в глазах азиатцев — знак слабости. Прямо из чувства человеколюбия надо быть неумолимым. Одна казнь сохраняет сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены.

3

За лето крепость Грозная — была построена.

Солдаты, несмотря на невыносимый зной, — им было разрешено ходить в рубахах, без мундиров, а для отдания чести не снимать фуражек, — работали дружно и весело.

Ермолов, сопровождаемый неизменным Биркой, бывал везде, все наблюдал внимательно, подбадривал, веселил работающих.

На службе он — неумолимо строг. Но всё равно, для него солдаты готовы сделать всё, что угодно. Любят с ним пошутить.

Дня два три солдатам не давали водки. И вот, проходя мимо Ермолова, кабардинцы грянули:

Промочить пора нам глотку,
Третий день не видим водку...

— Здорово, ребята — звучно гаркнул Ермолов, весело глядя на отбивающих ногу солдат. — Перед кашицей водки, знать, захотели? Будет сегодня водка!...

Покорнейше благодарим, ваше высокопревосходительство! — зычно прогремело по равнине.

В крепости — всё еще новое, свежее, пахнет стружками, древесиной, известкой, свеже вырытой землей, а кругом выжженная, голая, унылая степь: песок, камни, чахлые кусты; бьют, тут и там, противно пахнущие тухлым яйцом, горячие серные источники.

Приятно было сознавать, что и в этой дикой глуши неожиданно оказался давний русский след. С удивлением узнал Пушешников, что эти самые горячие источники открыл никто иной, как Петр Великий, когда ходил в персидский поход.

А он, Пушешников, даже и не знал, что был такой поход и что этот великий человек побывал здесь. ”Да, нельзя не гордиться тем, что мы россияне“, — вспоминает он, сказанные ему еще в Саксонии, слова Ермолова.

Осенью — а она наступила рано — в грязь и слякоть и сырость, когда моросящий дождь затягивает горную цепь, эта равнина делается еще скучней, еще безотрадней.

Но войска, направляющиеся глубоко в горы, наказывать — как говорят — какое-то непокорное горское племя, — переправляются через Сунжу бодро и весело, идут свободно и вольно.

На берегу, сверкая очами, скрестив руки на груди — как монумент высится Ермолов. Он следит за

переправой своих "товарищей", как именует он всех своих подчиненных вплоть до самого последнего фурштадтского солдата.

Подчиненные это хорошо знают и высоко ценят. Незримая душевная близость соединяет главнокомандующего с солдатами.

Не раз, в дни возведения крепости, наблюдал Пушешников, как Ермолов играет с солдатами в свайку*).

Без сюртука, в красной рубашке, засучив рукава, ловко избочившись, прищуря глаз и опершись левой рукой о колено, — он тщательно и долго примеривался и прицеливался. И здесь, в этой игре, хотелось ему быть первым.

В растегнутом мундире, фуражка на затылке, его соперник в игре, чернявый, сухой, черноусый, с серьгой в ухе, разбитной солдат — ревниво, с волнением сторожит каждое движение Ермолова. Он присядает, подскакивает, крякает нетерпеливо, хрипит своей трубкой.

Наконец, Ермолов, с силой, метко и точно засаживает "редьку". Вытащить ее из земли немыслимо.

Чернявый солдат заволновался, огорчился и, забыв с кем играет, сочно ругнулся.

— Ну, и сила у тебя, батюшка, Алексей Петрович, — с завистью говорит он. — Куда уж мне с тобой тягаться!...

— Чистый медведь!... — смеются довольные солдаты.

---

*) Свайка — народная игра. Толстоголовым гвоздем надо попасть в кольцо, лежащее на земле.

— В игре, что в бане — все равны, — отвечает чернявый на упреки в непочтительном отношении к высшему начальству.

"В самом деле, солдаты ему товарищи" — дивится Пушешников. Такой повадки, такого небывалого обращения с подчиненными он нигде не встречал.

"Подлинный герой! Молодец, молодец!.." — думает он, проходя мимо Ермолова и преданно, как и все, глядя ему в глаза.

Главнокомандующий в архалуке*), в мохнатой папахе, шашка через плечо на простом ремне, сверху бурка ничего блестящего, генеральского.

Да и все его войско такое же — под стать своему командиру. Одеты все — кто во что горазд. И офицеры и солдаты как охотники, отправляющиеся за добычей.

Пушешников в черкесской меховой шапке, в чекмене, ни погон, ни блестящих пуговиц. Как и у Ермолова, и у всех других офицеров, — через плечо, на тонком ремне, кавказская шашка.

— Чему ты смеешься? — спрашивает Ермолов стоящего рядом чиновника, приехавшаго к нему с докладом из Тифлиса.

— Смешная мысль мне пришла. Смотрю на вас в этом одеянии, смотрю на ваших солдат, и мне представляется, что вы не генерал российской армии, а атаман разбойничьей шайки...

Ермолов усмехается.

— А, знаешь, — говорит он, — и я сам сейчас об

*) Архалук — поддевка, род домашнего чекменька, большей частью несуконного; стеганша.

этом думал. Что бы сказал Государь, коли увидел бы этих фигурантов? А Аракчеев? Что бы он почувствовал, увидя все это? Где ранжир, где однообразие, где пуговицы, петлицы? А впрочем, ежели понадобиться, я в два дня приведу всё в порядок и представлю на-
два дня приведу всё в порядок и представлю началь-
чальству своих солдат хоть на смоленское поле.

...В походе, тяжелом и долгом — многое передумаешь. В глубоких ущельях, где, заглушая голоса, гудят и бурлят потоки, где из-за нависших скал не видно звезд, где каждый звук гулко отдается в дремучих, вековых лесных чащах, где все таинственно, могуче, грозно — многое приходит в голову.

Пушешников отдается старым воспоминанием, раздумьям о жизни, о службе, о России, о родном доме. А чаще всего самые простые, обыденные мысли текут в такт мерному походному шагу.

Максим Максимович, подпоручник, субалтерн соседней роты, коренастый, крепкий, с густыми пшеничными усами, с серыми глазами. Он огорчен сверх всякой меры.

У вечернего костра разсказывает Пушешникову о своей беде.

Сам он человек обстоятельный, любит во всем порядок, службу несет безукоризненно. И вдруг, так случилось, что подгуляли между собой молодые прапорщики, хватили лишнее, а тут тревога, и вышли они во фрунт навеселе.

Алексей Петрович — на беду! — узнал об этом. Не дай Бог, как разсердился. Чуть-чуть под суд не отдал. Да, пожалуй, лучше было бы, если бы отдал!.

Легче перед судом отвечать, чем слушать, как стыдит Алексей Петрович, чем смотреть, как он огорчается!.

А, между тем, углубляясь в горы, отряд двигался к намеченной цели.

"Что заставляет, — думал порой Пушешников, — всех этих людей, и меня, и Максима Максимовича, карабкаться на эти кручи, рвать обувь об острые каменья, цепляться за колючки, с тревогой прислушиваться в дальним звукам вглядываться в сигнальные огни, загарающиеся, то и дело высоко в горах? Зачем мы все, в первобытной глуши, в самом сердце этих неприступных диких и грозных гор? Зачем мы будем разрушать чужие селения, сжигать посевы, уничтожать запасы? Зачем мы будем убивать людей, защищающих упорно родные очаги, свою собственную, вольную жизнь? Верно, сейчас, в далеких аулах, в страхе бегут, подальше в горы, горские женщины, волоча с собой жалкий домашний скарб и пугая своих детей страшным Ярмулом. К чему все это?".

Он поделился своими мыслями с Максимом Максимовичем.

Тот же был вовсе чужд всяким сомнениям; философствовать он не привык.

— Эх, батенька, о чем вы заговорили!... — ответил он, спокойно потягивая свою коротенькую дагестанскую трубочку. — А служба, а присяга? Государь, да Алексей Петрович — лучше нас знают, что к чему и для чего. А наше дело служит да служить, и приказы выполнять. Да, — сказал он после короткаго раздумья, — служить надобно, и служить по совести...

Вот, перед вами заклятье даю: в рот больше не возьму хмельного!...

...На десятый день столкнулись с врагом. Орудия громили селения. Столбы дыма и пыли, осколки, камни, щебень — вздымались ввысь. Пехота бросилась на штурм.

Засучив рукава черкесок, изступленно, с визгом, рубились чеченцы кривыми шашками и, как львы, бросались с кинжалами на штыки. Война здесь совсем не была похожа на ту, что видел Пушешников в Евро-

Не выдержав напора русских, горцы, оставив на окровавленых камнях убитых и раненых, — ушли в горы.

Обезсиленный, сдвинув папаху на затылок и вытирая грязным платком лоб, — отдыхал Пушешников, сидя на ступеньке разбитой сакли.

Трупы свои и чужие, в причудливых позах, громоздились в узких и кривых улицах аула. Солдаты рыскали по пустым саклям, волоча всякий домашний скарб. Пахло дымом, порохом, кровью.

Страшная усталость, безразличие ко всему, ощущение ненужности и безсмысленности только что сделанного — владели им.

Тухла заря. Горнисты играли сбор, гремели барабаны.

На другой день, в мечети, изъявившие покорность чеченские старшины — приносили присягу.

Сухие, ловкие и статные старики, узко перетянутые в талии, с острыми седыми бородками, мягко ступая, без страха и без искательства, — подходили к барабану, на котором лежал открытый коран. Полко-

вое знамя склонялось над ними.

Выстроенные роты, с ружьями у ноги, стояли строем на площади у мечети.

Старики клали правые руки на страницу корана и повторяли слова клятвы на верность российскому императору.

Вчерашние мысли и ощущения развялись без следа. Пушешников вновь ощущал мощь и величие России.

В реляции о вчерашнем деле, он был отличен самым лестным образом.

...В Грозной, по делам службы, ему довелось явиться к главнокомандующему.

Я имел честь завтракать с вами в деревенской гости-вглядываясь в его лицо.

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Я имел завтракать с вами в деревенской гостинице в нице в Саксонии, летом тринадцатого года.

— Ах, да, да! Помню, помню! — оживился Ермолов; суровый его взгляд смягчился. — Ведь, вы — стал припоминать он с удовольствием, — из егерей и участвовали в сражениях у Люцена и Бауцена...

Видно было, что ему очень приятно вспоминать старое: светлое, веселое, летнее утро, прохладу деревенскаго трактира, молодого белокураго офицера, приятнаго и учтиваго, сидевшаго против него за столом у открытаго окна. "Да, многое изменилось с тех пор" — думал он.

А Пушешников тоже вспоминая тогдашнего Ермолова. Он был тогда моложе, подвижнее, картиннее и романтичней, совсем под стать тому бурному и очень

романтическому времени.

"Теперь в нем нет прежнего удальства, внешнего блеска, подчеркнутого щегольства. Мундир, плащ, шпага, перья треуголки, живописно разсыпанные волосы — всего этого уже нет. Но зато какой большой силой, властностью, даже величием веет от этого поседевшаго, грузнаго генерала, от слова которого зависит судьба целых племен и народов".

— Значит, — неожиданно мягко, даже ласково, сказал Ермолов, — ты мой старый боевой товарищ. Позволь же тебя обнять! Я высоко ценю всех своих боевых друзей!

Пушешников был расторган чуть ли не до слез. Было совестно себе признаться в том, что он, уже сильно огрубевший, повидавший виды и понюхивший немало пороха, человек, совсем по-мальчишески, обожал в эту минуту генерала.

Речь зашла о последней экспедиции в горы. Ермолов внимательно слушал, что говорил о ней Пушешников.

— Да! — сказал он по поводу разсказа о трудно проходимых горных тропах и дорогах. — Тацит, в свое время, не более ужасно описывал дороги и леса Германии. Мы-то теперь знаем хорошо, какие есть на свете дороги. Но ведь легионы Цезаря прошли по ним — пройдем и мы!

Пушешников разсказал всю свою историю, бывшую причиной его отправления на Кавказ. Ермолов посочувствовал ему, стал говорить о том, что для молодых, способных и наделенных благородным честолюбием людей, — Кавказ несравнимое место, где

можно во всю ширь развернуться.

— Ну, рад, очень рад был тебя увидеть, — сказал он отпуская Пушешникова. — Уверен, что видимся не последний раз.

Он призадумался на мгновение, а потом сказал:

— Помни всегда, что служба твоя в командование мое корпусом — не останется без особаго внимания. Я умею ценить заслуги товарищей моих по службе!

Через некоторое время Пушешников получил приказание явиться в штаб главнокомандующаго для службы в нем.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1.

Не скоро письмо Пушешникова дошло до Жуковского.

В Петербурге оно было получено тогда, когда императорский двор, а с ним и Жуковский, находились в, возрождающейся после разорения, Москве.

Только возвратясь домой, Жуковский вскрыл, сильно потрепанное и покрытое многими печатями, письмо Пушешникова.

Однако, в ту пору, ему было не до писем: впечатления от недавней свадьбы Маши — еще далеко не притупились.

С вялой скукой, владевшей им тогда, он, без интереса, пробежал письмо и спрятал его в украшенное бронзовыми веночками и львиными головами, ореховое бюро, положив его на полочку рядом со стопкой оконченных и неоконченных стихов.

Дотрагиваться до них он был тогда не в состоянии: уж очень многое, что надо было забыть, непременно, напоминали они ему.

Забросив стихи, он старался практическим **делом** — составлением русской грамматики для своей ученицы, великой княгини Александры Феодоровны, — ввести себя в трезвое, жизненное русло.

"Я принялся за работу, — писал он одному из друзей — и часы мои идут порядочно. Вокруг меня всё устроено. Свадьба кончена, и душа совсем утихла".

Однако, на деле, это было совсем не так: душа вовсе не утихла, а тосковала и ныла беспощадно. Уныние охватывало ее беспрестанно.

Спрашивал тогда он сам себя: "Можно ли жить в таком унынии?.. Вместо того, чтобы, сколько возможно, заменить утраченное, я только горюю об утрате и стою на развалинах, поджав руки, вместо того, чтобы ободриться и построить столько, сколько можно. Надо отказаться от потерянности и сказать себе, что настоящее и будущее — мое".

Такие думы были и справедливы и разумны, но помогали они мало.

Впрочем, как всегда, мало по малу, к нему на помощь пришла всегдашняя его способность находить, даже в самом горе, какую-то странную, умиротворяющую усладу, какое-то сладкое наслаждение собственной печалью.

Она, эта тайная услада, постепенно примиряла его с его великой потерей, придавала жизни некую меланхолическую прелесть.

Весной восемнадцатого года, по разным делам, отправился он на короткое время в родные места, в Белёв и в Мишенское.

В глубокой грусти бродил он там по тихой и опустевшей усадьбе.

Был необыкновенной свежести и прелести весенний день.

В кустах буйно цветущей сирени щелкали соловьи, в липах яростно кричали грачи, ласточки стремительно носились в аллеях.

Было ярко, светло, радостно.

А большой, затихший дом, в котором некогда Афанасий Иванович Бунин, тогда белёвский предводитель дворянства, кормил обедами весь уезд, — стоял сумрачный, безжизненный, скучный.

Старый камердинер Евгеньич, в затрепанной, выцветшей ливрее, позвякивая ключами, водил его по комнатам, что-то бормотал под нос, что-то рассказывал, на что-то жаловался.

В зале пыльным коконом висела люстра, в чехлах стояли золоченые стулья, с большого портрета, писанного каким-то крепостным художником, смотрел тучный и благодушный Афанасий Иванович, с табакеркой в руках и орденом на шее.

Отец!

А, между тем, там, в мишенской церкви, в метрической книге, за 1783 год, в разделе о родившихся, значится: "Той же вотчины (т.е. Мишенского) у дворовой вдовы, Елисаветы Дементьевой, незаконнорожденный сын Василий, 30 января".

"Да, это я, тот самый, незаконнорожденный сын дворовой вдовы, что ныне вхож в царский дворец, свой человек в нем, преподающий русскую грамматику великой княгине. Не чудо ли это?"

В Белёве, после царского великолепия, всё показалось ему бедным, маленьким, невзрачным.

В своем, типично уездном, деревянном, двухэтажном доме, на Казачьей улице, прожил он несколько дней, отдаваясь воспоминаниям о прошлом.

Из широкого, полукруглого "венецианского" окна его дома открывался привольный вид на Оку, на зеленеющие купы деревьев, в которых золотой искрой блистал на солнце крест мишенской церкви.

В рассеянном раздумье стоял он у этого окна.

Да! Навсегда ушли, канули в Лету, давние, такие счастливые, бодрые, полные светлых надежд дни!

Вот она, та самая проселочная, глинистая дорога, что вьется вдоль Оки, теряясь вдали в синеве березовой рощи.

По ней, когда-то, он хаживал пешком из Мишенског ев Белёв давать уроки двум прелестным девочкам-подросткам.

Как были тогда светлы и чисты его мечтания!

Как весело было, сняв шляпу, подставлять свои тогда густые, шелковистые кудри — о! они теперь сильно поредели! — порывам буйного ветра.

Как весело было в пустынном приволье, без стеснения, полным голосом, петь громкую песню, и с улыбкой вспоминать только что прошедший урок и эти пытливые, ласковые, преданные глаза Маши!

Нет! Нет! Не надо вспоминать всё это, не надо думать о прошлом!

Вновь загрустил глубоко и горько.

Стоял размышляя и прислушиваясь к тому, как приливала волна поэтического вдохновения.

Давно не сочинял он стихов. А вот сейчас, они непроизвольно стали складываться в вольные и легкие строфы:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанья
И замолчавшие мечты?

Кто разбудил?.. Да, тут всё, буквально всё, старое, белёвское, привычное, — будит, на каждом шагу, воспоминания; будит вовсе не замолчавшие, а только притихшие мечты.

Самый воздух, эти облака, отражающиеся в реке, мягко зеленеющие придорожные ракиты, и, даже, эти, знакомые уездные базарные запахи, воркованье голубей, стаей вылетающих из-под распряженных деревенских телег, даже серые калачи на мочалке, висящие у лотка при съезде с моста — всё твердит и шепчет об ушедшем.

Шепнул душе привет бывалый,
Душе блеснул знакомый взор, —
И зримо ей в минуту стало
Незримое с давнишних пор.

Какое, в сущности, великое счастье быть поэтом и побеждать силой поэзии, словом, самою жизнь, с ее печалями и тяготами...

Вот родились стихи, и как бы, растворили горе, поглотили его, впитали в себя: в душе опять стало светло, и только сладкая печаль, как легкое облачко, чуть туманит сердце.

Вообще, ему как-то всегда удавалось утешить себя, привести свою душу в мечтательное, тихое и

сладостное состояние.

Он любил тогда отдаваться туманным мыслям о добре, о добродетели, о всём высоком: "...Мое положение прекрасное. Душа жива. Могу действовать без принуждения: могу действовать для добра; чувствовать, что буду действовать бескорыстно... Да сохранит мне Бог всегда чистоту сердца и да пошлет успех добрым желаниям и способность их исполнять..."

Так размышлял он, в примиренном и спокойном состоянии духа, покидая родные места.

С непокрытой гловой, у подножки коляски, увозившей Жуковского из Мишенского, стоял Евгеньич. Невдалеке толпилась дворня, с любопытством наблюдая отъезд барина.

— А что, — вспомнил Жуковский о Пушешникове и об его письме, лежащем в ореховом бюро, — не слышно ли что из Богдановки?

— Слыхать, ничего не слыхал. Кажись, барышня Софья Алексеевна замуж выходит, а молодой барин всё на Кавказе. Не скоро, видать, будет дома!

"Обязательно надо заняться делом Пушешникова", — подумал Жуковский, чувствуя угрызение совести.

Однако, и по возвращению в Петербург, ему было некогда заняться этим делом.

Там, в Петербурге, охватили его обычные петербургские интересы: дворцовые дела, литература, дурачества "Арзамаса".

Всё это отвлекло его не только от забот о Пушешникове, но даже от грустных мечтаний о Маше.

Приходилось сознаваться в том, что, по временам, он чувствовал себя не только спокойным, но даже и счастливым.

"Чувствую себя совершенно счастливым в своей должности. Счастлив особенно потому, что чувствую себя со всех сторон независивым: извне и внутри души. Честолюбие молчит, в душе одно желание доброго. Без всякого беспокойства смотрю на будущее и весь отдан настоящему. Милая, привлекательная должность! Поэзия! Свобода!"

Она, эта поэзия, была не только в торжественности и великолепии дворцовых зал, украшенных бесценными предметами искусства и памятниками русской славы. Всё это, само по себе, настраивало его на возвышенный лад, создавало высокие поэтические настроения.

Но не это было главным.

Подлинную поэзию ощущал он тогда, когда рядом с ним, у громадного окна, смотрящего на Неву, с выражением ученического старания и озабоченности, сидела юная, свежая, счастливая и жизнерадостная женщина, его ученица, недавняя принцесса прусская Шарлота, а ныне великая княгиня Александра Феодоровна.

Как необыкновенно приятно было наблюдать нежный овал женского лица, следить за быстрой сменой выражения глаз, затененных длинными, порхающими ресницами; наблюдать красивую и тонкую кисть руки, старательно выводящую трудные русские слова и слушать неправильную, с забавными ошибками, русскую речь.

Он был в восхищении, даже в восторженном обожании своей ученицы.

— Она, — говорил он, — прекрасное в живом образе!

Женственное обаяние, от нее исходившее, действовало на него с большой силой. Оно-то и делало его почти счастливым.

И, вместе с тем, всё это было необыкновенно возвышенно, идеально, благородно и бесплотно. Ни одна нечистая, эгоистическая мысль не омрачала его чувств.

Это вполне было в его духе, отвечая его неисправимой склонности к преувеличенной идеализации красивых, молодых женщин. Он приписывал им свойства и качества необыкновенные; создавал из них, в своем воображении, каких-то бесплотных ангелов, какими они на самом деле, конечно, не были.

Ведь, и та же Александра Феодоровна, имевшая, по его убеждению, душу чистую, простую и глубоко впечатлительную, была далеко не лишена многих женских слабостей: она не долюбливала свою свекровь, была не прочь позлословить, бывала иногда несправедливо строга к своим фрейлинам, бывала горда и надменна.

Одним словом, она вовсе не была ангелом, а самой обычной, хотя и милой женщиной.

Эта способность разнеживаться при соприкосновении с юной женственностью и как-то обращать любовь в мечтательную дружбу, испытывая приэтом большое наслаждение, — проявилась и тогда, когда Жуковский увлекся фрейлиной императрицы-матери,

Софьей Александровной Самойловой.

"В глазах и улыбке у нее, — считал Жуковский, — много чувства, мысли и доброжелательства."

И, на самом деле, она была девушка пленительной наружности, очень кроткая, любившая поэзию и склонная говорить с Жуковским о всём прекрасном.

Но, видимо, такие разговоры, вздохи, пожатие рук и мечтательная дружба — не могли тешить ее долго.

— Что же ты, любезный Василий Андреевич, медлишь? — спрашивал его князь Петр Андреевич Вяземский, — признанный всеми умница, человек острого и насмешливого ума. — Софья Александровна — женщина редкой любезности, неотразимого очарования. Поспеши, поспеши!

Но Жуковский не спешил. Он продолжал мечтать и вздыхать, постепенно остывая.

В конце концов, довольно легко и охотно, он "уступил свое право на счастье" ловкому, мужественному красавцу, Василию Алексеевичу Перовскому, адъютанту великого князя Николая Павловича.

К любви душа была близка.
Уже в ней пламень загорался,
Животворитель бытия,
И жизнь отцветшая моя
Надеждой снова зацвела!..

Так начиналось легкое и изящное стихотворение, обращенное Жуковским к Перовскому.

Написав его и вздохнув, он почувствовал привычное душевное облегчение — с недолгим и нерешительным романом было покончено!

Поэзия вновь победила жизнь.

В середине 1820 года, сопровождая великую княгиню, Жуковский выехал за границу.

Приводя в порядок свои дела перед отъездом, стряхнув с себя лень, он, наконец, занялся делом Пушешникова. Действовал он через того же Перовского, а тот через великого князя.

Было обещано, что, ежели Пушешников подаст прошение об отставке, то ему таковая будет дана.

Об этом Жуковский и написал в Тифлис Пушешникову.

2.

Моздок — жалкое селение на плоскости, в предгорьях Кавказа. От этого то селения и начинается военно-грузинская дорога.

В единственном трактире, где негде повернуться из-за множества офицеров, чиновников и другого люда, спешащего на линию, в Тифлис и из Тифлиса, — суета, гомон, чад дешевой кухни, табачный дым, и клопы в твердых, как камень, диванах.

— Вот тебе и подножье прославленного Кавказа!.. — желчно ворчит, измученный долгой и изнурительной дорогой, двадцатитрехлетний дипломатический чиновник, секретарь русской дипломатической миссии в Персии, Александр Сергеевич Грибоедов. — Гадкая дыра! Дождь, слякоть, туман — гиблое место!..

Он с тоской и скукой смотрит в окно тесного и неопрятного нумера.

Грязная улица, жалкие домишки, фурштадская фура, увязшая в грязи по ступицу.

Ехать сюда, через всю Россию, было очень нелегко.

Титулярным советникам — для станционных смотрителей они — мелкая сошка! — ездить на перекладных трудно...

Насиделись, дожидаясь лошадей, и в Туле, и в Воронеже, и во многих других местах.

От страшной, убивающей скуки спасался чтением "Деяний Петра Великого" Голикова.

Деяния эти восхищали, будили национальную гордость, но и сердили: пристрастие государя к немцам очень огорчало.

Попутчик Грибоедова, канцелярский служитель той же миссии, толстый и добродушный Амбургер, хотя сам и немец, но во всём, даже в неприязни к немцам, соглашался с Грибоедовым.

Он от него в восхищении, ему завидует. Завидует всему: уменью держать себя с холодной недоступностью и с безукоризненной вежливостью, прекрасным манерам, язвительности и остроумию речи. Завидует неподражаемому уменью носить свой варяд: прекрасно сшитый, коричневый, с черными шнурами, дорожный архалук, круглую шляпу, щегольские сапожки.

Тоже и в отношении дорожных вещей: прекрасный погребец, туалетный несессер, граненые флаконы крепких духов, гребни, щетки.

"Кажется, напрасно заехал я в эту дикую глушь, в эту безотрадную пустыню", — в унынии думает Грибоедов.

Вспоминает свой разговор с министром графом Нессельроде перед своим отправлением в Персию.

Министру нужно было уговорить Грибоедова отправиться в Персию. Ведь, другого такого чиновника, знающего в совершенстве все европейские языки, блистательно владеющего пером и отличающегося острым умом — трудно было найти для должности секретаря миссии в Персию.

Поэтому-то, министр, вообще, очень сдержанный, холодный и чванный, вынужден был снисходительно относиться к свободному с ним обращению Грибоедова.

А тот говорил с ним, не как подчиненный, не как маленький чин министерства, а как светский человек одного с ним круга.

— Помилуйте, ваше сиятельство! Было бы жестоко для меня провести свои цветущие годы между дикообразными азиатами. Ведь, служба в Персии — это добровольная ссылка. Я должен буду отказаться от друзей, от родных, от всякого общения с просвещенными людьми, от общества приятных женщин... Наконец, занятия музыкой, литературные успехи? Едва ли я найду их в Персии.

— Наоборот, в уединении вы усовершенствуете свои дарования, а женщины в Персии, как говорят, отличаются незаурядной красотой...

— Нисколько, ваше сиятельство! Музыканту и поэту нужны слушатели и читатели. Их в Персии не найдешь. А что касается прекрасных персианок, то они накрепко заперты в гаремах. Проникать туда дипломатическому чиновнику едва ли удобно!

Нессельроде сдержанно улыбнулся.

Грибоедов ему нравился: он, верно, будет ценным приобретением для министерства иностранных дел!

— Я решусь ехать к персам, — продолжал Грибоедов, — коли мне дадут два чина. Должно же быть некоторое соразмерное возмездие за мою жертву!

Министр поморщился. Всё же, чин был дан, но только один — титулярного советника.

Однако, с двумя ли или с одним чином, а уезжать из Петербурга, в Америку ли — предлагали и туда, — в Персию ли, — всё равно куда — было и неизбежно, и необходимо.

Это прекрасно сознавал Грибоедов.

После того, что случилось с ним год тому назад, продолжать старую жизнь, и безрассудно прожигать ее в кутежах, в толкотне за театральными кулисами, в литературных забавах — было уже немыслимо.

Всё — и кутежи, и балет, и женщины — всё надоело, буквально всё опротивело, потеряло свою притягательность.

"Пора, пора, — думал он решительно, — навсегда распрощаться с молодостью, пора переменить жизнь, сделать ее достойной моих ума и дарований."

И дело вовсе не в том, что в самой сильной мере пошатнулось благосостояние семьи: денег не хватает, стали душить долги. Крестьяне костромского имения, выведенные из себя непосильными поборами и произволом управляющего, подняли бунт, подавленный военной силой.

Об этом ему, человеку вольнолюбивому, и думать-то было стыдно. А мать, деспотическая, требо-

вательная, твердит о служебной карьере, о служебных выгодах. И этого было бы вполне достаточно для того, чтобы обречь себя на ссылку!

Однако, не в этом главное! Главное в той ужасной тоске, что постоянно томит сердце, всё обесценивает, бросает мрачную тень на всю жизнь.

Невозможно забыть того, как Шереметьев, этот жизнерадостный красавец, блестящий кавалергард, влюбленный в жизнь весельчак, несметный богач, считавший, что весь мир создан для удовлетворения его прихотей, — бился и корчился в муках на снегу, обагряя его своей кровью.

Нельзя было забыть, как тухли его глаза и как смертельная желтизна покрывала сразу изменившееся лицо.

Для людей, конечно, можно было, с привычным высокомерием, с насмешливым безразличием, делать вид, что ему совсем неинтересны те неблагоприятные о нем толки, что ходят в обществе, в связи с этой жестокой дуэлью.

Можно было, в кругу петербургских повес, остротами и шутками, маскировать свое отчаяние и свою душевную боль.

Но, ведь, наедине с самим собой и со своей совестью, никуда не уйдешь от жгучего стыда и от бесплодных сожалений.

"Зачем, зачем, так легкомысленно, так ненужно и нелепо ввязался я в эту интригу, — непрестанно терзался Грибоедов. — Пусть себе, это веселое создание, пышная русская красавица, блестящая танцовщица, Истомина, живя с Шереметьевым, ссорилась

бы с ним, бросала бы его, уезжала бы от него.

Пусть, влюбленный в Истомину, такой же, как и Шереметьев, беспечный прожигатель жизни, камер-юнкер, граф Завадовский, преследовал бы ее своей любовью, добиваясь ее благосклонности.

Какое, собственно, до всего этого было мне дело? И, зачем понадобилось мне, ни с того, ни с сего, из-за глупого желания поддразнить Шереметьева — привезти, после спектакля, Истомину на квартиру Завадовского и вызвать этим подлинную ярость Шереметьева?"

Правда, тогда было и забавно и приятно мчаться по морозным улицам Петербурга в теплой карете рядом с возбужденной недавним успехом и рукоплесканиями, дышащей жаром, податливой Истоминой. В полумраке кареты глаза ее блестели; она позволяла ему целовать руки, плечи, смеялась задорно.

Всё это казалось тогда приятным дурачеством, о котором позже можно было бы рассказать в веселом обществе, потешиться, а потом устроить, за дружеской пирушкой, примирение соперников.

На деле, однако, всё вышло иначе.

Смерть Шереметьева показала ему всю нелепость и смехотворность дешевой философии об исключительной ценности жизненных наслаждений, всю искусственность и пустоту напускного дэндизма, так долго его тешившего.

Вот почему, во что бы ни стало, надо бежать из Петербурга, вот почему, раз и навсегда, надо расчитаться с прошлым. Вот почему надо искать по свету такое место, где можно было бы, отдавшись настоя-

щему делу, хотя бы отчасти, позабыть о прошлом.

А это прошлое, кстати сказать, еще и не завершено, еще довлеет над ним.

В Тифлисе — он знает это, — ждет его Якубович, секундант несчастного Шереметьева.

Дуэль с ним была отложена только потому, что Якубович был подвергнут аресту за участие в дуэли и сослан на Кавказ.

Драться придется непременно, и, если он останется жив, то дуэль эта будет последним всплеском той жизни, которой он, с таким увлечением предавался до сей поры, и которую он сейчас жаждет забыть.

...Через несколько дней, когда собрался нужный конвой, через горы отправились в Грузию.

Ехать приходилось верхом. Грибоедову, недавнему гусару, это было нипочем, даже приятно.

В пути погода рассеялась, засветило солнце, засинело небо, засияли снежные горные вершины. Ревел Терек, грозно нависали скалы.

Властное обаяние Кавказа со всей силой охватило Грибоедова.

Он писал: "Округ меня неплодные скалы, над головой царь-птица и ястреба, потомки Прометеева терзателя, впереди светились снежные верхи гор, на которые я вскоре забрался и нашел сугробы, стужу, все признаки глубокой зимы; но в расстоянии нескольких верст суровость ее миновалась; крутой спуск с Кашаура ведет прямо к весенним берегам Арагвы; оттуда один шаг до Тифлиса".

Величие и суровость Кавказа, веселая и ласковая Грузия, ее долины, мягкие холмы, рощи, сады —

примиряли Грибоедова с Азией.

Он уже не раскаивался в том, что отправился в Персию.

21 октября 1818 года он приехал в Тифлис.

Он даже не успел осмотреться, притти в себя, понять, как следует, что он в каком-то новом городе, не похожем ни на что ранее виданное, как явился Якубович, его настойчиво поджидавший и упорно искавший встречи с ним.

Из всех участников злосчастной дуэли, только он один и пострадал; будучи сослан на Кавказ, на службу в Нижегородский драгунский полк.

Грибоедов с трудом переносил глупых людей и особенно надутых, напыщенных, думающих только о том, чтобы произвести впечатление, чтобы заставить общество говорить о себе. Именно таким и был Якубович.

Он картинно драпировался в байронический плащ — это было тогда в великой моде, — представлял себя человеком гонимым роком, обуреваемым сильными и мятежными страстями, отягченным тяжкими воспоминаниями.

Хотя ссылка на Кавказ из-за дуэли, наделавшей много шума в светских кругах, очень умножала сомнительную славу Якубовича, как отъявленного кутилы, забияки и дуэлиста, — а этой славой он очень дорожил, — он всё же был сильно озлоблен и питал к Грибоедову очень неприязненные чувства.

Вообще переносил он его с большим трудом.

Его раздражали в Грибоедове: спокойное равнодушие, ледяная вежливость, способность держать лю-

дей на известном от себя расстоянии, усмешка тонких губ, насмешливые огоньки, сверкающие за стеклами очков.

— Вы, милостивый государь, — сказал ему Грибоедов, — позволяете себе распространять обо мне повсюду самые неблаговидные слухи. Между тем, я вас ничем не обидел и не оскорбил. Но, ежели вы желаете драться, — я к вашим услугам.

— Честным словом я обещал покойному Шереметьеву при смерти его, что отомщу за него и вам, и Завадовскому, — ответил Якубович.

Взятая им на себя роль мстителя, видимо, очень тешила его.

Через день после этого объяснения состоялась дуэль.

Место для нее, во вкусе того времени, было выбрано в местности романтической: за селением Куки, в живописном овраге, у какой-то старой могилы, увенчанной каменным полуразвалившимся памятником.

Было чуть туманное, очень теплое утро, такое, какое бывает в России только ранней осенью.

Пробиваясь сквозь туман, солнце золотило вершины холмов.

Было тихо, мирно и безмятежно.

Якубович стрелял превосходно, и, в сущности, жизнь противника, если тот не выстрелит первым и не уложит его на месте, — была в его руках.

Грибоедов знал очень хорошо, что Якубович может поразить его, как захочет, но стоял под пистолетом, как будто бы, без всякого волнения, неподвижный, точно изваяние. Пистолета не поднимал, ожи-

дая выстрела противника.

Он был немного бледен, на губах играла его обычная легкая усмешка, солнечный блик сверкал в стеклах очков.

Высокий, стройный, он рисовался тонким и изящным силуэтом на фоне чуть затянутых туманом, рыжих кустов. Фрак снят, белоснежная рубашка с кружевными манжетами, твердый воротничек подпирает синеватые, после недавнего бритья, щеки.

С минуту противники стояли неподвижно. Якубович, не выдержав ожидания, выстрелил первый. С большой силой пуля ударила в кисть руки Грибоедова. Он пошатнулся, но, продолжая стоять, поднял пистолет.

Якубович под выстрелом был великолепен и своим хладнокровием, и всей живописностью завзятого, опытного дуэлянта.

Смуглый, черноусый, сверкая выразительными глазами, он не шевелился; только что разряженный пистолет дымился в его опущенной руке. Пуля противника, просвистевшая, как ему казалось, возле самого уха, — его не задела.

Доктор Миллер перевязывал руку Грибоедову. От потери крови тот ослабел, стал клониться к земле.

— Вы прострелили мне руку, — с бледной усмешкой сказал он поддерживающему его Якубовичу. — Пожалуй, я не смогу больше играть на фортепиано.

— Признаюсь, — усмехнулся Якубович, — этого я и добивался. Я отомщен!

На квартире Николая Николаевича Муравьева,

секунданта Якубовича, завтракали шумно и весело. Все были довольны, возбуждены, веселы. Громко говорили, смеялись, хвалили дравшихся. Кахетинское делало свое дело. Вражда рассеивалась.

Решено было объявить, что Грибоедов, участвуя в охоте, свалился с лошади и та раздавила ему копытом ладонь.

Конечно, никто этому не верил. Толки о дуэли росли, тифлисское общество долго было занято ею.

Однако, придраться было не к чему, да и придираться никто не хотел. Якубовичу же было приказано отправиться к месту службы, в селение Карагач, где стояли нижегородские драгуны.

...После поединка Грибоедов почувствовал большое душевное облегчение. Он устал, ослабел от раны, но на душе у него было, как никогда, покойно. Ведь свою вину перед убитым Шереметьевым, он, как будто бы, искупил своей кровью.

И, вот, теперь-то, наконец, он сможет начать совсем новую жизнь — деятельную, полную полезных трудов, сильных впечатлений, тревог, и, даже опасностей.

Он будет служить. Именно служить, а не прислуживаться в одном из петербургских департаментов и не заниматься бессмысленной канцелярской возней.

Он будет делать первостепенной важности, государственное дело, защищать русские интересы в коварной, вероломной Азии.

О! Он не станет втираться в персидскую дружбу, не будет льстить и заискивать. Он сумеет внушить страх и уважение перед русским именем, перед во-

лей русского царя.

Конечно, Ермолов, этот замечательный человек — поймет его и поддержит в его деятельности.

Ему еще никогда не доводилось встречать Ермолова, но слышал он о нем очень много.

Толки и разговоры и в Петербурге, и здесь, на Кавказе, всё время подогревали интерес к нему.

"Наверно, — думал Грибоедов — Ермолов отпросился на Кавказ потому, что дома ему тесно, скучно, потому, что ему трудно жить в окружении посредственных, мелких, ничтожных людей. Ведь, в самом деле, умному человеку, человеку с душой и пылким сердцем — трудно жить в свете."

Он вспоминал последний свой приезд в Москву, всю свою московскую родню, всех этих самодовольных, чванных, невежественных дядюшек и тетушек, все эти балы, обеды, крестины, сплетни, карты... До чего же всё это — мелко, ничтожно, пошло!

И, как ошибся он в той, которая, одно время, влекла к себе его сердце, к которой он так спешил, летел, сломя голову, из Петербурга, и в ветер, и в бурю.

Она же, на деле, оказалась самой обыкновенной жеманной, наивной и неумной, московской кузиной, которая предпочла какой-то жалкой посредственности его ум и сердце.

— Нет, не доволен я Москвой! — говорил он. — Горе тому там, в чьей, по несчастью голове, пять, шесть найдется мыслей здравых!..

"Может быть, — размышлял он дальше, — Нессельроде был недалек от истины, когда, соблазняя

службой в Персии, говорил о том, что там, в уединении, он сможет усовершенствовать свои дарования.

В самом деле, почему ему в скучной Персии не заняться, как надо, писательством, почему не представить в драме или комедии, на сцене, Москву, московское общество, всех этих вздорных стариков, зловещих старух, доморощенных умников, светских болтунов, вестовщиков, сплетников?

Почему не показать среди них, молодого, пылкого человека, пытающегося бороться с общими суевериями, предрассуждениями, с невежеством и с раболепством перед всем чужим, иноземным?

Ведь, собственно, уже давно, правда еще неясно и смутно, только намеками, в его воображении уже жил герой его будущей комедии, схожий, в некоторой степени, с ним самим, такой же беспокойный скиталец, гонимый невежественной толпой, и несчастливый в любви.

Да, и сама, эта толпа, отдельные ее персонажи — взять, хотя бы, его сановитого дядюшку, его дочку, даже его камердинера, грамотея Петрушку, или всей Москве известную злую сплетницу, княгиню, Марью Алексеевну — уже жили в его воображении, действовали, говорили, и постепенно проявлялись всё яснее и яснее.

Надо только повременить, надо только прождать время, когда все эти лица облекутся в плоть и кровь, оживут и заговорят тем самым, московским, чистым и умным языком, который он так остро чувствует, который с самых пеленок затвержен им от всех его мамушек и нянюшек, от всего того московского лю-

да, который, незаметно для него самого, выпестовал в нем подлинную русскую душу.

Думая обо всё этом, он представлял себе тот самый дом на Арбате, в котором разовьется действие его будущей комедии. Ведь, сам он нераз танцевал в белом зале этого дома и много раз, в волнении от предстоящей встречи, взбегал по широкой лестнице с белыми колоннами.

На этой самой лестнице, в заключительной сцене задуманной комедии, его герой, гонимый всеми, убегая из Москвы, в гневе повторит те самые слова, которые он сам твердил про себя, покидая Россию:

"Бегу не оглянусь, пойду искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголок!..
Карету мне, карету!"

"Горе уму", или лучше "Горе от ума" — вот, как можно будет назвать ту комедию, которая — в этом он был уверен — прославит его имя.

3.

Начальником персидской миссии был назначен Семен Иванович Мазарович. В семнадцатом году, он, в качестве лекаря, участвовал в посольстве в Персию; Ермолову он понравился и им был выбран возглавляющим миссию.

Человек средних способностей, осторожный, приятный и обходительный, он нравился Грибоедову и сам относился к нему дружественно-покровительственно.

Хотя был щепетильно аккуратен, любил покой и

порядок, — он, живя с Грибоедовым в одной комнате, терпеливо и благодушно переносил его чудачества.

А, Грибоедов, прямо по-мальчишески — правда ему было всего только двадцать три года — иногда, вдруг, начинал палить в потолок из пистолета, свистеть, распевать песни, тормошить Мазаровича, не говоря уже о том, что не тушил свечи допоздна и неперестaвал дымить трубкой.

Мазарович очень гордился расположением к нему Ермолова, преувеличивая его немного, и считал себя обязанным поучать молодого секретаря миссии.

— Старайтесь, — говорил он Грибоедову, — устроиться при его высокопревосходительстве. Он очень нуждается в талантливых людях, и, конечно, должно оценит вас. Но, ради Бога, бегите карт, кутежей, не сближайтесь слишком с здешней молодежью, иначе — предсказываю вам — вы переживете немало дней грустных и бедственных!..

В ответ Грибоедов только весело смеялся.

Он отлично понимал, что имел в виду Мазарович, предостерегая его от сближения с молодежью: недавняя его дуэль с Якубовичем принесла Мазаровичу немало огорчений и тревог.

Наконец, на второй день Рождества, в Тифлис прибыл Ермолов.

Для того, чтобы избежать всяких встречь, он заночевал на Арисховском посту и, рано утром, въехал в город.

Сразу же по приезде, он заперся в кабинете с гражданским губернатором Иваном Александровичем Ховеном, коего очень любил и коему доверял без-

гранично.

Несмотря на рождественский праздник, занимался с ним делами долго, и, только покончив с занятиями, вышел к близким к нему по службе лицам. Всех принял очень ласково, всех поодиночке обнял, расцеловал и всех, как всегда, восхитил.

В свите главнокомандующего приехал и Пушешников.

Назначенный для занятий по квартирмейстерской части, он сразу же был завален множеством хозяйственных дел, относившихся к подготовке персидской миссии к отъезду.

Миссия представлялась Ермолову в его кабинете. Радушно поднявшись из-за стола навстречу Мазаровичу, главнокомандующий его дружески обнял, заговорил с ним о прошлом, вспоминая общее пребывание в Тавризе и в Тегеране.

Грибоедова он приласкал, вспомнил какую-то общую, дальнюю родню, московских знакомых; сказал, что получил от министра самую лестную о нем аттестацию.

Жадно разглядывал Грибоедов знаменитого генерала. Загорелый почти до черноты, с гривой черных, уже посыпанных солью, волос, в усах, с крупными чертами львиного профиля, дородный, грузный, — он не обманул его ожиданий.

Именно таким в своем воображении представлял он прославленного "проконсула Кавказа".

С любопытством наблюдал он за тем, как Ермолов, не прерывая разговора, просматривал бумаги, делал пометки, поправки, задавал вопросы секре-

тарю, посыпающему песком его энергичную, с сложным росчерком, подпись.

— Оставив весной Тифлис, — с живостью рассказывал он, — я почти год прожил между татар в Дагестане и Чечне, в самых прегнусных деревушках... Жил без крыши, под открытым небом. Скука преестественная! Ведь, мы не столько дрались, сколько рубили леса и прокладывали дороги. Неприятель? О! Он, напуганный, больше прятался повсюду и показывался редко. Многие горские племена, раньше нам не покорствовавшие, — признали нашу власть; дали аманатов *) и теперь повинуются безусловно. Скажу вам, что мусульмане, не взирая на различие веры, со временем будут вернейшими и послушнейшими подданными нашими. Я — верьте мне — понял их превосходно!

Дальше речь зашла о Персии.

— День выезда из Тавриза, — говорил Ермолов, — был приятнейший в моей жизни. Я ждал его с нетерпением, совершенно наскучив беспрерывным притворством персиян. Свою ненависть они были не в силах скрыть своими самыми надоедливыми, по грубой лести, приветствиями. Лесть, лживость, вероломство, жестокость — вот характер персиян!

— Говорят, — заметил Грибоедов, — что надо сделать состав лисицы, кошки и тигра, чтобы получить настоящий персидский характер.

Замечание это, сказанное кстати, понравилось Ермолову.

---

*) «Аманаты» — заложники.

— Да, это очень справедливо, — сказал он, — и я соглашусь увидеть эту ненавистную мне страну разве только с оружием в руках!..

Ермолов, в коротких и ясных словах, дал сжатый и точный обзор персидских дел и персидских отношений. Он знал их превосходно. Очень тонко и живописно охарактеризовал он главных персидских лиц, и особенно хитроумного и коварного наследника персидского престола, от которого, в сущности, зависело всё: в нем, — говорил Ермолов, — и впрямь смешались причудливо черты лисицы, кошки и тигра!

С большим увлечением, да и с восхищением, слушал Грибоедов речи Ермолова.

Они убеждали его в том, что он не ошибся согласившись отправиться в Персию. Там, конечно, его ждут великие дела, трудная борьба с противниками искусными, ловкими, хитрыми.

А это именно то, о чем он мечтал. Это будет дело, его достойное!

От Ермолова он вышел совершенно очарованным.

— Да! Это замечательный человек! — говорил он убежденно, когда они вернулись к себе и снимали свои дипломатические мундиры. — Он не только очень умен, — нынче, ведь, все умны — но умен чисто по-русски. Годен на всё: и на великое и на малое; и мелочей не пропустит! А красноречие! Его слова хоть сейчас положить на бумагу! Слушать его истинное наслаждение!

— А что я вам говорил? — ответил Семен Иванович. — Вспомните мои слова: старайтесь устроиться при нем — он вас оценит.

Мазарович смотрел на дело практически. Увлекающийся и страстный дух Грибоедова был ему чужд. Он хоть и восхищался великим человеком, но и искал реального: служебных выгод и пользы.

...Обед у главнокомандующего простотой и незатейливостью кухни, обманул ожидания Грибоедова. Впрочем, вино было превосходное.

Зато застольная беседа — а, вести ее Ермолов был великий мастер — была исключительно занимательна и любопытна.

С обычным своим сарказмом, едко и желчно заговорил Ермолов о засилье в армии и в гражданской части немцев. В армии — говорил он — это приводит к бездушному поклонению всяким уставам, инструкциям, параграфам и к бессмысленной муштре, а в политике приводит к тому, что в ней нет чуства национального достоинства, нет постоянства и твердости.

— А, это всё потому — пылко отозвался Грибоедов — что все мы принадлежим к поврежденному классу полуевропейцев и очень далеки от народа и ему чужды. Каким это черным волшебством мы стали чужими между своими? Народ наш, единокровный наш народ, разрознен с нами и разрознен навеки!

Грибоедов разгорячился, глаза засверкали.

Ермолов с интересом слушал его. Не часто приходилось слышать такие суждения. Они во многом сходились с его собственными мнениями.

Грибоедов стал ему нравиться. Первое же впечатление было не в его пользу. "Столичная штучка!"

— подумал тогда Ермолов. "Видно, холодный и расчетливый карьерист".

Теперь же он видел, что ошибся: у Грибоедова не только острый и язвительный ум, но и пылкость, благородство мнений, преданность России. Недаром, он как-то сказал: — Уважение к России и к ее требованиям — вот мне что нужно! — А это было, как раз, то, что было нужно и ему самому, Ермолову.

— Вы говорите справедливо — сказал он. С народом мы, и впрямь, разрознены. Однако, не везде! Ведь Москва и московские баре, петербургские и московские гостиные — еще не вся Россия. А, война? Особенно здешняя, кавказская? Разве мы здесь разрознены с солдатами? Разве мы здесь чужды друг другу?

— Ну, разве только на войне, да на Кавказе иначе, чем везде? А всё другое? Ну, хотя бы я сам, в этом фраке, в очках, с французским языком, со своими привычками и мнениями. Что общего у меня с теми, кто нам прислуживают за столом, или с теми костромскими мужиками, что шлют мне свой оброк? Мы не знаем, гнушаемся своего народа. Нам во сто крат милее какой-нибудь французик, затесавшийся в московские гостиные, все достоинства коего заключаются в модных панталонах и затейливых брелоках.

Обед кончился и обедовавшие перешли в гостиную. Взволнованный Грибоедов подошел к фортепьяно, поднял крышку, и, не садясь, сыграл несколько тактов какого-то приятно-грустного вальса.

Было видно, что какая-то настойчивая мысль занимала его ум.

Захлопнув крышку, он отошел от фортепьяно и продолжал, обращаясь к Ермолову:

— А, этот нечистый дух нашего рабского, слепого подражания всему иноземному, какая то жалкая тошнота по стороне чужой?.. Взять к примеру, хотя бы наше платье, неудобное и смешное для русского человека.

— "Жалкая тошнота по стороне чужой" — повторил Ермолов. Да, в этом вы, конечно, совершенно правы. Но едва ли нам надо восхвалять русские одежды.

—О, нет! — горячо возражал Грибоедов. — Русское платье — оно красивее и покойнее фраков и мундиров. А, главное, оно снова сблизило бы нас с простотой отечественных нравов, заслужило бы нам доверие народа, потерянное нами уже давно!..

"Пожалуй, — думал Пушешников, прислушиваясь к разговору — Грибоедов в своем уме не уступит Алексею Петровичу. А, ведь, тот вот как умен!"

Мысленно сравнивал он обоих. Они были разные, вовсе друг на друга непохожие.

Алексей Петрович — настоящий богатырь, сильный, непреклонный, как гранит. Грибоедов, даже по внешности, иной: изящный, ловкий.

Но, и в нем есть что-то стальное, негнущееся, что роднит его с Ермоловым. Оба проникнуты одним духом. Россия! Вот, кто объединяет этих обоих, казалось бы, совсем разных людей.

Расположение Ермолова к Грибоедову возбуждало у многих зависть, а остроумные, часто злые и желчные грибоедовские суждения, некоторый холо-

док в обращении — заслужили ему почти всеобщую нелюбовь.

— Конечно, он человек очень умный и начитанный, но слишком занят собой, — говорили одни.

Вторя им, другие говорили:

— О! Он хитер, умеет действовать осторожно. Вот, вчера Алексей Петрович весьма красноречиво, с большим умом и знанием говорил о разделе Польши. Грибоедов же, как всегда, дает свое мнение уже тогда, когда Алексей Петрович свое скажет. И теперь, говоря о Польше, он повторял слова Алексея Петровича, а все думают, что он знает предмет так же хорошо, как и Алексей Петрович.

Некоторые же высказывались еще решительней и резче:

— Вчера, — рассказывал кто-то, — Грибоедов на обеде у Алексея Петровича отличился глупейшей лестью и необыкновенными враками!

...На новогоднем балу во дворце главнокомандующего, Пушешников, никогда раньше на балах не бывавший, чувствовал себя неловко и принужденно.

Адъютанты и драгунские офицеры, с какой-то изящной развязностью, кружились в танцах. А когда ловкие, гибкие, перетянутые в талиях, пружинистые и легкие грузины, в щегольских черкесках, с какой-то веселой удалью, понеслись за неслышно плывущими по паркету красавицами, с глазами опущенными долу, — Пушешников остро почувствовал то особое, кавказское, разгульное, что чаровало его в самой сильной степени.

Он очень жалел о том, что он так далек и чужд этой нарядной жизни, этим пленительным красавицам, всему этому незнакомому ему миру.

— Не скажете ли вы мне, кто это та красивая дама, что танцует с толстым полковником?

Рядом стоял Грибоедов. Прекрасного, петербургского покроя фрак, с модными буфами на плечах — таких еще нет в Тифлисе! — белоснежные брыжжи, галстук, воротнички, бальные панталоны в обтяжку.

— Я никого здесь не знаю; недели нет, как, вместе с Алексеем Петровичем, приехал сюда.

— О, тогда я здесь, по сравнению с вами, — старожил! Я здесь уже больше месяца, и, знаете, чувствую себя вполне кавказским патриотом, как-то втянулся в круг местных интересов. Написал даже письмо в "Сын Отечества", опровергая слух из Константинополя о, якобы, происшедшего здесь возмущения.

Пушешникову — надо было сознаться в этом — была лестна любезность к нему столичного щеголя, светского, гордого человека, каким он считал Грибоедова. Вместе с некоторой неприязнью к нему, Пушешников испытывал и тайное желание как-то приблизиться к Грибоедову, войти к нему в дружбу.

Разговор завязался. Они прошли в шумный и дымный буфет. Пили шампанское. История Пушешникова заняла Грибоедова. Она, пожалуй, была столь же изменчива, капризна и бурна, как и его собственная.

Расстались они на заре. Пушешников был очень доволен: новый знакомый оказался совсем не таким,

каким его представлял себе раньше, а любезным и благожелательным.

К сожалению, знакомство это не длилось долго. В конце января, миссия покинула Тифлис, отбыв в Персию.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1.

В Тифлисе Ермолов долго не задерживался. Весной 1819 года, он вновь действовал в Чечне и в Дегестане.

Опять каменная земля, дымящиеся туманами кручи, лесные крутые тропы, кремнистые дороги.

Высоко курятся далекие дымки аулов, в синей дали высятся островерхие сторожевые башни, могильники.

Всё хорошо знакомо Пушешникову: и горячий, ленивый зной летних дней, когда немолчно трещат цикады, в траве шныряют и греются на солнце увертливые ящерицы, а разморенные кони устало фыркают, машут хвостами, отгоняя докучных оводов; и звездные ночи, гаснущие костры, тревожные шорохи, далекие выстрелы.

Идет всё та же первобытная, жестокая и неумолимая боевая жизнь.

В Малой Чечне построили крепость Внезапную и много других укреплений; непрестанно рубили просеки, прокладывали дороги.

Усмирялись какие-то акушинцы, а потом и мехтулинцы. Разве только Алексей Петрович знает толком, что это за народы, а для всех других всё это одинаковая татарва, неспокойная и непокорная.

А в августе ходили усмирять изменившаго аварскаго хана. Встретили его "скопища" на берегах горной реки Сулак, желтые воды которой бурно клокочут по извилистому кремнистому руслу, ворочают камни, разбрасывают пенные брызги.

Мятежный хан — старый, седой воин — тщетно пытался защитить свою многовековую власть и свои прапрадедовские права. Но у селения Балтугай, был он наголову разбит. Проклиная русских, в великом отчаянии, хан, захватив свою казну и гарем, бежал в Персию под покровительство Абасс-Мирзы.

Вслед за аварским ханством, и ханства Шекинское, Карабахское, Ширванское — скоро перестали существовать. Тяжелой рукой Ярмула, были они приведены к покорности и полностью подчинены России.

Бурливая, безпокойная, напряженная, жизнь — целиком захватила Пушешникова. Мало по малу, и он стал немного разбираться в хитросплетениях местной жизни, стал понимать особенности отдельных ханств, их отношения между собой и к вассальным им горским племенам; стал живо интересоваться тем, как Ермолов, последовательно и искусно, осуществлял свой, хорошо продуманный, план покорения этого бурливаго края.

...Поздней осенью, с большими трудами, опасностями и дорожными приключениями, добрался Грибоедов до того дикаго селения в дагестанских горах, где находился тогда со своим штабом Ермолов.

— Это вам не служба петербургская — говорил он бодро, довольный собой и своим положением. Я, секретарь бродящей дипломатической миссии, — вот уже два месяца подряд не слезаю с лошади. Скачу, то под знойным небом Персии, то в снегах кавказских, немало, немного, а по семьдесят верст в день. Иногда только отдых на неделю, другую.

— Помилуйте! — продолжал он, объясняя причину своего приезда. — Вы не поверите, как двусмысленно наше положение в Персии, в этом котле всяких неправд и безсмыслиц азиатских. От Алексея Петровича за целый год — ни слова. Мы даже не знали где он и каким оком смотрит он, со своих высот, на нашу дольную деятельность.

Грибоедов, загорелый, посвежевший, воинственный с нагайкой в руке и с пистолетом за поясом, — вовсе не походил на изнеженного чиновника.

Очень гордился тем, что успел сделать за короткий срок: вывел из Персии отряд русских солдат, когда то плененных персиянами.

— Голову положу за несчастных соотечественников — говорил он Мазаровичу, когда тот проповедовал осторожность и умеренность.

А, Мазарович не оправдал себя; колебался, лебезил перед персиянами. А это — не в обычае у секретаря посольства. Он лебезить не будет, он покажет

силу российской державы! Но жаль, что он только секретарь, а не больше! Ермолов все сделанное одобрял и на неудовольствие министра, боявшегося раздражить персов, не обращал ровно никакого внимания.

Почти монашеская, спартанская жизнь, которой жил Ермолов и его офицеры, — пришлась по сердцу Грибоедову. Жизнь эта, ни в какой мере не была похожа на ту веселую и праздничную жизнь, которую когда-то, в четырнадцатом году, он вел, будучи адъютантом в штабе командира резервнаго кавалерийскаго корпуса генерала Кологривова. Тот был типичный, красочный кавалерийский генерал, любивший хорошо, молодецки пожить, попировать, покрасоваться, хотя службу знал и дело делал немалое.

Тогда служба в его штабе была веселая, праздничная. Гремели трубачи, лилось шампанское, вспыхивали яркие снопы фейерверков.

Грибоедов, тогда совсем юный, увлекающийся, послал в "Вестник Европы", восторженное описание праздника по поводу награждения Кологривова высоким орденом. Это описание было напечатано в журнале, как "Письмо из Брест-Литовска" издателю

Ничего похожаго не было здесь в ермоловском штабе. Ни балов, ни празднеств, ни звяканья адъютанских шпор, ни тонкой лести, ни подчеркнутаго чинопочитания. Никаких увеселений: ни карт, ни пьянства Ермолов не терпит.

С раннего утра, в палатке или в какой-нибудь жалкой лачуге, а то и где нибудь в тени старого дуба, — деловитый, озабоченный, неутомимый, занимается

Ермолов со своими адъютантами. Бездельников нет, каждый занят. Словесные и письменные приказы даются первому, который попадается под руку. То один, то другой садится на коня, отправляется в далёко с трудными и опасными поручениями. Обедают все у Ермолова, сидят без чинов, говорят свободно, вольно.

Грибоедов любит и привык к удобствам, ими с давних пор избалован, изнежен.

Но теперь, в том, что ему приходится отказывать себе в самом необходимом, спать не раздеваясь, закутавшись в бурку, умываться под открытым небом ледяной водой, питаться каждый день жесткой, пережаренной бараниной, — он находил немало приятного.

Такая жизнь как бы отвечала суровой, простой и мужественной душе этого великолепнаго Кавказа..

Им Грибоедов был покорен безповоротно.

В самом деле, какое наслаждение, в ранние часы, пока казаки вьючили лошадей и докуривали свои трубки, стоять на самом краю дымящагося туманом обрыва, вдыхать этот живительный горный воздух, слушать как грозно и глухо ревет на дне пропасти бурный поток, и смотреть на порыжевшие леса, в листве которых, каплями алой крови, краснеют ягоды кизила и лимонно желтеют спелые груши.

А эти воинственные, смелые, непокорные люди, защищающие неистово свои аулы от ненавистных русских, неизвестно зачем явившихся сюда!

В походной тетради Грибоедова — обрывки стихов:

Живы в нас отцов обряды,
Кровь их буйная жива.
Те же с ревом водопады.
Та же дикость, красота
По ущельям разлита!...

Но, как бы ни была живописна, нарядна и своеобразна жизнь кавказских народов, как бы ни была героична их борьба за свою вольность, как бы ни был привлекателен этот патриархальный быт, — Грибоедо был глубоко убежден в том, что все эти воинственные и непокорные племена должны быть покорены и подчинены России.

Конечно, жалко и нелегко смотреть на то, как стираются с лица земли непокорные аулы и на месте их остаются только груды щебня и пепла, обогрелые бревна и пни, дичающие сады.

Жаль, конечно, и этих несгибающихся людей, неуклонно оттесняемых в самую глухую глубь гор и обрекаемых на нищенское существование, Но, всё равно, — так надо!

Ермолов прав в своей непреклонности и в своей неумолимости.

Грибоедов писал:

Окопайтесь рвами, рвами,
Отразите смерть и плен —
Блеском ружей, тверже стен!
Как ни крепки вы стенами,
Мы над вами, мы над вами!
Будто быстрые орлы
Над челом крутой скалы

Поздними осенними вечерами, под звездами, сидя на порожке каменной сакли, толковал он об этом с Пушешниковым.

Грибоедов собеседником был блестящим и увлекательным. Всё он знал, обо всем имел свой собственный взгляд, свои собственные острые и любопытные суждения.

— Чем человек просвещеннее, тем он полезнее своему отечеству, — сказал он как-то Пушешникову, в ответ на его удивление по поводу его учености.

Не раз Пушешников наблюдал Грибоедова и под выстрелами. Спокойный, непроницаемый, плотно сжав свои тонкие губы, — он не проявлял никакого волнения. Его умные, насмешливые глаза смотрели холодно и без страха.

В декабре, дружественно распрощавшись с Ермоловым и его офицерами, Грибоедов отправился к месту службы в Персию.

Было ясное и морозное утро. В мохнатой шапке и в бурке, Грибоедов ловко сидел в седле. Вид был воинственный.

— Едемте со мной в Персию, Алексей Петрович отпустит! — шутливо говорил он, прощаясь с Пушешниковым. — У нас в Персии немало любопытнаго. И нигде звезды не светят так ярко, как там, в этой скучной стране. Жалеть не будете!..

Приподнявшись на стременах, на рысях, он оглянулся, помахал плеткой; сверкнули стекла очков. Подковы казачьего конвоя звонко застучали в морозном воздухе.

Через много лет, услышав о гибели Грибоедова,

Пущешников живо представил себе эту мимолетную сцену.

2

Ранней весной двадцатого года, Ермолову донесли о начавшихся волнениях в Имеретии, в Гурии и в Мингрелии.

Он немедля поскакал в Тифлис. С ним был и Пушешников.

По прибытию в Тифлис, сейчас же были приняты быстрые и крутые меры. В Кутаисе взяли под стражу, для дальнейшаго отправления вглубь России, причастных к мятежу, некоторых представителей имеретинской знати и духовных лиц. Однако, захватить главных вдохновителей и возглавителей мятежа — князя Ивана Абашидзе и царевича Вахтанга — не удалось. Они укрылись в Гурии в поместьях князя Кайхосро Гуриели.

Туда, немедленно, с небольшим отрядом послан был полковник Пузыревский, правитель Имеретии и, он же, командир 44-го егерского полка.

...Апрельское утро, ясное и тихое, только что загорелось. В громадное открытое окно приемнаго зала веет утренней свежестью; слышны обычные утренние звуки и шумы: цоканье копыт, скрип ползущих на базары арб, крики разносчиков.

Алексей Петрович, в сопровождении своего неизменнаго Бирки, отправляется на обычную утреннюю прогулку.

— Коль будет гонец от Пузыревскаго, немедленно проводи ко мне, — проходя мимо, говорит он дежурному адъютанту Пушешникову.

Тот хорошо знает с каким нетерпением ждет Ермолов известий от Пузыревскаго. Донесение от него должно прийти с минуты на минуту.

Пушешников и сам волнуется. Он уже разспросил кого надо об Имеретии, и знает, что там было недавно и что происходит сейчас.

Оказывается еще при князе Цицианове, в 1804 году, имеретинский царь Соломон II подписал акт о своем "вечном и верном рабстве Российской Державе". Однако, "вечное" не длилось долго. Очень скоро царь Соломон вступил в сношения с врагами России. Разбитый, в Ханийском ущелье, генералом Тормасовым, он был взят в плен, из коего, впрочем, ему удалось бежать. Недавно он умер в изгнании, в Трапезонде.

На этом прекратилась самостоятельность Имеретии. Но князья не смирились. Как и при царе Соломоне, так и теперь, в интригах против России главную роль играет фамилия Абашидзе. Князь Иван — теперешний глава мятежников.

...Только что вернулся с прогулки Ермолов, как послышался быстрый, учащенный топот копыт. Пушешников бросился к окну.

Внизу, у широких ступеней подъезда, — всадники, пропотевшие, запыленные, с обветренными лицами, с воспаленными глазами.

Ни минуты не медля, бросив поводья казаку, вы-

сокий черноусый офицер, торопливо, шагая через ступеньки, бежит по лестнице.

— К его высокопревосходительству с срочным донесением! — Он запыхался, вытирает платком потный лоб. Поверьте, сутки без отдыха скакали!

— Вы от полковника Пузыревскаго? Ну, как там?...

— Очень плохо! Пузыревский предательски убит! Убит из засады!

Пушешников бросился к Ермолову.

Выслушав рапорт, Ермолов поднялся. Он был страшен. Лицо налилось кровью, глаза горели злобой, рука, гневно мявшая донесение, дрожала. Некоторое время он стоял молча, гневный и грозный.

— Нет! Не при мне умирать достойному офицеру без отомщения, — сказал он тихо, злобно цедя слова сквозь зубы, и как бы обращаясь непосредственно к виновникам злодеяния. Он хорошо помнил их и Абашидзе и Гуриели, помнил с какой скрытой дерзостью держали они себя тогда, на приеме грузинского дворянства.

—Я приберу к рукам этих гнусных изменников, — вдруг загремел он, ударив по столу громадным кулаком. — Отомщение будет страшное, они скоро увидят свои жилища разоренными, посевы уничтоженными... Нищета надолго будет им уделом!

Спешно был вызван начальник штаба генерал Вельяминов. Он получил предписание не позже как через два дня выступить в Гурию для разорения мятежнаго гнезда и для подавления в корне мятежа. Забегали адъютанты, ординарцы поскакали в разные

стороны. Пушешников получил предписание находиться при отряде, в распоряжении генерала Вельяминова.

Вызванный вновь к Ермолову, он был усажен им писать приказ егерскому полку, посылаемому сейчас в поход.

"Вы лишились, храбрые товарищи, — диктовал медленно Ермолов, иногда приостанавливаясь и впадая в раздумье, — начальника, усердием к службе великаго государя отличнаго, попечением о вас примернаго".

В самом деле, Пузыревский и впрямь был образцовым кавказским служакой, храбрым, исполнительным, заботливым и попечительным о своих подчиненных. Гибель его — большая потеря для Кавказа!

Жаль только, что всегда он был немного опрометчивым, неосторожным, безпечным. Зачем ему понадобилось отрываться от отряда, спешить вперед, углубляться в лесную чащу, где его ждала засада? Вот и застрелили его из-за скалы!

"Жалею вместе с вами, — продолжал Ермолов, и Пушешникову показалось, что голос его слегка дрогнул, — что погиб он от рук подлых изменников; вместе с вами не забуду, как надлежит мстить за гнусное убийство достойного начальника".

Он вновь пришел в ярость. Помолчав, с мстительным наслаждением, продолжал: "Я покажу вам место, где жил подлейший разбойник Кайхосро Гуриели — не оставьте камня на камне в сем убежище злодеев, ни одного живого не оставьте из гнусных его сообщников".

Голос Ермолова зазвучал как труба.

"Требую, храбрые товарищи, дружественнаго поведения с жителями мирными, верноподданными императора, приказываю наказывать без сожаления злобных изменников".

— О! Вельяминов колебаться не станет: он сумеет наказать без сожаления злобных изменников! — подумал Пушешников. Обычаи Вельяминова в этом смысле — все знали хорошо.

На третий день, тысячный отряд выступил для подавления возстания.

Стояли пленительные дни ранней, благоухающей весны.

Всё зеленело, цвело. Яблони, груши, персики, абрикосы, миндаль — в бело-розовой дымке.

Еще совсем не жарко, дороги еще не пылят. Поход легкий, приятный.

Перед глазами Грузия. Всё зелено, ласково: кудрявые холмы, светлые реки, звонкие ручьи, веселые долины.

Нет! Это не каменная неприступность Дегестана. Здесь нет дымящихся бездн, диких провалов, голых и острых скал, нагромождения гигантских камней.

Да и люди здесь совсем другие — не хмурые, жесткие, колючие, мстительные чеченцы или лезгины, а приветливые, легкие, общительные, доверчивые, веселые.

На ночлег остановились в одном ауле. Сакли разбросаны в безпорядке как попало. Улиц нет. Проходы между домами так узки, что на коне и не протис-

нешься. Сам аул бедный, как будто какая-то груда каменных развалин. Но, гостеприимство безграничное!

Поздно вечером — луна стоит высоко в бледном, теплом небе — вышел Пушешников из сакли. Голова в приятном тумане, легкое, веселящее сердце, вино — шумит в ушах, подобно тому, как шумит море в береговой раковине.

Из сакли несется веселый гомон, резкие звуки сазандари, песни, вскрики, согласное, в такт, хлопенье в ладоши. Неумолчно, седоусый, — верно, бывалый кутила, — талумбаш распоряжается пиром. Почти не касаясь пола, как будто без всяких усилий, легко, с покоряющим изяществом, — плавно несется, плывет, с кинжалом в руке, гибкий, как лоза, смуглый, красивый юноша. Он вьется, наступает, как бы зовет, обольщает, ускользающую от него и его манящую каждым движением, каждым взглядом, столь же гибкую красавицу. Стрельчатые брови над миндалевидными глазами — обжигают, влекут неодолимо. Это — знаменитая лезгинка! Такой Пушешникову еще никогда не приходилось видеть.

Как всё легко сейчас, бездумно, весело! И неужели уже завтра надо будет кого-то карать, лить кровь, что-то жечь, разрушать?

Да, странное, непонятное и часто страшное то, что мы называем жизнью!

— Дома, как хочу, а в людях, как велят! — смеется пехотный капитан, вышедший тоже подышать ночным воздухом. — Вот, никогда не едал мясо пальцами, а теперь пришлось. А как нравятся вам эти ма-

ленькие кинжалы, которыми мясо режут, а виноградные листья заместо тарелок? Любопытный народ! Спать, пожалуй пора, — говорит он позевывая. — Завтра, ведь, чуть свет выступаем.

...К полудню отряд, углубившийся в горы Гурии, подошел к замку Шомекмети, к тому самому "убежищу злодеев", которое было целью экспедиции.

Старые, глубокой древности, стены и башни его — величаво высились на крутой зеленой горе. На главной башне трепещет алое знамя. На нем серебряный крест в терновом венце — символ страдания Гурии, порабощенной русскими.

Разведчики донесли, что дороги к крепости заграждены завалами из деревьев и камней, а в замке и в лесах скопились пестрые отряды горцов, собранные мятежными князьями.

С большим трудом втащенные на каменистый уступ, пушки — открывают частый огонь по крепостным стенам.

Белые дымки вспыхивают поминутно. Горное эхо многократно повторяет веселые звуки залпов. Вздрагивает земля, когда взметаются ввысь клубы черного дыма, пыли, камней, обломков.

Приказано немедленно начать штурм.

По трем дорогам и по извилистым тропам быстро растеклись солдаты. Сверкнули искрами штыки. Из-за завалов загремели выстрелы.

С высокаго холма, где собралось начальство, отчетливо видно, особенно через подзорные трубы, как ускоряя шаг, подымаются и карабкаются на горы солдаты. Впереди офицеры с обнаженными шашка-

ми. Ярко тут и там пестрят цветные ротные значки. Солнце иногда вспыхивает на начищенной меди, неустанно гремящих барабанов.

Красиво, бодро, весело! Но Пушешников-то знает — не в первый раз видит всё это — что за этой веселящей нарядностью — таятся и смерть и большие страдания. Вон они, уже видны, темные комочки, лежащих на дороге, убитых и раненых, старательно обходимые наступающими.

— Смотрите, смотрите! — возбужденно говорит кто-то. — Бегут, бегут, растекаются в лесу.

В самом деле, уклонясь от штыков, вяло отстреливаясь, гурийцы сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее, подаются назад, ища спасения в лесных зарослях.

В-о-о-н, видите, в белой черкеске, на коне машет шашкой, останавливает бегущих... Это Дадиани, верно. Это его ополчение, им приведенное.

— А, вон, смотрите, всадники помчались по лесной дороге.

— Наверно, главари: Абашидзе, Вахтанг, уходят. Смотрите! Смотрите!

Подзорные трубы жадно следят за бешенно мчащейся и исчезающей в пыли группой красочных всадников.

— Поручик Пушешников, — распорядился Вельяминов, — скачите и скажите майору Михину, чтобы уничтожал всё. Взятых в плен — не щадить! Всё разрушить! Точно исполнить приказ Алексея Петровича: "Не оставить камня на камне в убежище злодеев".

Пламя пожаров, разрушения, истребление того,

что так ценится в привычной, обыденной жизни, — как-то странно тешат и веселят человеческое сердце, будят в нем какие-то древние, темные, непонятные чувства.

И тогда, когда Пушешников подлетел к воротам крепости, только что проломленным веселыми, пропотевшими и продымленными егерями, — он почувствовал прилив веселого бешенства.

Перешагнув через лежавший навзничь труп молодого гурийца, сброшенный с башни, он пустился искать майора Михина, руководившаго штурмом замка.

Кругом полыхало пламя, с ревом вырываясь из дверей и окон, звенели стекла, стучали топоры рубившие под корень деревья и виноградники. Проломив громадные двери винных погребов, егеря выкатили громадные бочки, разбивали их, проливая драгоценную жидкость на плиты двора. Густой, малиновой и золотистой струей текло вино, растекаясь бурлящими струйками и скопляясь широкими лужами в углублениях почвы.

Майор Михин, грузный и поседелый, устало сидел на только что поваленном дереве, с явным удовольствием потягивая трубку.

—Доложите генералу,—сказал он Пушешникову, — что к вечеру не останется здесь камня на камне.

Мщение изменникам — было безпощадное. Оставило оно горький осадок в душе Пушешникова.

Но стоило войскам, веселым и легким походом, пойти назад в Тифлис, надышаться весенним воздухом и насмотреться на дивную красоту раздольнаго и

веселаго края, — кровавые воспоминания разсеялись.

Самые обыденные мысли, расчеты и предположения — опять заняли ум.

Покачиваясь на седле, и, с наслаждением ощущая свежее дыхание весеннего утра, Пушешников думал о том, как встретится он с некоей красавицей, которая, с некоторых пор, стала дразнить его воображение, и о письме, недавно полученном из Богдановки, и о тяготившем его, еще неуплаченном, карточном долге, и о новом сюртуке, заказанном накануне похода, и о многом другом житейском и мелком, что заполняло, незаметно уходящие, непрерывной чередой, дни его молодой жизни.

Как приятно было сбросить пропыленную походную одежду, натрудившие ноги сапоги и, отправившись в знаменитые тифлисские бани, отмыть, нежась в горячей серной воде, с ее приятной вонью, походную грязь и походный пот.

Приятно было и посидеть с приятелями в шумном духане, запивая дымящийся шашлык терпким, незаметно пьянящим вином.

Да, в жизни немало того, что занимает, радует и веселит!

Радуют и занимают и ежедневные служебные занятия в штабе главнокомандующаго. Доклады, приемы посетителей, разбор всяких бумаг, прошений, жалоб, донесений — всё это раскрывает перед ним многосложную жизнь громаднаго края, вводит в какие-то новые, дотоле неведомые области жизни, расширяет кругозор.

Уже не с частной, узкой точки зрения смотрит он на кипучую деятельность Алексея Петровича; для него становятся понятными большие, значительные государственные цели, которые тот так смело ставит перед собой и так настойчиво преследует. Приятно думать, что и его, хотя и малая, доля труда — имеется в этом грандиозном деле.

Когда-то казалось, что дуэль, Лихарев, ссылка на Кавказ — все это непоправимое бедствие. А вот, на деле оказалось, что это не только не бедствие, а настоящее благодеяние, посланное ему судьбой.

3

"Какое дивное создание! Какая поразительная прелесть! Кто она? Откуда?" — недоумевал Пушешников.

Встретил он ее совсем случайно, заблудившись в лабиринте комнат и забредя в ту часть дворца, в которой ему никогда не доводилось бывать.

Она шла навстречу по длинному коридору, тихо напевая какую-то песенку на незнакомом языке. Вскинула на него свои изумительные глаза, покраснела вдруг от неожиданности и, как показалось Пушешникову, чуть кивнула ему головой и улыбнулась.

Такую красоту даже здесь, в Грузии, где что ни женщина — то красавица, — встретить немыслимо! Пожалуй, такой никогда и не видал. Гаша, разве? Но та — в другом роде: гордая, статная Диана, а эта Афродита, что ли, легкая и нежная.

Кто же она и что делает здесь в дворце главнокомандующего?

Оказалось, что это кебинная жена Алексея Петровича, горянка, прекрасная Татой.

Ермолов увидел ее во время экспедиции в Акуту, в селении Кака-Шуре. Пленился ею чрезвычайно, изъявил желание заключить кебин*).

Однако, отец Татой, хитрый, строптивый, ненавистник русских, Ака, — для того чтобы предотвратить увоз дочери в Тифлис, пока Ермолов был в экспедиции, поспешил отдать ее замуж, с заключением кебина, за молодого соседа Искандера.

Татой его почти не знала, никаких чувств к нему не питала. Но ее никто и не спрашивал. Женщина у горцов — раба, отца ли, мужа ли, сына ли — всё равно раба. Хорошо уже было то, что Искандер был молод, свой, своей веры и крови.

Возвратившись из похода в Акуши и узнав о замужестве Татой, Ермолов разсвирепел и приказал во что бы то ни стало взять ее и привезти в Тифлис.

Как-то, вернувшись домой с мельницы, где он молол пшеницу, Ака увидел, что дочери его нет. Немедля, не слезая с лошади, он пустился в погоню за похитителями.

В Шамхал-Янги-Юрте, какая-то старая женщина боязливо показала ему дом, где была укрыта Татой.

---

*) Кебин — брачный договор, которым предусматриваются денежные суммы, уплачиваемые за невесту.

К нему вышел важный, заносчивый переводчик Ермолова, Мирза-Джан-Мадатов.

— Эй, старик, и не думай о возвращении дочери, — она никогда тебе отдана не будет. Вот тебе ее перстень, серьги. Вот и червонцы. Потом получишь еще. Знай, что и ей и тебе плохо не будет!

Что было делать? Ака почесал затылок, подумал, подумал и отправился домой. Да, признаться, те червонцы, которые он получил и те, которые ему обещали — его почти примирили со случившимся.

Другое дело Татой. В Тифлисе у нее, кроме старой служанки, не было души родной; говорить по-русски не умела, большой город ее угнетал, ей в нем было и тесно и шумно.

Ермолова она, конечно, не любила, да и любить не могла.

Для нее он оставался старым — ведь ей было только семнадцать лет — грозным и страшным Ярмулом, который истребляет родные аулы, убивает женщин, детей, стариков. Боялась его и ему покорялась со всегдашним трепетом.

Только тогда, когда она родила сына, — называла его по-своему Алях-Яром, по-русски он звался Северин, — ей стало легче и понемногу стала она привыкать к своему положению.

Кое-когда приезжали к ней из родного аула, привозя с собой его запахи, отец и брат Джан-Каши. Они дивились русской жизни, богатству, роскоши.

Брат брал на руки маленького Северина, подбрасывал его и причмокивая говорил:

— Ай! и джигит же будет! Ай, я-яй!

Татой счастливая стояла рядом, смеялась радостно.

Они уезжали, и опять ее охватывала тоска по родным местам, по своему аулу, по его каменным кручам, по которым разсыпаны бедные, невзрачные сакли. Там и колодец, к которому она каждый день ходила за водой. Стояла, слушала, как судачат, ссорятся и громко кричат женщины.

Вот бы побывать там, покрасоваться бы в своих богатых нарядах, похвалиться бы звенящими браслетами, ожерельями из золотых монет, серьгами, почувствовать острую зависть своих бедных подружек, горянок...

Пушешникову сказали, что у Алексея Петровича раньше была другая кебинная жена — Сюйда. Тоже красавица, но не такая, всё же, как Татой. Сейчас она, вместе с сыном Бахтиаром, живет в Тарках на попечении у Пириждан Хакумы, жены шамхала Тарковскаго.

Слышать об этом было как-то неприятно.

Для других, для обыкновенных людей, подобные людские слабости не удивительны и вполне понятны.

Но для Ермолова, для этого необычайнаго, великаго человека, непреклоннаго, гранитнаго, — они эти слабости, были не к лицу.

Они — считал Пушешников — как-то сводят Алексея Петровича с олимпийских высот на землю, принижают его, равняют с толпой.

Да, кроме того, какое-то странное чувство ревности и зависти стало вдруг, и чем дальше, тем сильнее, тревожить его.

Знакомое ощущение любовнаго наваждения, по-

добное тому, которое испытал он когда-то по отношению к Луизе, стало всё больше и сильнее обволакивать его. Чувство это было настойчивое, властное, с которым не было сил бороться и которому, наоборот, хотелось отдаться, не раздумывая и не колеблясь больше.

Он отыскал окно, из которого был виден тот уголок сада, куда, по утрам, выходила Татой и сиживала на скамье в тени старого тополя. Стыдясь самого себя и боясь, что другие заметят его страсть и насмеются над нею, он, тайком, выслеживал ее, подглядывал за ней, старался обратить на себя ее внимание.

Боясь, что его увидят, жадно он следил в окно за тем, как она баюкала своего сына, напевая ему то заунывные, то веселые песенки своего народа, как, в глубокой задумчивости, долгое время сиживала в полной неподвижности, а иногда смотрелась, с явным удовольствием, в маленькое ручное зеркальце, отражавшее на стене и на стволах деревьев веселые солнечные зайчики.

Он знал, что если бы даже представился случай, он не смог бы сказать ей ни слова, ибо она не понимала по-русски. И сам он не понял бы ничего из того, что она могла бы сказать ему. Очень хорошо знал он и то, что это молодое, прелестное, чарующее, но, собственно, первобытное создание — не имело с ним ни одной общей мысли, ни одного одинаковаго понятия, взгляда, буквально ничего общаго. И вместе с тем, он чувствовал всем своим существом, что никакой общности и не на́до, ибо самое главное здесь — это тот властный зов плоти, который, с одинаковой силой,

раньше влек его к некрасивой, вялой и странной Луизе, а теперь влечет к несравненной красавице, какой представлялась ему Татой.

Именно этот неопреодолимый зов заставлял его с необыкновенной изобретательностью, изворотливостью и хитростью искать встречи с ней. Он, по тайному инстинкту, был убежден в том, что ежели ему удалось бы приблизиться к ней, он не встретил бы с ее стороны никакого сопротивления, никакого отпора.

Так на самом деле и случилось. В одну горячую тифлисскую ночь, когда все, в поисках прохлады, вышли на плоские кровли своих домов, — Пушешникову удалось, путем самых необыкновенных ухищрений, под покровом ночной тьмы, встретиться с Татой в саду под неподвижным тополем.

Руки, обвившие его шею, пахучее облако распущенных волос, гортанные, непонятные, но влекущие слова, и горячее, податливое, покорное тело — все было изумительным, потрясающим.

Других встреч больше не было. Все усилия встретиться вновь оказались безплодными.

Пушешников был в отчаянии — он погибал.

Только одна мысль, одно желание владело им, преследовало его неуступно. Все свои дела он запустил. Проявлял и небрежение к службе. Стал пить, играть в карты. По временам стал пропадать в каких-то глухих, сомнительных притонах многоликаго Тифлиса.

Ему казалось — и это усугубляло мрачное состояние его духа, — что Ермолов о чем-то догадывается, как-то испытующее к нему приглядывается, препятст-

вует ему задерживаться в Тифлисе, отправляя его в дальние места с разными поручениями, ответственными и опасными.

И вдруг, совсем неожиданно, в середине двадцать первого года, из военнаго министерства был получен пакет, в коем заключалось разрешение поручику Пушешникову — буде он пожелает — подать в отставку.

Значит, Жуковский не забыл о нем, как он думал, обвиняя его неосновательно в невнимании.

Что же теперь делать? Совсем не просто принять решение, бросить здесь налаженную, интересную жизнь.

Да что там лукавить перед самим собой! Жизнь здешняя — ему, конечно, по душе. Но дело-то не в ней. Татой! Вот кто держит, привязывает, не пускает!

Пусть нелепо и даже безумно мечтать о ней, на что-то надеяться, чего-то ждать. Но всё равно сердцу не закажешь, не потушишь тот пламень, что жжет и сушит.

Долго метался, не зная, что делать.

Увидел однажды сон. Стоит где-то в горах у края пропасти. Скользят под ногами камни, земля оседает, кто-то с тыла, неумолимый и страшный, надвигается, угрожает. Впереди какой-то мостик, узкий, узкий, трепещущий. Под ним бушует поток. Надо ступить на него, а страшно, сердце замирает, "Ну, ну, иди, Ванечка, не бойся!" — говорит кто-то. Смотрит — отец Симеон, старенький священник, богдановский. Почему он здесь, на Кавказе? Впрочем, верно, в разведку послан. Отец Симеон безтрепетно вступает на мостик,

идет не колеблясь. А потом, вдруг, взлетел на воздух, полетел легко. Зовет его: "Ну, лети же, Ваничка, иди, не бойся, иди, мать ждет! Пора, пора, пробудись, проснись!".

— Пора, пора, пробудись, проснись, батюшка, Иван Алексеевич!—говорит слуга Степан, расталкивая спящаго. — Из дворца солдат с пакетом прислан.

Пушешников вскочил. Сердце почему-то тревожно и часто бьется. Ничего, собственно, страшнаго во сне не было. Сон, как сон! Но, почему-то, сновидение это его угнетало, рождало в душе какую-то смутную тревогу, какие-то странные предчувствия.

— Ехать домой надо! Надо все бросить! Довольно малодушествовать, довольно поддаваться чарам "прелестниц"! — решил он.

Осенью он уезжал из Тифлиса.

В последний раз поднялся он по широким и отлогим лестницам дворца, прошел через парадный зал, в котором много раз нес дежурства, и вошел в кабинет Алексея Петровича.

Тот, грузный, громоздкий, дочерна загорелый, — сидел в задумчивости в кресле. Ему было лишь немного за сорок, но седина уже сильно посеребрила его буйные кудри, брови, над суровыми глазами, разрослись, складка между бровями стала резче, углубилась.

В расстегнутом сюртуке, в белом жилете и в черном, военном галстуке, в спокойной позе, — он напоминал отдыхающего в пустыне льва, как будто дремлющего, но готового каждое мгновенье пробудиться во всей своей силе и ярости.

— Жаль, жаль, что едешь, — сказал он. — Впере-

ди, ведь, у нас немало трудов. А мне ты был полезен и нужен. Помнишь, говорил я тебе, что служба твоя в командование мое корпусом не останется без внимания. Самую лучшую аттестацию даю я тебе. Получишь и Анну с мечами, и следующий чин.

Он на мгновенье задумался.

— А впрочем, — сказал он, — может быть надо тебе уезжать. Пришло время!

Он посмотрел в глаза Пушешникову прямо и испытующе. Тот смутился.

— Знай, однако, что ничем ты передо мною не виноват, и лихом не поминай!

Ермолов грузно поднялся, перекрестил, обнял и расцеловал Пушешникова.

На душе было тяжело, тоскливо. И, всё же, он не удержался: нерешительно, колебясь, отправился к заветному окну, откуда, бывало, украдкой любовался Татою. Но в саду ее не было.

Сад пожелтевший, осенне-печальный — был пуст. Только на скамье что-то белело. Это, наверно, Татой забыла там свою чадру.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1.

Глухой, захудалый Ставрополь. Но и здесь еще Кавказ: снежный Эльбрус на горизонте, кругом выгоревшая за лето степь, казачья станица у города, армянские лавчонки, забитая военными, гостиница.

Говорят, что сюда скоро переведут из Георгиевска присутственные места и Ставрополь станет губернским городом. Пока же здесь самая настоящая, уездная, застоявшаяся скука, да, к тому же еще, осень, ненастье, унынье.

И вдруг, такая неожиданная, весьма приятная встреча.

Суханов! Тот самый, что у Бауцена стоял молодецки у лафета без мундира в одной рубашке, отражая картечью французскую пехоту.

Всё такой же щегольской, ловкий, умелый, рассудительный. Он уже в капитанском чине, служит при каком-то штабе и едет из России в Тифлис с важными поручениями.

Под сухое щелканье биллиардных шаров и звяканье ложек и вилок, сидели долго, вспоминали, рассуждали.

— А я, — рассказывал Суханов, — всю Европу прошел, в Париже был. Всю славу российскую воочию видел, всем сердцем ее чувствовал. Какой восторг, какие упования были, какие надежды! А теперь? Закоснелость народа, крепостное состояние, лихоимство, грабительство, военные поселения, Аракчеев.

Суханов разгорячился.

Он осторожно намекнул на существование тайного общества, выпытывал мнение Пушешникова, вызывал его на ответ.

Тот не раз слышал подобные речи. Он их не любил, они его смущали, волновали, да и раздражали.

Может быть, — думал он, — в этих речах многое справедливо, но в нем-то самом, в самой его натуре, имеется нечто, что отвращает его от вольномыслия, от ропота противу правительства, то, что заставляет его суеверно держаться дедовщины, старых, впитанных с молоком матери, понятий.

— Нет, — в раздумье ответил он Суханову. — Это не для меня. Помнишь, что сказано в офицерском патенте: "Мы надеемся, что он, в сем от Нас Всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму офицеру надлежит". Я этих слов никогда не забываю.

Да, к тому же, он как-то отвык уже от всего

российского, не кавказского. На Кавказе свободно, вольно, служба, хоть и тяжелая, не не бездушная, не жестокая. Ермолов другой человек. Совсем не Аракчеев!

— Ермолов — отвечал он на вопросы Суханова. — Для него превыше всего — власть, честь, Российская Держава! Язык острый, суждения язвительные, смелые, но никакого карбонарства, никаких химер, мечтаний — у него нет!

...Ехал Пушешников медленно, долго, не спеша, с длительными остановками. С большим любопытством вглядывался он в русскую жизнь, присматривался к ней внимательно, ведь, долго был далек от нее.

Изменилось ли в ней что либо значительно? Есть ли в ней что новое, непохожее на то, что он знал, к чему привык?

Нет! Может быть, где нибудь под спудом и бурлит что-то новое, а на поверхности жизнь всё та же, старая, привычная, идущая веками своей неизменной чередой.

Вон, дородный бородач, в тяжелой медвежьей шубе, степенный, важный, верно соборный протопоп; вон задорный мужичишка в рваном нагольном тулупе, мчится стоя в розвальнях, раскатывающихся на ухабах и на поворотах; вон, белозубые, румяные девки, звонко смеются у деревенской околицы.

Все они — видно — живут своей привычной, старой жизнью и нет им дела до каких-то там туманных мечтаний о вольности, о конституции, о рес-

публике и о всём другом, о чем так пылко толковал Суханов.

Как было испокон веков, так и будет. Ее, эту многовековую русскую жизнь, не сдвинешь с места, не сковырнешь, не поколеблешь, — думал Пушешников.

Вот маленький, уже совсем русский, свой, уездный городок.

Дымится морозный пар; воздух голубоватый, золотистый.

Замерзшая река, сахарные сугробы по берегу, зеленовато-синий лед искрится, светится на солнце. Мальчишки на коньках, на салазках.

Да, это подлинная Русь, та самая, что живет в нем с той самой поры, как открылись его глаза, что неотделима от него, что безмерно ему мила и близка.

Вот приземистая, толстостенная, с глубокими и узкими, точно бойницы, окнами, — древняя предревняя церковь. Не раз, верно, стены ее лизало пламя татарских пожаров! Золотые цепочки свисают со сверкающих на солнце крестов, голуби воркуют под стрехами колокольни.

А кругом рынок, такой же, как в любом русском городе.

Грибной ряд. Гроздями свисают связки белых сушеных грибов. Такой знакомый и такой приятный запах, тонкий, тонкий. Пахнет постной, вкусной грибной плесенью.

— Блинки, блинки! С лучком! Подходи, подходи, угощу! — поет разбитная бабенка, закутанная в платок до самых глаз. Перед ней, на дощечке,

дымятся блины. — Подходи, подходи, вкусней не сыщешь!

— Сбитню, кому, горячего сбитню! — кричит веселый сбитеньщик.

Кругом полушубки, тулупы, бороды и лопатами и тощие, козлиные; бабьи платки, полушалки, глаза голубые, синие, вздернутые носы, обветренные, сизые щеки.

И этот говор сочный, звонкий смех, брань, прибаутки: "Купил, не купил, а поторговаться можно!" "Эка, запросил! Цену не сложишь! Обманом барыша не наторгуешь!" "А, нам бы, товар лишь сбыть, да покупателю угодить!"

Долго бродил, смотрел, любопытствовал Пушешников.

Стало вечереть. Зарозовели и небо и снега. Звонче заскрипел под ногой снег. Морозный воздух чудесен, душист, вкусен.

Без дум стоит Пушешников, любуется розовой снежной, бескрайной далью.

Вдруг, под легкими шагами заскрипел снежок. Оглянулся. Смотрит. Освещенная розовым солнцем, румяная, синеглазая, пшенично- золотые пряди волос из-под алого платка — стоит, смеется девушка — впрямь русская Аврора.

— Обо񲰰ронил, потерял рукавичку, добрый молодец! — смеется, сверкает синим взором. — А ну, лови, барин!

Налету поймал Пушешников рукавицу, развеселился, зажегся.

— Вот спасибо, красавица! А звать-то как?

— А, вот, как вчера звали, так и сегодня зовут!

"Бедовая девица!" — думает Пушешников.

— Ах, батюшки! Так, что ж это такое! — запыхавшись подбежала, приземистая, толстая, как кубышка, нянька. — Лизавета Ивановна! Разве так можно? Батюшка узнает, разгневается, и мне старой, ох! как попадет! А ты, барин, шел бы своей дорогой, — сердито говорит Пушешникову. — Не след тебе девушку смущать! Нас не замай!.. Идем, идем-ка, матушка, домой, — торопит она Лизу.

Та смеется, смотрит лукаво.

— А, вот и узнал, как звать! Лиза, Лизанька, Лизута!.. — смеется Пушешников.

Ушли. Хлопнула калитка. Слышно за ней, как в бешеной злобе захлебывается, гремя цепью, громадный пес.

Вечер синел. В окошечках низеньких домишек, тонущих в сугробах, зажигались огни.

Пушешников шел улыбаясь. Вспоминал слова песни: "Красоту ее не можно описать!.. Черны брови, с поволокою глаза..."

Ну, брови-то, правда, не черные, а чуть намечены, светлые. А глаза и впрямь с поволокою. Красоты же, собственно — нет. Но мила, мила!

Это, конечно, не Татой, знойная, томная, не те восточные красавицы, что встречал он в Грузии, что томят, манят, влекут. Эта проще, будничней, обыденней. Но зато насколько ближе, милее, роднее, простодушнее!

Верно, набожна, благочестива — русская душа! Любит париться в бане, гадать, кататься в санках по

первопутку, петь русские песни, заплетать венки на Троицу, удало и задорно, помахивая платочком, плясать в масляничном дымном угаре.

Заблаговестили в ближайшей церкви. Густые, задумчивые гулы колокола поплыли в вечерней тишине. Зажглись цветные огоньки лампадок; потянулись степенно богомольцы.

Потянуло в церковь. Давно не бывал он в ней.

Опять, оно, родное, свое, русское, православное, — обступило со всех сторон, обволокло, растворило в себе, заговорило в душе понятным, близким языком.

В полутьме, в матовом блеске тяжелых риз, в мерцаньи лампад, в сухости и строгости темных ликов, во всех звуках, шопотах, вздохах, в покоющих душу возгласах священника, — видна, слышна, чувствуется она, вечная неумирающая Русь.

Старый дьячок, в сером кафтане, привычной, без оттенков, бесстрастной скороговоркой, освещая огарком закапанные воском, многими годами исчитанные, листы часослова, читал: "Се бо во истине возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси... Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти..."

Ну, до чего же эти слова — таинственно-непонятные иногда: "окропише мя иссопом", например — не только стали привычны с самых малых лет, но, прямо таки, навеки вошли в память, угнездились в ней прочно, стали от нее неотделимыми.

Бывало, еще покойная бабушка Анна Акимовна, в темные, глухие вечера, на сон грядущий, с какой-то

особой значительностью, читала их перед большим, в серебряном окладе, образом Благовещения, освященным зеленым огнем большой лампады.

Большая, грузная, она громко вздыхала, клала поклоны, с трудом поднималась с колен, крестилась размашисто, а тень ее торопливо двигалась взад и вперед по стене.

"...Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти", — читала она, отчеканивая каждое слово, сокрушенно, со слезой в голосе.

А он, тогда малолетний Ванечка, лежа в кровати и прислушиваясь к молитве, готов был плакать от какого-то странного волнения и восторга, его охватывавшего.

Казалось ему тогда, что слова эти для всей его жизни, для жизни всей семьи, имеют какое-то тайное и благостное значение, что-то в ней меняя, вводя в нее нечто большое и важное.

"Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволения Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские", спешащим говорком продолжал читать старый дьячок.

И Пушешников знал, что где бы он ни был, что бы он ни делал, даже суетное и грешное, — слова эти всегда будут жить под спудом в каком-то потаенном уголке его души, из которого и будут извлекаться, как помощь и утешение, в тяжкие и страшные минуты жизни.

Спокойный и счастливый возвращался он из церкви домой. Лучистые звезды сверкали в далеком, тем-

ном небе. Тишина — чуткая и торжественная. Далеко, где-то на краю городка лаяли собаки, да иногда, точно спохватившись, далекий сторож начинал греметь колотушкой. Русь, древняя, обжитая многими поколениями, дышащая теплом и лаской, — казалось ему, — как бы принимала его, так долго отсутствовавшего, в свое покоющее лоно.

. . . .

...Утром — солнце щедро, ослепительным потоком, заливает гостиничный нумер — ловкий, разбитной коридорный, в малиновой рубахе и жилете, щегольски сбросил с ладони поднос с кипящим самоваром и чайником.

Пушешников пытался разузнать у него что-либо, касающееся вчерашней, не выходившей из головы, встречи.

Но, услужливый половой ничего разъяснить не мог. Ведь, Пушешников, кроме имени девушки, ничего не знал, не знал даже названия улицы.

В бодром и хорошем настроении, он оделся, вышел и долго бродил по городу.

Наконец, так-таки нашел тот переулок, где высился гвоздяной забор, из-за которого белыми гроздями свешивались, отягченные выпавшим за ночь снегом, ветки старых яблонь.

В окнах каменного, тяжелого, купеческого особняка ничего не было видно: никто не выглянул, никто не мелькнул легкой тенью.

Пушешников постоял, постоял, вздохнул и со-

брался было уже уходить. Но загремела щеколда, открылась калитка и чернобородый дворник в фартуке в валенках, вышел расчищать снег деревянной лопатой.

— А скажи, любезный, кто живет в этом доме? Кто хозяин?

Хмурый дворник посветлел, пряча полученный пятиалтынный.

— Хозяин-то наш — первой гильдии купец Истомин, Ива́н Семеныч. Большую торговлю хлебом ведет. Богатейший.

— А есть дочка у него? Какова она?

— Дочка-то хороша! Слов нет! А ты, барин, лучше иди. Грозен, нелюдим Иван Семеныч. Не ровен час узнает, что говорю с тобой. И тебе и мне не поздоровится. Много уже женихов-то отвадил. Дорогу забыли...

Дворник хлопнул калиткой, во дворе, гремя цепью, задыхался от бешенства громадный, лохматый пес.

"Чего же я, в самом деле, добиваюсь?" — смущенно думал Пушешников, направляясь в гостиницу. — "Смешно даже, слова не сказал с ней, ничего ровным счетом не знаю, а лезу куда-то", — сердился он сам на себя. — "Сегодня же уеду! Довольно торчать в этом городишке!"

Выехали после обеда. Замелькали версты, березовые рощи, деревеньки, дымящиеся зимними дымами, — впереди открывался дальний, бескрайний зимний путь.

Напрасно занимал Пушешников свое воображе-

ние недавними картинами кавказской жизни и мечтами о будущем. Мысль упорно возвращалась к дому с гвоздяным забором.

Беличья шубка, синие глаза, певучий, протяжный голос... Всё это так ясно, так отчетливо запечатлелось в памяти. — "А что, если вернуться? — неожиданно для самого себя подумал он. — "Что если добиться встречи, пережить вновь минуты этого странного очарования?"

Отогнал эту мысль, как вовсе вздорную, нелепую. Постарался занять себя недавними воспоминаниями о тифлисской жизни, о Татой, о прощальной беседе с Ермоловым.

Однако, ничего не помогало.

"Нет, вернусь, надо вернуться!" — решил он.

— Стой! Назад! Назад поворачивай, — закричал он ямщику, толкая его в спину.

— Да что ты, барин? Назад! Да кони уж притомились... Станция вовсе недалече. Вон дымок виден...

— Назад, назад, говорю! — в каком-то бешенстве закричал Пушешников.

. . . .

На красной горке Пушешников обвенчался с купеческой дочерью Елисаветой Ивановной Истоминой и повез ее к себе домой, в Белёвский уезд.

2.

Так уж повелось еще со времени матушки-царицы Екатерины Великой, что для своих выборов дворяне Тульской губернии съезжались в Туле в са-

мом глухом месяце — в декабре.

Всегда в это время стояла свирепая стужа, гудели мятели и вьюги. Нелегко было, через леса и снега, пробираться в губернию из дальних уездов.

От Богдановки до Тулы не так уж и далеко — верст сто с небольшим. С остановками для отдыха и ночлега, если погода хорошая, можно доехать за два, много за три дня.

Сборы в дорогу начинались заблаговременно. Елисавета Ивановна хлопотала, волновалась, боясь что-нибудь упустить, забыть и этим рассердить своего строгого, требовательного, замкнутого и не очень ласкового мужа.

Вообще, она его несколько побаивалась. Дивилась его учености, благоговела перед его книгами, бумагами. И когда Иван Алексеевич либо занимался в своем кабинете, либо отдыхал — всё в доме замирало, а маленького Гришу уносили в дальние комнаты.

Поездка в Тулу казалась Елисавете Ивановне делом непростым и даже небезопасным. Ведь поговаривали, что где-то за Одоевым "пошаливали" лихие люди: грабили и даже убивали проезжих.

Большой пистолет, вычищенный, смазанный и проверенный, лежал уже на конторке в кабинете, напоминая боязливой Елисавете Ивановне об опасностях пути.

Пушешников любил зимние поездки в теплом возке, запряженном гусем.

Да и приятно было немного отряхнуться от однообразной, скучноватой домашней жизни, повидать лю-

дей, поговорить, узнать новости.

"Конечно, — думал он, — Лиза женщина честная, хорошая, добрая и ее я люблю, но говорить с ней почти не о чем, в деревенской глуши она распускается, ходит до полудня нечесанная, в кофтах, в халатах, в туфлях, много спит, шлепает картами, гадает, судачит с мамушками и нянюшками.

В ясное, погожее утро выехали из Богдановки. Путь был нетруден, наезжен.

Ночевали в Крапивне, маленьком, захудалом городишке. На постоялом дворе, в чистой, "дворянской" половине скопилось немало дворян, спешивших на выборы в Тулу. Освободившись от своих тяжелых шуб, теплых треухов и шапок, оживленные путешественники, за домашними настойками и наливками, припасенными в дальнюю дорогу, с интересом толковали о грядущих выборах, делились новостями, спорили.

Говорили об электрическом лечении, якобы входящем в моду в Петербурге, о том, что там, в прошлую зиму, все светские женщины носили башмаки вовсе без каблуков, какие были у великих княжен, толковали, с большим знанием дела, о сенатском указе по поводу сбора податей по старой ревизии, да, как повелось в последнее время, заговорили, в конце концов, о политике и, конечно, об Аракчееве.

Поднялся спор, страсти разгорелись.

Молодой, франтоватый, несколько развязный и мало почтительный к старшим, помещик, недавно приехавший из чужих краев, видно, вольнодумец, — очень вольно, дерзко и зло говорил о графе Алексее Андреевиче.

Не сразу поняли слушатели в чем дело, когда молодой человек прочел такие стишки:

Аггелов семя,
Рыцарь бесов,
Адское племя,
Ключ всех оков,
Чувств не имея
Ешь ты людей,
Ехидны злее
Варвар, злодей.

С трудом растолковал чтец, в чем суть этих дерзких стишков. Оказалось — это акростих: надо читать первые буквы каждой строки, и тогда получится фамилия графа.

— А вы, батенька мой, — сердито, багровея от гнева, сказал тучный помещик, — всё же осторожней будьте! Граф Алексей Андреевич близок к государю. Человек больших государственных дарований, ума проницательного и честности несравнимой. Нельзя с кондачка судить такого человека! Молоды еще для этого. Поживите, да посмотрите, а тогда уже и толкуйте!

Толстый помещик был поддержан почти всеми. Но, всё же, не всеми. Одни промолчали, другие усмехались сомнительно.

Молодой "вертопрах", как назвал кто-то вольнолюбивого дворянина, — однако не сдавался.

—Позвольте, позвольте! — кричал он. — А разве не слышали вы, что Аракчеев укусил нос у одного гренадера и с нижними чинами поступает просто пособачьи, точно разъяренный бульдог!

— Чепуха, чепуха, враки, басни! — закричали со всех сторон.

Спор грозил перейти в ссору, особенно после того, как хулитель Аракчеева заявил:

— Да что там толковать! Все знают, что Аракчеев сперва для артиллерии был палкой, потом наказанием для всей армии, а сейчас стал мщением для всего русского народа.

Поднялся шум, крики. К счастью, доложили, что лошади заложены и пора отправляться в путь.

...В Туле было необычайное оживление. Гостиницы переполнены, трактиры полны и шумны, улицы кипят народом, экипажами, санями, пешеходами.

По Киевской улице, гремя бубенцами, несутся тройки с разгульными гусарами, уланами и дворянскими недорослями, вырвавшимися из своих захолустий и упивающимися раздольной губернской жизнью.

Выборы проходили бурно. Интриги, ссоры — были даже вызовы на дуэли — сопровождали их.

Однако, как только они закончились, всё быстро потеряло свою остроту, всё сгладилось и было забыто.

Теперь мысли всех были заняты балом, который давался тульским благородным дворянством по случаю окончания выборов.

Все были в довольном и радужном настроении.

И Пушешников чувствовал себя помолодевшим, в настроении бодром и приподнятом.

В таком настроении отправился он на бал.

... Суета у парадного подъезда, легко, в свете

фонарей, порхающий снежок; крики кучеров, визг полозьев; торжественный, в красной ливрее с орлами, швейцар; парадная широкая лестница, устланная пушистой, малиновой дорожкой; растения в кадках; запах каких-то приятных курений, — всё это сразу же вводило в особый бальный мир, с его приятной суетой, сутолокой, с его праздничностью и приподнятостью.

В тонком и легком фраке с высокой талией, с буфами на плечах, в высоких воротничках, в кружевных манжетах, в панталонах, красиво обтягивающих ноги, и в этих, почти ногой не ощущаемых, легких и изящных бальных башмаках, — Пушешников чувствовал себя помолодевшим, ловким, легким, красивым.

С привычным любопытством и с ревнивым желанием быть не хуже, а даже лучше других, ощущая приятный холодок еще пустого, свежего зала, — наблюдал он за шуршащей шелками, шаркающей легкой бальной обувью, гудящей сдержанными голосами, восклицаниями и смехом, бальной толпой.

Приятно было наблюдать, как волновались эти белые, голубые, розовые, дымчатые стайки, впервые вывезенных в свет, совсем еще юных, девушек. Здесь и тонкие, воздушные, с синевой под мечтательными глазами, красавицы, выросшие в столицах и в свете, здесь же и пышные, светлокудрые, с румянцем во все щеки, деревенские толстушки, во все глаза, восторженно смотрящие на этот, им открывшийся блистательный мир, привыкших к богатству, почету и власти, людей.

"Нет! —думал Пушешников, вспоминая Грузию, — наши красавицы лучше. Не такие жгучие и тонкие, как грузинки, но зато вальяжные, пышные, волоокие. Посмотрит какая — как рублем подарит."

С удовольствием и радостью ловил он, украдкой бросаемые на него женские взоры.

И, вдруг... "Нет, нет, не может быть — это же немыслимо!"

Сердце трепетно заколотилось; закололо в корнях волос; пот увлажнил лоб.

"Неужто Гаша? Неужели она?"

Сомнений не было! Да, это была та самая Гаша, живая, обольстительная — какие плечи, руки, грудь! — по которой он так томился в глухие кавказские ночи, ворочаясь на скрипучей кровати и прислушиваясь к непрерывному реву горного потока.

Она прошла мимо, почти его коснувшись, но не заметив и не узнав его.

Он даже слышал, как она рассмеялась и видел, как ярко и живо блеснули ее глаза в ответ на что-то ей сказанное шедшим с нею рядом седоватым, с умным и некрасивым лицом, господином в придворном мундире.

Приехавший из Петербурга, красавец кирасир в белом колете, скользящей походкой, отражаясь белым пятном в зеркальном паркете, выбежал на середину еще пустого зала, взглянул на хоры и махнул перчаткой.

Тотчас же, отчетливо, упруго, бодряще-весело, зазвучали, как дождевые струи, первые такты музыки.

Нарядная толпа хлынула в зал.

— Иван Алексеевич, друг мой! Ты ли это? Давно, давно тебя ищу. Рад, весьма рад тебя видеть!

Громоздкий, немного обрюзгший, пахнущий вином и дорогими сигарами, стоял перед ним Лихарев. Обнял его, сочно поцеловал в губы.

— А, я, брат, в своем уезде в предводители попал. Кучу теперь на пропалую. И сейчас внизу благородное дворянство меня ожидает. Прости, долго быть с тобой не могу. Ну, идем, идем! Жене тебя представлю!..

Они прошли в гостиную. Там, под пальмой, на низеньком, малинового бархата, диванчике, сидела Гаша.

Побледневшее лицо, прекрасные глаза, мучительно смотревшие на него в упор, улыбку, неловкую и жалкую — увидел Пушешников, приближаясь к ней.

Трудны и мучительны были первые минуты этой встречи.

Пошумев, покричав и похохотав, Лихарев, извинившись, ушел, оставив их одних.

3.

— Неужто это вы, живой, тот самый, о ком я так много думала, так часто плакала? — повторяла Гаша растерянно, сбивчиво, несвязно. — Нет, это немыслимо, невозможно. Не верю, боюсь верить!

— Немыслимо, невероятно! — ответил он, стараясь быть спокойным. — И всё-таки — это явь! На-

конец-то мы встретились, а, жизнь-то, ведь, почти прошла.

— Да, да, жизнь почти прошла! А сколько было слез, мук сердечных! Как порой болело, томилось сердце.

С жадным любопытством всматривалась она в это, некогда столь любимое лицо.

Оно постарело, огрубело; знакомая морщинка на переносице углубилась, стала резче. Но, весь он, с задумчивым, грустным взглядом, казался ей точно таким же, каким был когда-то в Костроме, — одиноким, печальным, несчастливым.

И так же, как встарь, ей остро хотелось его приласкать, спрятать свое лицо у него на груди, обвить своей косой его шею, утопить его лицо в душном облаке своих волос.

В полуосвещенной гостиной было прохладно и тихо. Лишь изредка, в бальной спешке, пробегали взволнованные кавалеры в мундирах и фраках, проходили, обмахиваясь веерами, разгоряченные танцами, дамы. Слуги, в красных кафтанах и белых чулках, разносили мороженое и прохладительное питье.

Из большого зала доносились легкие, порхающие, крылатые звуки бального оркестра.

Они будили старые, почти забытые воспоминания, говорили о чем-то очень дорогом и милом, что казалось, давно ушло, но, видно, всегда жило под спудом их памяти. Звуки эти мягчили и трогали сердце, придавали этой нежданной встрече особый, словами невыразимый, глубокий и таинственный смысл. Они, как бы хотели убедить их в том, что в этой

праздной, бестолковой жизни, которой они живут, нет ничего стоящего, ценного, кроме этих коротких мгновений, о которых будет всегда тосковать их сердце.

Гаша сильно волновалась. Пальцы, сверкавшие кольцами, нервно перебирали жемчужные зерна ожерелья.

Вдруг, она положила свою руку в длинной бальной перчатке на обшлаг фрака Пушешникова, наклонилась к нему, приблизила к нему свое лицо.

Знакомым зноем пахнуло на него.

— Ванечка! — сказала она чуть слышно, прикрывая рот веером.

Он вздрогнул, встрепенулся.

— Ванечка! — вкрадчиво, с былой, знакомой лаской продолжала она. — Помнишь ли былое? Не забыл?

Тонкий улан, с осиной талией, красуясь алым лацканом, серебром эполет и сложной затейливостью разных шнуров, с бальной поспешностью, подлетел к Гаше и, картинно изгибаясь, пригласил танцевать.

С любезной, спокойной улыбкой, как будто до этого ее ничто не волновало, ссылаясь на усталость, она отказалась от приглашения.

"Неужто, это та самая дикая, неумевшая слова сказать, Гаша?" — удивлялся Пушешников, любуясь ее безукоризненной светской обходительностью.

Улан исчез.

Опять тишина, опять приглушенно жалуется музыка, опять чуть слышно, потрескивают свечи в канделябрах, и, в их колеблющемся, зыбком свете, осле-

пительными искрами, вспыхивают вдруг бриллианты гашиных серег.

— Ванечка, милый — начала она вновь. Помнишь ли? Помнишь, как ты в первый раз пришел ко мне? Я стояла тогда на порожке в своем синем сарафане — помнишь, был у меня такой! — глядела, как ты спускался с горки. Ох, как стучало тогда сердце! Звонили к вечерне, солнце заходило.

Она говорила тихо, мечтательно, глядя пристально вдаль.

— О! как хорошо было тогда, как молода, как счастлива была я!

Голос ее дрожал. Слеза навернулась на глаза.

— В самом деле — задумчиво, не глядя на нее, сказал Пушешников — Очень, очень хорошо было тогда. Помню я всё: Волгу, светелку, бедовую Марфушку, соседку. Даже твою, Гаша, белую кошечку помню! Но, всё прошло и быльем поросло, никогда не вернется!

Он решительно поднялся, как бы желая положить конец этим терзающим воспоминаниям.

В глазах Гаши сверкали слезы. С тоской смотрела она на него снизу вверх, прижав руки к груди, как будто на молитве.

— Ванечка! — робко сказала она. — Хорошо ты говорил. Всё вспомнил, даже кошечку вспомнил. А, вот, любовь-то мою — помнишь?

Она промолчала мгновение, затем, побледнев, сказала решительно, громким шопотом: — Слово, одно слово только скажи! Всё брошу, пойду за тобой, куда хочешь.

Пушешников молчал в тяжелом раздумье. Было видно, как на виске его трепетала синяя жилка.

— Ну, что же молчишь! Не томи! Завтра приходи в двенадцать. Муж на охоте будет. Приходи! Обязательно приходи! Старо-Дворянская дом Карпова.

Веселый, раскрасневшийся, чуть хмельной, шел Лихарев.

— Что? Не наговорились еще? — сказал он с чуть приметным ревнивым беспокойством..

— Я — сухо сказала Гаша и в глазах ее сверкнула недобрая искра — рассказывала Ивану Алексеевичу, как в прошлое лето ездили мы в чужие края и что видели там. Да, и про петербургское житье тоже говорила...

Шумно и преувеличенно радушно стал Лихарев звать Пушешникова вместе отужинать.

Тот отказался. Незаметно, замедленным поцелуем, он задержал у губ трепещущую руку Гаши. Томящая нежность, до самых краев, заливала его сердце.

...Заполночь Пушешников вышел из собрания.

Крупными хлопьями лениво порхал снег, заново беля землю, заметая следы пешеходов и следы полозьев. В снежном тумане чуть виднелись громады тульских соборов.

Какая-то веселая компания шумно рассаживалась по саням. Кучера осаживали лошадей. Слышался громкий смех. Из-под капоров блестели женские глаза.

"Какие счастливцы! — завидовал Пушешников. — Для них всё просто, ясно, беззаботно. Поедут к

цыганам, будут пить, плясать, веселиться. А я? На что решиться, что делать?“

”Неужто придется оставить жену, семью, свою старую усадьбу, друзей, разорвать всё налаженное, установившееся? Сколько будет пересудов, толков, злорадства, злопыхательства!“

Томимый этими мыслями, долго бродил он без цели по каким-то глухим, незнакомым улицам Тулы. Во дворах заливались собаки, в щели закрытых ставень светились огоньки лампадок, — город спал мирно и безмятежно.

”Но, всё равно — решал он. — Пусть будет позор, пусть стану я посмешищем, сказкой всей губернии. Пусть опять придется драться на дуэли! Всё равно бежать с ней куда глаза глядят, на тот же Кавказ, к Алексею Петровичу, укрыться там от людей, насладиться ее несказанной прелестью, вновь испытать ее покоряющую ласку, отдаться ей без воли, без дум!“

. . . .

Раннее морозное утро... В ближайшей церкви звонят к ранней обедне.

В розовеющих снегах, в высоко поднимающихся белых столбах печного дыма, в громыханьи ведер у замерзшего колодца, во вспархивании воркующих голубей, копошащихся в рассыпанном зерне и в конском навозе, во всех утренних звуках, запахах, красках — всё свое, родное, привычное, трезвое.

Здесь нет места недавним мечтаниям, горячечным мыслям, несбыточным надеждам.

Жизнь, самая обыкновенная, непобедимая в своей простоте и ясности, своей неизменной поступью рушит и прогоняет всё туманящее, обволакивающее, связывающее, всё то, что несла с собою ночь.

"Хороша, несказанно хороша, обольстительна, непобедима! — вспоминает Пушешников Гашу. — Нельзя оторваться, нельзя противиться... И, всё же надо! Стыдно ему, почтенному помещику, дворянину, отцу семейства — предаваться пустым мечтаниям."

Любовь, нежные слова, томные взгляды, вкрадчивый, лишающий воли шопот, мечты о бегстве на Кавказ — всё это одно лишь губительное наваждение!

Ведь, всё это пройдет. А потом что же?

Жить без родного дома, оторваться от своих корней, от родной старины, от жены, от детей? Немыслимо, невозможно!

Бежать, бежать скорей, бежать без оглядки, укрыться от соблазна в родном гнезде!

— Васька! — закричал он решительно. — Скажи Антону, сейчас же закладывать лошадей!.. Сейчас же, немедля, едем домой!

— Да, как же, батюшка, Иван Алексеевич, ехать-то? Ведь, коренную подковать надо. Раньше как к обеду не управимся...

— Что?.. Что я сказал? — в ярости закричал Пушешников.

Через час возок был подан.

Как бы боясь погони, Пушешников что есть сил гнал лошадей.

По накатанной дороге, они бежали резво и бы-

стро. Скоро Тула и всё опасное, что в ней таилось, — скрылось из глаз.

...В Белёвском Благородном Собрании висели, написанные писарским почерком, правила для членов собрания.

В этих правилах говорилось: "Трубок и сигар в собрании не курить, вино же до отъезда дам не иначе выпрашивать и пить оное как в буфете", и еще: "в азартные игры играть запрещается, желающие же заняться коммерческою игрою за карты платят пять рублей".

На самом же деле, правила эти не соблюдались: от сигар и трубок в собрании непрестанно стоял синий туман; вино же "выпрашивали" и пили и в буфете и вне его, даже не дожидаясь отъезда дам. После же отъезда их пили уже без всякого удержа.

В азартные игры, конечно, играли тоже.

За картами засиживались допоздна, платя, после двух часов ночи, штраф за каждый час. Но что стоил такой штраф, когда за ночь из рук в руки переходили сотни, а то и тысячи рублей?

Пушешников играл отчаянно, с каким-то ожесточением и злостью.

Ему не везло: он скоро проиграл деревеньку Кривуши, а потом и заливные, бесценные луга на Оке.

— Не везет тебе, Иван Алексеевич. Верно, в любви везет, — подшучивал отставной ротмистр Чижов, веселый, полнокровный, выпивоха и бабник. — А ты помни: "Люби, не влюбляйся; пей, не напивайся; играй, не отыгрывайся!"

Невеселый, пасмурный, часто хмельной, возвращался Пушешников домой. Был сердит, придирчив. Елисавета Ивановна нередко плакала, шепталась с няньками, ворожила, гадала.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1.

Кто не знал близко императрицу Елисавету Алексеевну, тот мог посчитать ее и слабой, и безвольной, и безответной.

Грустные, широко открытые, как будто изумленные, глаза; фарфоровая белизна лица, едва подкрашенная нежным румянцем; чуть вздернутый, тупо срезанный нос, вся трогательная хрупкость, — и, в самом деле, давали право думать и о слабости, и о беззащитности, и даже о незначительности этой юной, чуть рыжеватой красавицы.

В те времена мифология была в большой моде. Все знали, что Психея —это несравненной красоты, девушка, внушившая любовь самому Амуру и навлекшая за это на себя гнев Венеры.

— Психея, Психея, настоящая Психея, Психша!.. — восторженно и единодушно шумели голоса, когда четырнадцатилетняя принцесса баденская Луиза по-

явилась, как невеста шестнадцатилетнего великого князя Александра Павловича, при дворе великой Екатерины.

Говорили тогда, что мать принцессы, маркграфиня Амалия, женщина большого ума, властная и суровая, воспитала свою дочь в большой строгости. Понижая голос, рассказывали о том, что она даже секла свою дочь.

Все жалели бедную Психею, однако, никто не мог отрицать того, что строгая мать воспитала и образовала свою дочь превосходно: она была приучена к порядку была послушна и трудолюбива, прекрасно усвоила понятие о долге, и, ко всему этому, была обучена и музыке, и живописи, и изящной словесности, и той же мифологии.

В самом деле, в пору своей цветущей юности и молодости, Елисавета Алексеевна являла собой чистейшее воплощение легкой и воздушной Психеи. Но, в действительности, она, по своему духовному складу, по своему характеру и нраву, — вовсе на Психею не походила.

Хотя внешне и очень женственная, она, самостоятельная в своих суждениях и во взглядах, имела счастливую способность всегда сохранять ясность мысли и твердость воли даже в самые трудные минуты жизни.

И, только потому что она, взяв на себя роль покинутой супруги, отдалилась от общества, высказывая по отношению к нему холодность, скуку и равнодушие, — ее считали какой-то бледной тенью ее цар-

ственного супруга, неигравшей никакой роли в великих и бурных событиях своей эпохи.

А, между тем, это было совсем не так.

Каждый день неукоснительно, на безукоризненном и весьма изящном французском языке, императрица Елисавета Алексеевна писала своей матушке в Карлсруэ очень пространные, откровенные и задушевные письма.

На другой день после ужасной кончины императора Павла Петровича, она писала ей: "Случилось то, что можно было давно ожидать: произведен переворот, руководимый гвардией, то есть, вернее, офицерами гвардии. В полночь они проникли к государю в Михайловский дворец, а когда толпа вышла из его покоев, его уже не было в живых. Уверяют, будто от испуга с ним сделался удар; но есть признаки преступления, от которого все мало мальски чувствительные души содрогаются; в моей же душе это никогда не изгладится".

Строки эти писались в часы, необыкновенные по своему смятению, отчаянию и ужасу.

В дворцовых залах, тогда, как победители, громко говоря, гремя ботфортами и палашами, толпились заговорщики. Они вели себя вызывающе, непочтительно и оскорбительно.

А, в это время, на траурном помосте, наспех сооруженном, в гробу лежало изуродованное тело убитого ими государя. Сдвинутая на самые брови треуголка закрывала страшные кровоподтеки, синяки, ссадины, раны.

А, он, новый император, Александр Павлович,

несчастный, жалкий, совершенно потерянный, непонимающий, чего от него хотят, что требуют, бледный, как полотно, рыдал, уткнув свою голову в ее колени. Она гладила его волосы, ласкала, утешала, вытирала промокшим насквозь платком его слезы, просила, умоляла и, наконец, требовала, чтобы он взял себя в руки, показал всем, что он царь и властелин.

Он никогда потом не говорил ей об этом, не вспоминал этих страшных мгновений. Но, она-то, хорошо знала, что всю свою жизнь, в своей душе, он носил съедающую горечь невыносимых воспоминаний, что он так и не простил себе, что легкомысленно, опрометчиво и необдуманно, позволил Палену, этому жестокому властолюбцу, с ледяным, неумолимым взором, — вовлечь себя в этот ужасный заговор.

И ей казалось, что она поняла причину странного, недоверчивого, холодного и даже несколько враждебного отношения императора к русскому народу.

В ту страшную мартовскую ночь он имел случай убедиться в азиатском вероломстве русских людей, в их мстительной жестокости, в их несказанном коварстве.

Все эти придворные щеголи, гвардейцы, избалованные и разнеженные, несмотря на свой светский лоск, на свои изящные манеры, на кружевные манжеты и модные парики, — в своей глубине были точно такими же дикарями и варварами, коими были и те мужики, которые не так давно, в дни Пуга-

чева, буйствовали, жгли, убивали, творили самые неслыханные злодейства.

Видно, — тайно думал государь, — все русские таковы: им нельзя доверять, их надо опасаться, их нельзя любить.

Вероятно, поэтому-то государь не любил русскую славу, не любил Кутузова, не любил вспоминать славных деяний двенадцатого года.

Говорили о том, что он, лаская в Париже французов и чаруя их необыкновенною мягкостью и обходительностью, вместе с тем, обращался со своими войсками с обидным пренебрежением, с ненужной строгостью, с какой-то презрительной холодностью.

Но, она, императрица Елисавета Алексеевна, к русским питала совсем другие чувства.

Конечно, ни русского народа, ни русской жизни — она не знала вовсе. Помнила только, как громовой, подобный морской буре, рев несметной толпы потряс и испугал ее, когда она, оглушенная гулом кремлевских колоколов и громом пушек, в тяжелом царском одеянии, с императорской короной на голове, — стояла рядом с императором на Красном Крыльце и кланялась неведомому ей, загадочному русскому народу.

И, всё же, не зная его, она, почему-то, с непонятным волнением слушала всегда Карамзина, с непоколебимым убеждением говорившего ей о славе и величии России.

Ей почему-то было приятно думать о том, что славный русский историк, которого чтит сам государь, ведет свой род от какого-то татарского князь-

ка Карамурзы. Это, как-то связывало и роднило его с тем самым русским прошлым, о котором он говорил с такой изящной цветистостью, словами торжественными и величавыми.

И, когда она, с увлечением, вчитывалась в карамзинскую "Историю государства Российского" — пленительные картины русского прошлого, сменяясь в ее воображении, увлекали и чаровали ее несказанно.

— Понять не могу, Ваше Величество, — говаривала ей фрейлина Валуева, — как вы можете читать эти увесистые книги. Какие-то Ярополки, Ярославы, уделы, татары. Я не смогла и двух страниц прочесть. А русский язык — совершенно неодолим!

— А, вот, вам, особенно стыдно так говорить. Вы природная русская, а не хотите знать свою историю и говорить на своем языке. Я, вот, приехав сюда четырнадцати лет, не знала ни одного русского слова. А, вот, в восемнадцатом году, когда зимой мы жили в Москве, я любила бывать в Архиве. Помню, Малиновский, директор Архива, боялся, что я не пойму ничего из его исторических сокровищ. И как он был удивлен и обрадован, когда увидел, что я вполне владею русским языком и люблю всякий исторический хлам, что он меня занимает и завлекает.

С удовольствием вспоминала она свои поездки в Архив на Маросейку, где тогда еще встречались остовы домов, сгоревших в двенадцатом году.

Стояли тогда мокрые мартовские дни, на узких и кривых улицах чернели сугробы, великопостный звон мерно гудел над головой, покрывая уличный шум, выкрики торговцев, веселый говор московской толпы.

Бородатые люди в армяках, в шубах, в полушубках, в лаптях и валенках останавливались перед царской каретой, срывали шапки, кланялись в пояс, встряхивая длинными волосами и с восторгом и благоговением глядели на свою царицу.

— Так вот, каков он, настоящий русский народ! Тот самый, о котором говорил ей Карамзин и который отстоял от врагов Москву, и Россию, и царский род.

Воочию, совсем близко, видела она ту самую Москву, к которой совсем недавно были обращены мысли всех русских людей, занятие и страшный пожар которой вызвал тогда подлинное отчаяние.

Сама она тогда не поколебалась: была тверда, всячески укрепляя государя в решении продолжать борьбу до конца.

Да! Можно сказать, что эта самая Москва и ее бородатые люди кое в чем обязаны и ей, несклонившейся тогда перед грозными событиями.

А, мать-императрица — она теперь не любит вспоминать этого — готова была покориться победителю.

Да! Свекровь, свекровь!

Ни в складе ума, ни в нраве, ни в склонностях, ни в образе жизни, — у них совершенно не было ничего общего.

Один пожилой вельможа, человек насмешливого и острого ума, большой почитатель Елисаветы Алексеевны, говорил ей:

—Так уж повелось издавна, что свекровь и невестка — тайные, а то и явные враги. Вот, русский

народ и говорит: "У лихой свекрови и сзади глаза". А, вот, еще лучше: "Кукушка — это сверковь, — соловушку — сноху — журит".

Елисавете Алексеевне это понравилось — она любила русские пословицы.

"И, впрямь, журит, журит! — подумала она. — Придет сюда, зашуршит шелками, здоровая, румяная, полногрудая, туго затянутая, — всё внимательно осмотрит, обо всём поговорит решительно, быстро. Хоть и ласково зажурчит, как реченька, а, всё равно, видно, что ничего не одобряет, что всё не нравится."

Конечно, нельзя было отрицать значения кипучей деятельности императрицы-матери. Надо было восхищаться и хвалить ее приюты, институты, воспитательные дома. Надо было хвалить и ее пристрастие к русской литературе, к писателям, к ее литературным собраниям.

Но Елисавета Алексеевна, никому не говоря, про себя, считала всё это неглубоким, наносным, вызванным желанием императрицы-матери быть везде впереди, стремлением к тому, чтобы о ней непрестанно говорили, ее превозносили.

Непомерная склонность к удовольствиям, к обществу, к светской суете и к шуму, способность быстро забывать самые тяжкие утраты, — и удивляли и сердили молодую государыню.

Так, похоронив свою дочь, Екатерину Павловну, голландскую королеву, императрица Мария Феодоровна надолго задержалась в чужих краях. Долго ее ждали. Наконец, как-то, поздно ночью, к Зимнему Дворцу подлетел поезд императрицы.

Поднялась суета, замелькали, в морозной мгле, фонари, зашумели голоса.

Елисавета Алексеевна волновалась, ожидая встречу со свекровью. Она была растрогана, надо было найти слова сочувствия и утешения — ведь большое горе выпало на долю Марии Феодоровны. Даже боялась встретиться с нею.

Однако, вышло по иному.

Через некоторое время она писала матушке в Карлсруэ: "Кажется императрица-мать, по меньшей мере, одинаково сожалеет и об удовольствиях, которыми она пользовалась во время своей поездки и о своей дочери. На всё здешнее она жалуется, на климат, на общество: одним словом, если послушать, можно подумать, что она вернулась сюда, пробыв половину своей жизни где-нибудь в другом месте. Она сгорала от нетерпения снова видеть общество. Такое настроение радует меня за нее; стало быть напрасно я о ней беспокоилась. Между тем, в газетах помещаются трогательные статьи о здоровье, глубоко опечаленной матери, которая через две недели после своего приезда уже говорила со мной о туалетах, об обществе, как ни в чем не бывало..."

Одним словом, не любила Елисавета Алексеевна свою свекровь. И, однако, настало время, когда она, остро почувствовав свое одиночество, только к ней и обратилась за сочувствием и поддержкой.

2.

Князь Петр Михайлович Волконский не расставался с государем тридцать пять лет, знал его до мельчайших черточек и любил преданно.

После смерти государя, он очень сдал, постарел, как-то потерял интерес к жизни.

Своей последней жизненной задачей считал: оберечь императрицу Елисавету Алексеевну, благополучно довести ее до Петербурга, а дальше, в качестве гофмаршала ее двора, смотреть и ходить за ней так же, как делал он это в отношении почившего государя.

Сейчас он вез больную, усталую и убитую горем царицу из Таганрога домой. Дорога была нелегкая и утомительная. С тревогой замечал он, что императрица день ото дня слабеет, угасает на глазах.

Дорога от Орла до Болхова, испорченная долгими дождями, была для государыни, по ее состоянию, очень трудной.

В Болхове, в крошечном, захудалом городишке, где едва нашли подходящий дом для остановки, — ее на руках вынесли из кареты.

В маленьком провинциальном зальце столпились все приближенные государыни: князь Волконский, статс-секретарь Лонгинов, фрейлины Валуева и Волконская.

С тревогой ожидали они выхода от императрицы лейб-медика Стоффрегена, оказывавшего ей необходимую помощь.

Он вышел нахмуренный.

— Ну, что?.. Как государыня? Каково ее состояние?

— Нехорошо, нехорошо — бормотал Стоффреген. — Не знаю, есть ли такая болезнь, но полагаю, что удушье у государыни есть следствие водяной болезни в груди.

Было видно, что лейб-медик растерян и что он сам не знает, в чем дело. Волконский мало доверял ему, больше полагаясь на милость Божию.

— Не знаю, что думают лекаря, — сказал он, — а я предвижу самые худые последствия сего состояния государыни. Счел своим долгом донести императору Николаю Павловичу, что слабость вдовствующей императрицы дошла до того, что она с трудом говорит.

— В самом деле — заговорил Лонгинов — страшно смотреть, что от нее осталось!.. А как прекрасна еще недавно была она собой, какая была любезная, умная. Какую твердость духа показала она, когда Наполеон угрожал целости империи.

Стали вспоминать, как твердо и мужественно держала она себя и в тяжелые дни болезни и смерти государя. Говорили шопотом, оглядываясь на дверь спальни, как будто всё было в далеком прошлом, и, точно государыни уже не было в живых.

Говорили о том, что у смертного одра государя плакали решительно все: плакал Волконский, плакал рыжий, нескладный Дибич, начальник штаба, плакал лейб-медик баронет Виллье, плакал старый камердинер.

Одна государыня не плакала. С окаменевшим ли-

цом, смертельно бледная, со странным и страшным спокойствием, — она самолично закрыла глаза покойного, аккуратно подвязала платком нижнюю его челюсть, поцеловала его в лоб и земно ему поклонилась.

Да и потом долго не могла плакать.

Вся в черном, с длинной черной вуалью, бесшумно, точно привидение, она приходила в зал, где на возвышении стоял гроб, — из зала удаляли тогда всех, а офицерам почетного караула запрещалось подымать глаза, — преклоняла колени, молилась, застывала в немой скорби.

. . . .

Утром государыне, как будто, стало немного лучше.

Несмотря на советы лекарей, она, едва слышно, шопотом, приказала Волконскому двигаться дальше.

Хотелось ей, во что бы то не стало, как можно скорее, доехать до Калуги, где ее, по ее настойчивой просьбе, должна была ожидать, выехавшая к ней навстречу, императрица-мать

Никто не мог понять, для чего понадобилась эта встреча. Ведь, в скором времени они бы встретились в Петербурге. Почему спешила овдовевшая государыня, что должна была сказать своей свекрови, какие мысли связывались в ее воображении с тихой Калугой?

Были слухи, что калужский губернатор имел приказ подыскать в Калуге подходящий дом, для постоянного пребывания там императрицы.

Очень торопила Елисавета Алексеевна Волконского, и тот решил оставшиеся до Белёва, сто верст, проскакать без передышки.

... Полузакрыв глаза, сидела государыня в карете, обложенная подушками. Думала о многом, многое вспоминала, жалела о многом.

"Умереть, умереть!" — думала она, глядя с печалью на нежно зеленеющие поля, на леса, едва, едва светящиеся туманной зеленоватой дымкой.

Своей матери писала она сразу же после смерти императора: "...Ничего не вижу перед собой, ничего не понимаю, не знаю. Я буду с ним, пока он здесь; когда его увезут, уеду с ним, не знаю когда и куда".

И вот, теперь, она ехала за ним, не зная куда и зачем.

В Петербурге, знала она — у ней нет ни одной родной души.

Молодой двор ей чужд. Признавалась сама себе, что ей нужны были некоторые усилия для того, чтобы назвать Николая Павловича, относившегося к ней всегда с прохладцей, государем.

Что ему и его молодой жене до больной, старой, никому ненужной вдовы?

И, вот, тогда-то, она почувствовала, что свекровь не чужда ей, что какие-то невидимые нити связывают ее с ней, что только с ней, с матерью почившего, она может погоревать, поплакать, вспомнить многое, другим неизвестное.

...На границе Белёвского уезда царский поезд был встречен тульскими властями.

Волконский объявил губернатору, что императ-

рица очень больна и очень слаба — никаких представлений и приемов не будет. На улицах должно быть тихо, ничто не должно волновать больную государыню.

Капитан-исправник, отставной сумской гусар, получив нужные распоряжения, с молодецкой готовностью вскочил на свою тройку и поскакал вперед в город.

— Назад, назад! — кричал он начальственно толпам народа, ожидавшим с утра приезда царицы. — По домам! По улицам не сновать! Шуму ни-ни! Избави Боже! Строго заказано тревожить государыню!

Совсем стемнело, когда по булыжной мостовой, во весь дух, пронесся царский поезд и остановился у купеческого дома, отведенного для императрицы и ее свиты.

Для встречи государыни, у крыльца, в мундирах, в треуголках, при шпагах, собрались белёвские дворяне и уездные власти.

В колеблющемся свете фонарей, в мерцаньи дымных факелов. — Пушешников всячески старался рассмотреть государыню.

Поддерживаемую со всех сторон под руки, осторожно, медленно, с остановками на каждой ступени, — ее вели по невысокой лестнице.

Вся в черном, с густой, черной вуалью, закрывавшей ее лицо, — государыня, хрупкая, бессильная — казалась олицетворением глубокого горя, неутешной скорби.

На мгновение вуаль открыла совсем желтое лицо, запавшие глаза, окруженные глубокими, черными те-

нями; заострившийся нос, выбившуюся прядь седых волос.

Нет! Это была совсем не та голубоглазая, златоволосая, сияющая красавица, какой знал Пушешников императрицу по ее парадным портретам.

Всё, что он видел сейчас — дышало глубоким трагизмом. Пушешников чувствовал, как у него защекотало в горле, как слеза поползла по щеке.

В глубоком раздумье, шел он по темным улицам Белёва.

Майский вечер дышал живительной прохладой. В темном небе высоко золотился рог молодого месяца; где-то в саду неуверенно зацокал ранний соловей, и сейчас же замолк.

За воротами, калитками и заборами, во дворах и в садах глухо гудели голоса. Белёв волновался, как будто к чему-то прислушиваясь, чего-то выжидая.

3.

В каком-то, ранее ей неведомом Белёве, в чужом доме, еще дышащем запахами чужой жизни, в чужом кресле, — отдыхала, после крайне утомительного дня, государыня, молчаливая, безучастная, равнодушная ко всему.

Хлопотала и суетилась, под руководством дежурной фрейлины, прислуга, раскрывая баулы и чемоданы, сервируя ужин, готовя постель.

Такая же суета — вспоминалось ей — была и тогда, когда она, в конце сентября прошлого года, приехала в Таганрог.

Государь встретил ее тогда на последней к городу станции. Ехали они в открытом экипаже. Стоял тихий, ясный, теплый осенний вечер. Желтела степь, желтели листья тощих акаций, впереди, теряясь в тумане, расстилались серо-зеленые воды Азовского моря.

Ведь, они, до тех пор, так редко бывали одни. А в Таганроге это бывало постоянно. Там они, с глазу на глаз, обменивались взглядами, понимали друг друга, и это было так хорошо, так отрадно! Как счастлива была она тогда!

Ужинала она с большой неохотой, с большим принуждениям, подчиняясь настояниям медиков и просьбам Валуевой.

В двенадцатом часу, совершенно обессиленную, ее провели в, приготовленную для нее, спальню.

Императрица очень не любила, чтобы к ней, по ночам, входили без зова. Все это знали и, хотя все тревожились по поводу ее состояния, все принуждены были оставить ее одну. Потушили свечи, зажгли ночник.

В углу иногда скреблась мышь, за окном то и дело посвистывали соловьи.

Очень усталая, государыня не смогла помолиться, только перекрестилась.

Мысли путались, и иногда ей казалось, что она вовсе не в пути, не в каком-то чужом городе, а в милом Таганроге, в тихом тамошнем дворце и что где-то близко от нее государь, внимательный, предупредительный, ласковый.

Бывало, когда он дружески и ласково желал ей

покойной ночи, она всегда целовала его в обе щеки, а потом в лоб. И эта минута прощания заставляла ее забывать всё, что было испытано неприятного за день.

И сейчас, мысленно она продолжала с ним прежние разговоры, продолжала спорить с ним по поводу недавней смерти Байрона. Смерть эта ее поразила и навеяла на нее печаль.

Государь не любил Байрона, считал его беспокойным, мятежным и безнравственным человеком.

— Но, ведь, нельзя же отнять от Байрона того, что он обогатил Англию прекраснейшими произведениями — горячо возражала Елисавета Алексеевна. — И меня нравственность его всегда сокрушала вдвое больше, чем в ком-нибудь другом. Кто творит прекрасное и чувствует его, тот становится так близко к добру, что крайне огорчительно видеть, что он удаляется от него. Я думаю, что Байрон был человеком сбившимся с пути, но не дурным по существу.

Почему-то, эти навязчивые мысли о Байроне долго занимали ее. Наконец, она уснула и впала в забытье.

Ночью дежурной камерфрау, как будто, послышался, из комнаты государыни, чуть слышный стон, а потом и вскрик. Но камерфрау не посмела войти в спальню.

Под утро же, 4 мая 1826 года, около шести часов, в беспокойстве, она разбудила дежурную фрейлину, а та статс-даму. Вместе все стояли у двери и тревожно прислушивались. Всё было безмолвно. Несколько раз, с каждым разом смелее, стучали.

Наконец, осмелились открыть дверь. Государыня

лежала на спине, сложив руки на груди, тихая, спокойная, светлая. Она была мертва.

. . . .

— Ну, что же вы, любезный Иван Алексеевич, скажете о скоропостижной, негаданной смерти государыни императрицы?

Предводитель дворянства, человек известный своим острым умом и смелостью суждений, приоткрыл дверь и, убедившись в том, что его никто не подслушивает, наклонился к самому уху Пушешникова, ожидая его ответа.

— Что же я могу сказать? Скажу, что на всё воля Божия... Царство ей небесное!

— Это справедливо, конечно. Однако, кроме воли Божией, имеется и Божие попущение за грехи наши. Смерть государыни и есть Божие попущение... — загадочно сказал предводитель.

— Попущение? Но почему же?

Предводитель значительно помолчал, а затем сказал:

— А, известно ли вам, что государь скончался не от болезни, как было объявлено, а после утреннего кофе или шоколата, коей он пил у какой-то дамы в пригородной вилле или в садовой беседке, после прогулки по вершинам гор таврийских...

Пушешников был ошеломлен.

— Так, вы полагаете, что государь был отравлен? Но кем, однако?

— Кем? не нам знать! Альбион, Меттерних, карбонарии, фармазоны, члены тайных обществ... Всё

ведь, возможно! А отравлен — это бесспорно!

— А государыня? — любопытствовал Пушешников, совершенно потрясенный услышанным.

— А государыня, ежели хотите знать, может быть, и она отравлена, — предводитель понизил голос до шопота, озираясь с опаской. — Ведь, кому-то надо было не допустить, чтобы обе императрицы, встретившись в Калуге, поделились секретом смерти государя императора, якобы, последовавшей через скоротечную болезнь.

— Но, однако, это совсем немыслимо, невозможно!..

— Невозможно? А, вот, извольте сообразить следующее. Царский поезд должен был прибыть в Белёв засветло. Однако, по неизвестной причине, его задержали в четырех верстах от города до полной темноты. Весь народ убрали с улиц, приказали сидеть по домам. Почему это? Зачем понадобилось скрыть государыню от народа? Почему было отказано дворянству в представлении ей? Да, уже идут слухи о том, что государь жив и скрылся от людей. Говорят, среди простого народа, и о том, что государыня не умерла, а в монастырь ушла, какой-то великий грех замаливать.

— Как же так, не умерла? А, кто же сейчас в гробу лежит в Мироносицкой церкви?

— А, видите ли, люди, будто заметили в темноте, когда царский поезд приехал, что из первой кареты кого-то высадили и под руки повели на крыльцо, а потом из той же кареты, что-то бережно вынесли и двое понесли. Что же это могло быть?..

. . . .

Тройка шагом въезжала на крутую гору. Чтобы не обременять лошадей, Пушешников, по хозяйски, шел пешком рядом с экипажем.

Под горой, в зазеленевших берегах, сверкая на солнце, полноводно текла Ока.

За нею, в молодой, сквозной зелени садов — подымались белёвские колокольни, золотились купола и кресты.

Влево, тоже в зеленой дымке только что распустившихся дерев, туманно рисовалось Мишенское.

"Мишенское!.. Жуковский!.. Маша!..“ — вспоминал Пушешников.

— Давно, очень давно — всё это было! Война, нежданная встреча, ночной разговор в глухую, снежную ночь. О Маше тогда говорилось. А ее-то уже нет — умерла, совсем молодой, от родов, года два, три назад“

А, вот, теперь — как всё это странно и непонятно! — возвращаюсь я домой после заупокойной обедни у гроба государыни. Завтра тело ее тронется в Петербург и похоронят его в Петропавловской крепости“.

И теперь уже навсегда запомнится всё, только что виданное: черный катафалк, увенчанный императорской короной, покрытый царской порфирой гроб, гвардейский караул, застывший в каменном оцепенении.

Императрица-мать стояла впереди всех, а за нею

раззолоченная толпа придворных, военных и гражданских чинов всех рангов.

Запомнилось, как весеннее веселое солнце, светлыми полосами, прорывалось сквозь узкие, как бойницы, проемы церковных окон, как в его лучах бледнели огни горящих свечей и лампад, и как голубели легкие клубы кадильного дыма, подымавшиеся в высоту церковного свода.

Яркое солнце, светящаяся в окнах нежная зелень, розовое цветение яблонь, вся ликующая радость сияющего майского утра — настойчиво боролись со смертью, со всей той мрачной поэзией погребального обряда, что была и в словах и звуках погребальных песнопений, и в покорно-задумчивом рокоте протодиаконских прошений, и в слезах и вздохах тех немногих приближенных покойной царицы, которые были близки ей, которые ее знали и любили.

Родная земля — всё это кровное, близкое, от чего в сладкой печали сжимается сердце — расстилалась перед ним во всем несказанном очаровании: сверкающая Ока, и белоснежные облака, и поля, пашни, леса, рощи... Всё это жило и живет своей вечной, неизменной жизнью, независимой от людей, от их страстей, чувств и мыслей.

Так было тут и тогда, когда на этих холмах и в этих долинах проходили какие-нибудь хозары, печенеги, половцы, когда на этих берегах дымились их костры, а за рекой полыхало пламя далеких пожаров.

А, где же все люди, которые веками жили здесь, радовались, страдали, размышляли, печалились?

А, где же Маша? Где государыня?

Где победы, где сияние славы александровского царствования, со смертью государыни Елисаветы Алексеевны завершенного, здесь, в безвестном Белёве?

"Зачем, зачем всё это?" — в странной тревоге думал Пушешников.

И почему, вдруг, частица ее существа будет жить здесь всегда? Ведь сердце ее, отделенное при бальзамировании от всего ее тела, будет покоиться в Белёве, в урне, которая будет стоять в саду того самого дома, в котором скончалась государыня, не проведя в нем и ночи."

Конечно, он всегда понимал и знал, что жизнь коротка, быстропроходяща, что она уносит с собой всё человеческое.

Нередко раньше, в подходящих случаях, он любил, с некоторым пафосом, повторять, известные ему еще от отца, слова Державина:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

Однако, слова эти до сих пор имели для него чисто умозрительный характер: они, как будто, не касались его лично.

Теперь же, когда почти на его глазах "река времен" унесла навеки сначала царя, а сейчас и царицу, слова Державина потеряли свой отвлеченный смысл и приобрели новое, совершенно определенное значение.

Может быть, в первый раз в жизни, Пушешников, всем своим существом, с необыкновенной нагляд-

ностью, чрезвычайно остро, ощутил кратковременность, быстротечность и конечность человеческой жизни.

Ночной пылающий Смоленск, Кострома, Гаша, тревоги европейского похода, Ермолов, Кавказ — ведь, всё это те самые следы минувшего, которые "река времен" бесстрастно смывает в своем вечном стремлении.

" Протекут еще годы, всё пережитое исчезнет вместе со мною. Но, может быть, в точно такой же, как сейчас, ликующий весенний день, мой сын, а то и внук, в таком же раздумье, будет стоять на этом самом месте, будет, подобно мне, ощущать ту же радость жизни, смешанную со сладкой печалью о минувшем, будет говорить те же самые слова, что говорю сейчас я и будет занят теми же самыми мыслями о тщете всего человеческого, что сейчас волнуют меня."

В раздумье, сел он в экипаж. Лошади тронулись.

Тихие думы сопровождали его всю дорогу. Как-то по-новому, с каким-то новым, смутным чувством, глядел он на придорожные березы и ивы; на поросшую молодой травкой обочину дороги; на теряющиеся в голубой дали, поля и леса; на сменяющиеся привычной чередой деревни и села; на луковки древнейшей, видевшей еще татар, церковки села Темряни.

Всё та же, неизменная, известная до мелочей, немудреная жизнь, с ее вечными нуждами и заботами — шла своей бесстрастной, ни на мгновение неостанавливающейся поступью; текла в своем непрерывном, неощутимом движении.

Издание газеты "Россия"
480 Canal Street
New York, N. Y. 10013